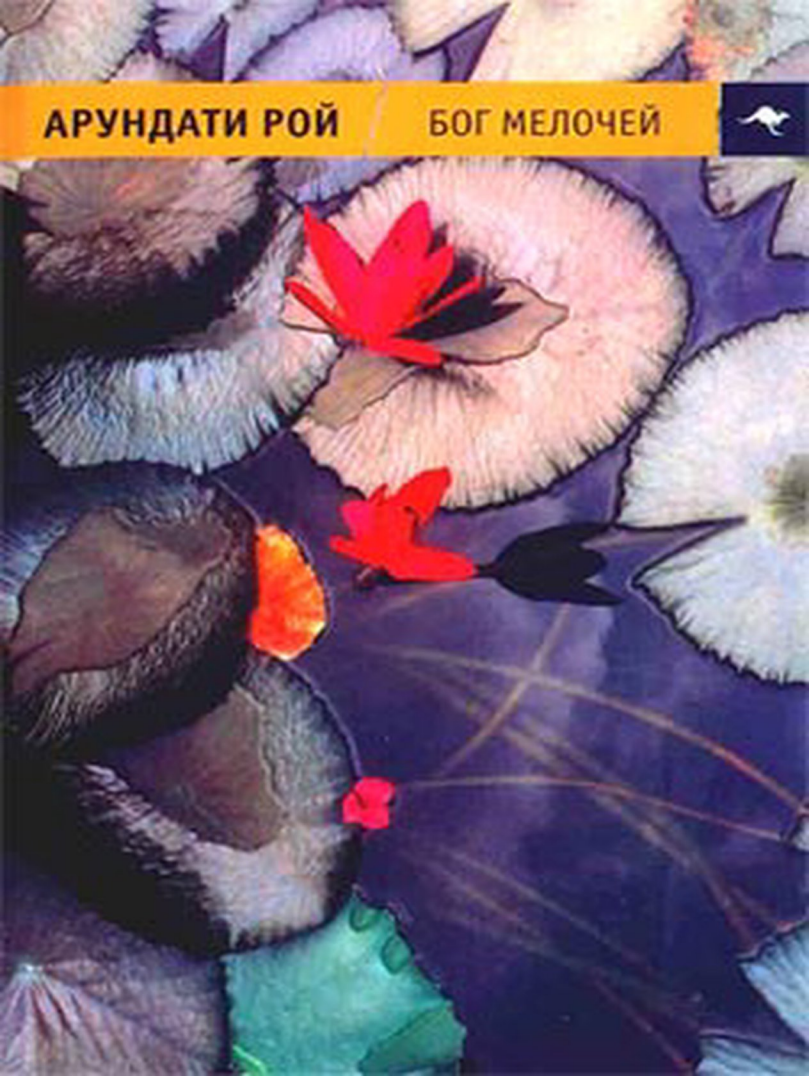
АРУНДАТИ РОЙ

БОГ МЕЛОЧЕЙ



Бог Мелочей
Арундати Рой

Аннотация
Арундати Рой. Бог Мелочей
Глава 1. Райские соленья и сладости
Глава 2. Бабочка Паппачи
Глава 3. Большой человек – Лалтайн, маленький человек – Момбатти
Глава 4. Кино «Абхилаш»
Глава 5. Божья страна
Глава 6. Кочинские кенгуру
Глава 7. Тетради «Грамота»
Глава 8. Добро пожаловать домой
Глава 9. Госпожа Пиллей, госпожа Ипен, госпожа Раджагопалан
Глава 10. Река в лодке
Глава 11. Бог Мелочей
Глава 12. Кочу Томбан
Глава 13. Пессимист и оптимист
Глава 14. Трудясь – Борись
Глава 15. На тот берег
Глава 16. Несколько часов спустя
Глава 17. Приморский вокзал, Кочин
Глава 18. Исторический Дом

Глава 19. Как спасали Амму
Глава 20. Мадрасский Почтовый
Глава 21. Цена бытия

Аннотация

Индийская писательница Арундати Рой известна как сценарист, режиссер и кинохудожник. «Бог Мелочей» – первый ее роман, принесший А. Рой Букеровскую премию 1997 года и всемирную славу талантливого прозаика.

Арундати Рой
Бог Мелочей

Мэри Рой, которая вырастила меня. Которая научила меня извиняться перед тем, как перебить ее Публично. У которой хватило любви ко мне, чтобы отпустить меня.

LKC – от той, что, как ты, выжила.

Никогда больше отдельно взятая повесть не будет рассказана так, словно она – единственная.

Джон Берджер

Глава 1
Райские соленья и сладости

Май в Айеменеме — знойный, тяжелый месяц. Дни долгие и паркие. Река мелеет, и черные вороны набрасываются на яркие плоды манго в пыльно-зеленых застывших кронах. Зреют розовые бананы. Лопаются плоды хлебного дерева. Праздные синие мухи пьяно гудят в приторном воздухе. Потом с лёта ударяются в оконные стекла и дохнут, недоуменно раздуваясь на солнце.

Ночи ясные, но отравленные ленью и угрюмым предчувствием.

В начале июня юго-западный муссон приносит три месяца ветра и воды с короткими проблесками ослепительного солнца, когда взбудораженные дети спешат наиграться. Земля сдается на милость бешеной зелени. Границы размываются: маниоковые изгороди пускают корни и зацветают. Кирпичные стены становятся мшисто-зелеными. Перечные лианы взбираются по столбам линий электропередачи. Ползучие растения прорывают плотный прибрежный латерит и перекидывают стебли через полотно

залитых водой дорог. По базарным площадям снуют лодки. В рытвинах, оставленных дорожными рабочими, заводятся мальки.

В такую-то дождливую погоду Рахель вернулась в Айеменем. Косые серебристые канаты хлестали рыхлую землю, вспахивая ее, как пулеметные очереди. Старый дом на пригорке низко, как шапку, надвинул от дождя крутую двускатную крышу. Стены с прожилками мха утратили твердость и слегка вспучились, напитавшись влагой от земли. Заросший, одичавший сад был полон шмыганья и шелеста мелких существ. В траве полоз терся о блестящий камень. Желтые лягушки бороздили пенящийся пруд в надежде найти пару. Вымокший мангуст перебежал засыпанную листьями подъездную дорожку.

Дом казался пустым и заброшенным. Двери и ставни были заперты, передняя веранда оголена. Мебель оттуда вынесли. Но лазурного цвета «плимут» с хромированными крылышками по-прежнему стоял около дома, а в доме по-прежнему жила Крошка-кочамма.

Это была двоюродная бабушка Рахели, младшая сестра ее деда. Настоящее ее имя было Навоми, Навоми Айп, но все с детства звали ее Крошкой. Повзрослев, она стала Крошкой-кочаммой, то

есть Крошкой-тетушкой. Рахель, однако, приехала вовсе не к ней. Ни внучатная племянница, ни двоюродная крошка-бабушка не питали на этот счет никаких иллюзий. Рахель приехала повидать брата Эсту. Они были двуяйцевые близнецы. Врачи говорили — «дизиготные». Произошедшие от разных, но одновременно оплодотворенных яйцеклеток. Эста (полное имя — Эстаппен) был старше на восемнадцать минут.

Они — Эста и Рахель — вовсе не были так уж похожи внешне и даже в тонкоруко-плоскогрудом детстве с его глистами и зачесами под Элвиса Пресли не вызывали обычных вопросов типа «Кто — он, кто — она?» ни у слащаво-улыбчивых родственников, ни у епископов Сирийской православной церкви, которые частенько наведывались в их Айеменемский Дом за пожертвованиями.

Путаница крылась глубже, в более потаенных местах.

В те ранние, смутные годы, когда память только зарождалась, когда жизнь состояла из одних Начал без всяких Концов, когда Всё было Навсегда, Я означало для Эстаппена и Рахели их обоих в единстве, Мы или Нас — в раздельности. Словно они принадлежали к редкой разновидности си-

амских близнецов, у которых слиты воедино не тела, а души.

Рахель и сейчас, хотя прошло много лет, помнит, как однажды проснулась ночью, хихикая из-за приснившегося Эсте смешного сна.

Есть у нее и другие воспоминания, на которые она не имеет права.

Она помнит, к примеру (хоть и не была рядом), как Апельсиново-Лимонный Газировщик обошелся с Эстой в кинотеатре «Абхилаш». Она помнит вкус сандвичей с помидором — сандвичей *Эсты*, которые он ел в Мадрасском Почтовом по пути в Мадрас.

И это только лишь мелочи.

* * *

Но сейчас она мысленно называет Эсту и Рахель *Они*, потому что по отдельности и тот и другая уже не такие, какими *Они* были или когда-либо намеревались стать.

Ничего общего.

Их жизни теперь обрели очертания. Свои — у Эсты, свои — у Рахели.

Края, Границы, Контуры, Рубежи и Пределы ватагами троллей возникли на их раздельных горизонтах. Коротышки, отбрасывающие длинные

тени и патрулирующие Размытую Область. Под глазами у близнецов темнеют нежные полумесяцы; им столько же лет, сколько было Аммý, когда она умерла. Тридцать один.

Не старость.

Не молодость.

Жизнесмертный возраст.

Эста и Рахель, можно сказать, едва не родились в автобусе. Машина, в которой Бабá, их отец, вез Амму, их мать, в родильный дом в Шиллонг, сломалась на дороге, круто петлявшей среди чайных плантаций штата Ассам. Они вышли на дорогу и, размахивая руками, остановили переполненный рейсовый автобус. Проявляя своеобразное сочувствие очень бедных к сравнительно богатым, — а может быть, просто потому, что видели, какой необъятный живот у Амму, — сидячие пассажиры уступили супругам место, и всю дорогу отцу Эсты и Рахели приходилось держать руками живот их матери (с ними самими внутри), смягчая тряску. Это, естественно, было до того, как они развелись и Амму вернулась к родным в южный штат Ке́рала.

Послушать Эсту, так если бы они и вправду родились в автобусе, им всю жизнь можно было бы кататься на автобусах бесплатно. Непонятно

было, откуда он это знает, где получил такую информацию, но, так или иначе, близнецы не один год слегка сердились на родителей за то, что они лишили их этой привилегии.

А еще они были уверены, что если бы их сбила машина на «зебре» для пешеходов, Государство оплатило бы похороны. Они определенно полагали, что для этого-то «зебры» и существуют. Для бесплатных похорон. Конечно, таких «зебр» в Айеменеме не было, как не было их даже в ближайшем городе Ко́ттаяме, однако близнецы видели их иногда в окно машины, когда ездили в Ко́чин, до которого было два часа пути.

Правительство не оплатило похорон Софи-моль, потому что она погибла не на «зебре». Заупокойная служба прошла в Айеменеме, в старой церкви, которую незадолго до того вновь покрасили. Софи-моль была двоюродной сестрой Эсты и Рахели, дочерью их дяди Чакко. Она приехала к ним в гости из Англии. Когда она умерла, Эсте и Рахели было семь лет. Софи-моль было почти девять. Для нее сделали специальный детский гробик.

Обитый внутри атласом.

С латунными ручками.

Она лежала в нем в своих желтых кримплено-

вых брючках клеш, со стянутыми лентой волосами, со своей любимой стильной английской сумочкой. Ее лицо было бледное и сморщенное, как палец дхоби,[1] который долго не вынимал рук из воды. На панихиду собралась чуть не вся община, и от заупокойного пения желтая церковь распухла, как больное горло. Священнослужители с курчавыми бородами махали кадилами с курящимся ладаном и не улыбались детям так, как улыбались в обычные воскресенья.

Длинные свечи перед алтарем были изогнуты. Короткие — нет.

Старая женщина, изображающая из себя дальнюю родственницу (никто не знал, кто она такая, но она часто появлялась у гроба на панихидах — похоронная наркоманка? скрытая некрофилка?), смочила ватку одеколоном и мягко-благочестиво-вызывающе провела ею по лбу Софи-моль. Мертвая девочка пахла одеколоном и гробовой древесиной.

Маргарет-кочамма, английская мать Софи-моль, не позволила Чакко, биологическому отцу умершей, обнять себя за плечи.

Семья стояла в церкви маленькой кучкой. Мар-

---

[1] notes: 1

Дхоби — мужчина-прачка (хинди). (Здесь и далее — прим. перев.)

гарет-кочамма, Чакко, Крошка-кочамма, а рядом с ней ее невестка Маммачи — бабушка Эсты, Рахели и Софи-моль. Маммачи была почти слепая и вне дома всегда носила темные очки. Слезы стекали из-за очков по щекам и дрожали у нее на подбородке, как дождевые капли на карнизе. В своем кремовом накрахмаленном сари она выглядела маленькой и больной. Чакко был ее единственный сын. Ее собственное горе мучило ее. Его горе убивало ее.

Хотя Амму, Эсте и Рахели разрешили прийти на отпевание, они должны были стоять отдельно от остальной семьи. Никто не смотрел на них.

В церкви было жарко, и лепестки белых лилий уже подсыхали и заворачивались по краям. В чашечке гробового цветка умерла пчела. Руки Амму ходили ходуном, а с ними вместе — ее молитвенник. Кожа у нее была холодная. Эста в полуобмороке стоял к ней вплотную, его остекленевшие глаза болели, его горящая щека прижималась к голой дрожащей руке Амму, в которой та держала молитвенник.

Рахель, напротив, яростно, из последних сил бодрствовала, вся — как натянутая струна из-за выматывающей битвы с Реальной Жизнью.

Она заметила, что ради собственного отпева-

ния Софи-моль очнулась. Она показала Рахели Одно и Другое.

Одно — это был заново выкрашенный высокий купол желтой церкви, на который Рахель никогда раньше не смотрела изнутри. Купол был голубой, как небо, по нему плыли облака и со свистом неслись крохотные реактивные самолетики, оставляя среди облаков перекрестные белые следы. Все это, разумеется, куда легче заметить, лежа в гробу лицом вверх, чем стоя в тесной толпе среди горестных бедер и молитвенников.

Рахель задумалась о человеке, который ухитрился забраться на такую верхотуру с ведрами краски — белой для облаков, голубой для неба, серебристой для самолетиков, — да еще с кистями и растворителем. Она вообразила, как он там лазает, голоспинный и блестящий, похожий на Велютту, как он сидит на доске, подвешенной к лесам под куполом церкви, и рисует серебристые самолетики в голубом церковном небе.

Она задумалась о том, что было бы, если бы веревка оборвалась. Вообразила, как он падает, темной звездой прочерчивая им же сотворенное небо. Потом лежит весь переломанный на горячем церковном полу, выплеснув на него из черепа темную, потаенную кровь.

К тому времени Эстаппен и Рахель уже успели кое-что узнать о способах ломки людей. Они успели познакомиться с запахом. Тошнотворная сладость. Словно от старых роз принесло ветром.

Другое из того, что Софи-моль показала Рахели, — это был крошечный летучий мышонок.

Пока шла заупокойная служба, Рахель наблюдала, как черный зверек, деликатно цепляясь кривыми коготками, лезет вверх по дорогому траурному сари Крошки-кочаммы. Когда он пополз между сари и короткой блузкой и добрался до голого живота с его многолетними дряблыми отложениями печали, Крошка-кочамма закричала и замахала молитвенником. Пение смолкло, сменившись недоуменными «чтотакое» и «чтослучилось», мохнатой возней и хлопаньем сари.

Скорбные священнослужители принялись расчесывать курчавые бороды пальцами в золотых перстнях, как если бы незримые пауки вдруг сплели там паутину.

Летучий мышонок взмыл в небеса и превратился в реактивный самолетик без перекрещенного следа.

Рахель одна из всех увидела, как Софи-моль тайком крутанулась в гробу.

Скорбное пение возобновилось, и второй раз

был произнесен тот же скорбный стих. Вновь желтая церковь распухла от голошения, как больное горло.

Когда Софи-моль опускали в землю на маленьком кладбище позади церкви, Рахель знала, что она еще не умерла. Рахель слышала (ушами Софи-моль) мягкие звуки красной глины и твердые звуки оранжевого латерита, падавших комьями и портивших блестящую полировку гроба. Глухие толчки доносились до нее сквозь деревянную полированную крышку, сквозь атласную обивку. Заглушаемые землей и древесиной, звучали скорбные голоса священников.

Влагаем в руки Твои, всемилостивейший Отче,

Отлетевшую душу дочери нашей,

Смертное же тело опускаем в могилу —

Земля к земле, прах ко праху, персть к персти.

Там, в глубине земли, Софи-моль кричала и раздирала атлас зубами. Но крики невозможно было расслышать сквозь слой глины и камней.

Софи-моль умерла, потому что ей нечем было

дышать.

Ее убили похороны. Персть — шерсть, персть — шерсть, персть — шерсть. На могильном камне было написано: «Лучик, просиявший так мимолетно».

Амму потом объяснила, что «так мимолетно» значит «на короткое время».

После похорон Амму повезла близнецов в Коттаям, в полицейский участок. Это место было уже им знакомо. Накануне они провели там немалую часть дня. Помня едкий, дымный запах застарелой мочи, который шел там от стен и мебели, они заранее зажали пальцами ноздри.

Амму спросила, на месте ли начальник участка, и, когда ее провели к нему в кабинет, сказала, что произошла ужасная ошибка и что она хочет сделать заявление. Потом спросила, нельзя ли увидеть Велютту.

Усы у инспектора Томаса Мэтью топорщились, как у добродушного махараджи с рекламы авиакомпании «Эйр Индия», но глаза у него были хитрые и жадные.

— Не поздновато ли, а? — спросил он. Он го-

ворил на малаялам,[2] на грубом коттаямском диалекте, и смотрел при этом на груди Амму. Он сказал, что коттаямская полиция знает все, что ей нужно знать, и не принимает никаких заявлений от *вешья*[3] и от их приблудных детей. Амму сказала, что это ему даром не пройдет. Инспектор Томас Мэтью обошел свой письменный стол и приблизился к Амму с дубинкой в руке.

— Я бы на вашем месте, — проговорил он, — возвращался домой подобру-поздорову.

Потом он дотронулся дубинкой до ее грудей. Легонько. *Раз, два.* Как будто выбирал манго из базарной корзинки. Вот эти — к его столу. Инспектор Томас Мэтью, видно, знал, кого можно тронуть, а кого нет. Инстинкт полицейского.

Позади него висел красно-синий плакат:

Прямота
Опыт
Лояльность
Интеллект
Целеустремленность

---

[2] notes: 2

Малаялам — язык народа малаяли, населяющего штат Керала в южной Индии, где происходит действие романа.

[3] notes: 3

Вешья — проститутка (хинди).

Истина
Ясность

Когда они вышли из участка, Амму плакала, поэтому Эста и Рахель не стали спрашивать ее, что такое *вешья*. И что такое *приблудные*. Впервые в жизни они видели, как мать плачет. Рыданий не было слышно. Лицо оставалось каменно-застывшим, но слезы текли и текли из глаз и сбегали по неподвижным щекам. От этого зрелища детей захлестнуло страхом. Плач Амму сделал реальным все, что до сих пор казалось нереальным. Они возвращались в Айеменем автобусом. Кондуктор, худой человек в хаки, приблизился к ним, скользя рукой по стальному поручню. Прислонившись костлявым бедром к спинке сиденья и глядя на Амму, он щелкнул компостером. В смысле, *докуда вам*? Рахель чувствовала бумажный запах от рулончика билетов и кислометаллический запах поручней от ладоней кондуктора.

— Он умер, — шепнула ему Амму. — Я его убила.

— Айеменем, — поспешил сказать Эста, пока кондуктор не рассердился. Он вынул деньги из кошелька Амму. Кондуктор дал ему билеты. Эста тщательно сложил их и засунул в карман. Потом обхватил маленькими ручонками свою окаме-

невшую, плачущую мать.

Через две недели Эсту Отправили. Амму принудили отослать его к их отцу, который к тому времени уже ушел с работы на отдаленной чайной плантации в штате Ассам и переехал в Калькутту, где устроился на предприятие по производству газовой сажи. Он женился вторично, перестал пить (более или менее) и срывался в запой лишь изредка.

С той поры Эста и Рахель не видели друг друга.

И вот теперь, двадцать три года спустя, их отец Отправил сына Назад. Он послал Эсту в Айеменем с чемоданом и письмом. Чемодан был полон модной одежды с иголочки. Письмо Крошка-кочамма дала Рахели прочесть. Оно было написано женским наклонным почерком, вызывавшим в памяти монастырскую школу, но подпись в самом низу была отцовская. Фамилия по крайней мере. Рахель ведь не знала подписи отца. Письмо гласило, что он, их отец, уволился с прежней работы и собирается эмигрировать в Австралию, где ему предложили должность начальника охраны на керамической фабрике; взять с собой Эсту он не может. Он шлет всем в Айеменем наилучшие пожелания и обещает, что заедет повидаться с

Эстой, если когда-либо вернется в Индию, что, по правде говоря, маловероятно.

Крошка-кочамма сказала Рахели, что она может взять письмо себе, если хочет. Рахель положила его обратно в конверт. Бумага сделалась дряблой и похожей на ткань.

Она успела позабыть, каким влажным бывает воздух в Айеменеме во время муссонов. Набухшая мебель трещала. Закрытые окна распахивались со стуком. Книжные страницы становились мягкими и волнистыми. Вечерами, как внезапные догадки, влетали странные насекомые и сгорали на тусклых сорокаваттных лампочках Крошки-кочаммы. Утром их ломкие обугленные трупики валялись на полу и подоконниках, и пока Кочу Мария не заметала их в пластмассовый совок и не выбрасывала, в воздухе пахло Паленым.

Они, эти Июньские Дожди, остались, какими были.

Обрушиваясь с разверзшихся небес, вода насильно возвращала к жизни брюзгливый старый колодец, расцвечивала мшистой зеленью заброшенный свинарник, бомбардировала застойные, чайного цвета лужи, как память бомбардирует застойные, чайного цвета рассудки. Трава была сочно-зеленая и довольная на вид. В жидкой

грязи блаженствовали багровые земляные черви. Крапива кивала. Деревья клонили кроны.

А там, поодаль, на берегу реки, среди ветра, дождя и дневной шквалистой тьмы, расхаживал Эста. На нем была футболка цвета давленой клубники, теперь мокрая и потемневшая, и он знал, что Рахель вернулась.

Эста всегда был тихим мальчиком, поэтому никто не мог сказать хоть с какой-то степенью точности, когда (даже в каком году, не говоря уже о месяце и дне) он перестал говорить. То есть совсем умолк. В том-то и дело, что не было такого момента. Он не сразу прикрыл лавочку, а сворачивал дело постепенно. Еле заметно убавлял звук. Словно он истощил запас общения и теперь говорить стало вовсе не о чем. Однако молчание Эсты было лишено всякой неловкости. Оно не было вызывающим. Не было громким. Не обвиняющее, не протестующее молчание — нет, скорее оцепенение, спячка, психологический эквивалент состояния, в которое впадают двоякодышащие рыбы, чтобы пережить сухую пору, только вот для Эсты сухая пора, казалось, будет длиться бесконечно.

Со временем он развил в себе способность, где бы он ни находился, сливаться с фоном — с

книжными полками, деревьями, занавесками, дверными проемами, стенами домов — и стал казаться неодушевленным, сделался почти невидим для поверхностного взгляда. Чужие люди, находясь с ним в одной комнате, обычно не сразу его замечали. Еще больше времени им требовалось, чтобы понять, что он не говорит. До иных это так и не доходило.

Эста занимал в мире очень немного места.

После похорон Софи-моль, когда Эсту Отправили, их отец отдал его в школу для мальчиков в Калькутте. Он не был отличником, но не был и отстающим, по всем предметам более или менее успевал. «Удовлетворительно», «Работает на среднем уровне» — таковы были обычные отзывы учителей в ежегодных характеристиках. Постоянной жалобой было: «Не участвует в классных мероприятиях». Хотя что это за классные мероприятия, никогда не объяснялось.

Окончив школу с посредственными оценками, Эста отказался поступать в колледж. Вместо этого он, к немалому изумлению отца и мачехи, принялся делать домашнюю работу. Словно хотел таким способом возместить затраты на свое содержание. Он подметал и мыл полы, взял на себя всю стирку. Он научился готовить, стал ходить

на базар за продуктами. Торговцы, сидевшие за своими пирамидами из лоснящихся маслянистых овощей, узнавали его и обслуживали без очереди, несмотря на ругань других покупателей. Они давали ему ржавые жестянки из-под кинопленки, чтобы складывать отобранные овощи. Он никогда не торговался. Они никогда его не обманывали. Когда овощи были взвешены и оплачены, торговцы перекладывали их в его красную пластмассовую корзину (лук на дно, баклажаны и помидоры — наверх) и всегда давали ему бесплатно пучок кинзы и несколько стручков жгучего перца. Эста вез покупки домой в переполненном трамвае. Пузырек тишины в океане шума.

Когда сидели за столом и ему хотелось чего-нибудь, он вставал и накладывал себе сам.

Возникнув в Эсте, молчание копилось и ширилось в нем. Оно тянуло свои текучие руки из его головы и обволакивало все тело. Оно качало его в древнем, эмбриональном ритме сердцебиения. Оно потихоньку распространяло внутри его черепа свои осторожные ветвистые щупальца, ликвидируя, словно пылесосом, неровности памяти, изгоняя старые фразы, похищая их с кончика языка. Оно лишало его мысли словесной

одежды, оставляя их нагими и оцепеневшими. Непроизносимыми. Немыми. Для внешнего наблюдателя едва ли вообще существующими. Медленно, год за годом Эста отдалялся от мира. Ему стал привычен этот осьминог, бесцеремонно обосновавшийся в нем и прыскавший на его прошлое транквилизатором чернильного цвета. Мало-помалу первопричина немоты стала ему недоступна, погребенная где-то среди глубоких, спокойных складок молчания как такового.

Когда Кхубчанд, его любимый, слепой, плешивый, писающийся беспородный пес семнадцати лет от роду, решил не откладывать дальше свою горемычную кончину, Эста так ухаживал за ним на последнем, мучительном отрезке пути, словно дело шло о его собственной жизни. В предсмертные месяцы Кхубчанд, чьим наилучшим намерениям мешал осуществиться крайне ненадежный мочевой пузырь, из последних сил волочился к собачьей калитке, висевшей на петлях в нижней части двери, что вела на задний двор; толкнув калитку носом, он просовывал наружу только голову и мочился *в доме* неровной, петляющей ярко-желтой струей. После чего с пустым мочевым пузырем и чистой совестью пес бросал на Эсту взгляд своих тускло-зеленых глаз,

стоявших как тинистые пруды посреди седой старческой поросли, и ковылял обратно к сырой подстилке, оставляя на полу мокрые следы. Когда умирающий Кхубчанд лежал на своей подстилке, Эста мог видеть окно спальни, отраженное в его гладких багровых глазных яблоках. И небо за окном. А однажды — пролетающую мимо птицу. Чудом показался Эсте, погруженному в запах старых роз, напитанному памятью о переломанном человеке, тот факт, что нечто столь хрупкое, столь невыносимо нежное смогло сохраниться, *имело право* на существование. Птица в полете, отраженная в глазах умирающей собаки. Мысль заставила его громко рассмеяться.

Когда Кхубчанд умер, Эста принялся расхаживать. Он расхаживал без отдыха часами. Поначалу поблизости от дома, но с каждым разом удаляясь все больше и больше.

Люди привыкли видеть его на улицах. Чисто одетый мужчина со спокойной походкой. Его лицо потемнело и обветрилось. Загрубело от солнца. На нем появились морщинки. Эста начал выглядеть более умудренным, чем был на самом деле. Как забредший в город рыбак. Человек, которому ведомы морские тайны.

Теперь, когда его Отправили Назад, Эста расха-

живал по Айеменему.

Иногда он бродил по берегам реки, которая пахла фекалиями и купленными на займы от Всемирного банка пестицидами. Почти вся рыба в ней погибла. Уцелевшие экземпляры страдали от плавниковой гнили и были покрыты волдырями.

В другие дни он шел по улице. Мимо новеньких, только что выпеченных, глазированных домиков, построенных на нефтяные деньги медсестрами, каменщиками, электриками и банковскими служащими, которые тяжко и несчастливо трудились в странах Персидского залива. Мимо обиженных старых строений, позеленевших от зависти, укрывшихся в конце своих частных подъездных дорожек под своими частными каучуковыми деревьями. Каждое — пришедшая в упадок феодальная вотчина со своей историей.

Он шел мимо сельской школы, которую его прадед построил для неприкасаемых.

Мимо желтой церкви, где отпевали Софи-моль. Мимо Айеменемского молодежного клуба борьбы кун-фу. Мимо детского сада «Нежные бутоны» (для прикасаемых), мимо торговавшего по карточкам магазина, где можно было купить рис,

сахар и бананы, висевшие под крышей желтыми гроздьями. К натянутым веревкам бельевыми прищепками были прикреплены дешевые эротические издания с разнообразными мифическими южноиндийскими секс-монстрами. Журнальчики лениво поворачивались на теплом ветру, соблазняя бесхитростных предъявителей карточек взглядами голых пышнотелых красоток, лежащих в лужах поддельной крови.

Иногда Эста шел мимо типографии «Удача», принадлежавшей пожилому К. Н. М. Пиллею — товарищу Пиллею; раньше там базировалась айеменемская ячейка марксистской партии, проводились полуночные инструктивные собрания, печатались и распространялись брошюры и листовки с зажигательными текстами коммунистических песен. Колыхавшийся над крышей флаг теперь выглядел старым и потрепанным. Кумач выцвел от солнца.

Что касается самого товарища Пиллея, он выходил поутру из дома в старой сероватой майке из эйртекса и мунду[4] из мягкой белой ткани, скульптурно облегавшей его мужские части. Он умащал себя нагретым и приперченным кокосо-

---

[4] notes: 4

Мунду — традиционная одежда наподобие юбки, спускающейся ниже колен. Мунду носят и мужчины, и женщины.

вым маслом, втирая его в дряблую стариковскую плоть, которая тянулась, как жевательная резинка. Он жил теперь один. Его жена Кальяни умерла от рака яичников. Его сын Ленин переехал в Дели, где работал подрядчиком, обслуживая иностранные посольства.

Если товарищ Пиллей, когда Эста шел мимо, натирался маслом на свежем воздухе, он не упускал случая поприветствовать проходящего.

— Эста-мон! — кричал он своим высоким пронзительным голосом, теперь, однако, волокнистым и обмахрившимся, как тростниковая дудочка, с которой счистили кожицу. — Доброго утречка! Ежедневная прогулка, да?

Эста шел мимо него — и не грубый, и не вежливый. Просто безмолвный.

Товарищ Пиллей охлопывал себя руками сзади и спереди, стимулируя кровообращение. Ему не ясно было, узнал ли его Эста после стольких лет. Не то чтобы это его особенно заботило. Хотя его роль во всей истории была отнюдь не второстепенной, товарищ Пиллей ни в малейшей степени не считал себя лично виновным в чем бы то ни было. Он списал случившееся по разряду Неизбежных Издержек Взятой Политической Линии. Старая песня насчет леса и щепок. Товарищ К.

Н. М. Пиллей был, надо сказать, до мозга костей политиком. Профессиональным лесорубом. Он пробирался по жизни, как хамелеон. Всегда в маске, но всегда якобы открытый. Открытый на словах, но отнюдь не наделе. Без особых потерь сквозь любую заваруху.

Он первым в Айеменеме узнал о возвращении Рахели. Новость не столько встревожила его, сколько возбудила его любопытство. Эста был для товарища Пиллея, можно сказать, чужаком. Его изгнание из Айеменема было стремительным и бесцеремонным, и произошло оно очень давно. Но Рахель товарищ Пиллей знал хорошо. Она росла у него на глазах. Он задумался о том, что побудило ее вернуться. После стольких лет.

До приезда Рахели в голове у Эсты была тишина. Приехав, она принесла с собой шум встречных поездов и мельканье пятен света и тени, словно ты сидишь у окна вагона. Мир, от которого Эста так долго был отгорожен запертой дверью, внезапно хлынул внутрь, и теперь Эста не мог слышать самого себя из-за шума. Поезда́. Машины. Музыка. Фондовая биржа. Точно прорвало какую-то дамбу и все понеслось в кружении бешеной воды. Кометы, скрипки, парады, одиночество, облака, бороды, фанатики, списки, флаги,

землетрясения, отчаяние — все смешалось в этом свирепом водовороте.

Вот почему Эста, идя по берегу реки, не чувствовал, что на него льет и льет дождь, не чувствовал внезапную дрожь в тельце озябшего щенка, который прибился к нему на время и жался к его ногам, семеня по лужам. Эста шел мимо старого мангустана до конца узкого латеритного мыса, омываемого рекой. Там он сидел на корточках под дождем и раскачивался взад-вперед. Жидкая грязь под его ногами грубо хлюпала. Продрогший щенок трясся — и смотрел.

К тому времени, как Эсту Отправили Назад в Айеменемский Дом, там осталось только два человека: Крошка-кочамма и желчная, раздражительная карлица-кухарка Кочу[5] Мария. Маммачи, бабушка Эсты и Рахели, уже умерла. Чакко уехал жить в Канаду, где без особого успеха торговал индийской стариной.

Теперь о Рахели.

Когда умерла Амму (незадолго до смерти она в последний раз приехала в Айеменем, опухшая от кортизона, издававшая при вдохе и выдохе странный звук, похожий на человеческий крик

---

[5] notes: 5

Кочу — маленькая (малаялам).

издали), Рахель поплыла. Из одной школы в другую. Выходные она проводила в Айеменеме, где ее почти напрочь игнорировали Чакко и Маммачи (они обмякли от горя, тяжко осели от утраты, как пара пьяниц столиком тодди-бара[6]) и где она почти полностью игнорировала Крошку-кочаму. В том, что касалось Рахели, Чакко и Маммачи были мало на что способны. Они заботились о ней материально (еда, одежда, плата за учебу), но были безразличны душевно.

Утрата Софи-моль тихо расхаживала по Айеменемскому Дому в одних носках. Она пряталась в книжках, в пище. В скрипичном футляре Маммачи. В болячках на икрах у Чакко, которые он постоянно ковырял. В его по-женски дряблых ногах.

Странно, что иногда память о смерти живет намного дольше, чем память о жизни, которую она оборвала. С годами память о Софи-моль (искательнице малых мудростей: *Где умирают старые птицы? Почему умершие не хлопаются с неба нам на головы?* Вестнице жестоких истин: *Вы — целиком черномазые, а я только половинка.* Гуру горя: *Я видела человека, которого сбила машина,*

---

[6] notes: 6
Тодди — разновидность пунша.

у него глаз болтался на нерве, как чертик на ниточке) постепенно блекла, но Утрата Софи-моль все тучнела и наливалась силой. Она всегда была на виду. Как плод в пору спелости. Нескончаемой спелости. Она была постоянна, как государственная служба. Она вела Рахель сквозь детство (из одной школы в другую) во взрослую жизнь.

Рахель впервые попала в черный список в одиннадцать лет в школе при Назаретском женском монастыре, когда она украшала цветочками свежую коровью лепешку у калитки в садик старшей воспитательницы и была обнаружена за этим занятием. На следующее утро на общем собрании ее заставили найти в Оксфордском словаре английского языка слово «греховность» и вслух прочесть его значение. *Свойство или состояние человека, нарушающего нравственные установления,*— читала Рахель; позади нее шеренгой сидели монашенки с поджатыми губами, впереди колыхалось море хихикающих девичьих лиц. — *Вина перед Господом моральная ущербность; изначальная испорченность человеческой природы вследствие первородного греха. «Как избранники, так и отверженцы являются в мир в состоянии абсолютной г. и отчуждения от Господа и сами по себе способны только на грех».*

Дж. Х. Блант.

Через шесть месяцев ее исключили из-за неоднократных жалоб со стороны старших девочек. Ее обвинили (вполне справедливо) в том, что она пряталась за дверьми и нарочно сталкивалась со входящими старшеклассницами. Допрошенная директрисой (с применением уговоров, побоев, лишения пищи), она наконец созналась, что хотела таким способом выяснить, болят ли у них от столкновения груди. В этом христианском заведении считается, что никаких грудей и в помине нет. Они вроде бы не существуют, а раз так, могут ли они болеть?

Это было первое из трех исключений. Второе — за курение. Третье — за поджог пучка накладных волос старшей воспитательницы, в похищении которого Рахель созналась после допроса с пристрастием.

Во всех школах, где она училась, педагоги отмечали, что она

а) чрезвычайно вежлива,

б) ни с кем не дружит.

Испорченность проявляла себя в учтиво-обособленной форме. Из-за чего данный случай, в один голос говорили они (смакуя свое учительское неодобрение, ощупывая его языком, обсасывая,

как леденец), выглядел тем более серьезным.

Такое впечатление, шептались они между собой, *что она не умеет быть девочкой.*

Они, в общем, были недалеки от истины.

Странным образом результатом взрослого пренебрежения стала душевная свобода.

Никем не наставляемая, Рахель росла как трава. Никто не подыскивал ей мужа. Никто не собирался давать за ней приданое, поэтому на горизонте не маячил принудительный брак.

Так что, если не слишком высовываться, она была свободна для своих личных изысканий. Темы: груди, и сильно ли они болят; накладные пучки, и ярко ли они горят; жизнь, и как ее прожить.

Окончив школу, она сумела поступить в делийский архитектурный колледж средней руки. Не сказать, чтобы она испытывала к архитектуре серьезный интерес. Или даже поверхностное любопытство. Просто получилось так, что она выдержала вступительный экзамен и прошла по конкурсу. На преподавателей произвели впечатление огромные габариты ее не слишком умелых натюрмортов углем. Беспечную размашистость линий они ошибочно приняли за уверенность художника, хотя, по правде говоря, художнической

жилки у Рахели не было.

Она проучилась в колледже восемь лет, так и не сумев одолеть пятилетний курс и получить диплом. Плата за обучение была низкая, и наскрести на жизнь было, в общем, нетрудно, если жить в общежитии, питаться в субсидируемой студенческой столовке, ходить на занятия от случая к случаю и работать чертежницей в унылых архитектурных фирмах, эксплуатирующих дешевый труд студентов, на которых, если что не так, всегда можно свалить вину. Других студентов, особенно юношей, пугало своенравие Рахели и ее почти яростное нежелание быть амбициозной. Они обходили ее стороной. Они никогда не приглашали ее в свои милые дома, на свои шумные вечеринки. Даже преподаватели немного побаивались Рахели с ее замысловатыми, непрактичными строительными проектами, представляемыми на дешевой оберточной бумаге, и с ее безразличием к жаркой критике с их стороны.

Время от времени она писала Чакко и Маммачи в Айеменем, но ни разу туда не приехала. Даже на похороны Маммачи. Даже на проводы Чакко, уезжавшего в Канаду.

Как раз во время учебы в архитектурном кол-

ледже и случилось у нее знакомство с Ларри Маккаслином, который собирал в Дели материалы для своей докторской диссертации «Энергетическая напряженность в национальной архитектуре». Он приметил Рахель в библиотеке колледжа, а потом, несколько дней спустя, — на рынке Хан-маркет. Она была в джинсах и белой футболке. Кусок старого лоскутного покрывала был накинут на ее плечи, как пелеринка, и застегнут спереди пуговицей. Ее буйные волосы были туго стянуты сзади, чтобы казалось, будто они прямые, хотя прямыми они не были. На одном из крыльев носа у нее поблескивал крохотный брильянтик. У нее были до нелепости красивые ключицы и симпатичная спортивная походка.

Следуй за джазовой мелодией, подумал про себя Ларри Маккаслин и пошел за ней в книжный магазин, где они оба даже не взглянули на книги.

Когда он предложил ей руку и сердце, Рахель облегченно вздохнула, как пассажир, увидевший свободное место в зале ожидания аэропорта. С ощущением: Можно-Наконец-Сесть. Он увез ее с собой в Бостон.

Когда высокий Ларри обнимал жену, прижавшуюся щекой к его сердцу, он мог видеть ее макушку, черную мешанину ее волос. Приложив

палец к уголку ее рта, он чувствовал крохотный пульс. Ему нравилось, что он бьется именно здесь. Нравилось само это слабенькое, неуверенное подпрыгиванье прямо под ее кожей. Он трогал это место, вслушиваясь глазами, как нетерпеливый отец, ощущающий толчки ребенка в утробе жены.

Он обнимал ее как дар. Как любовно врученное ему сокровище. Тихое маленькое создание. Невыносимо ценное.

Но когда он *лежал* с ней, его оскорбляли ее глаза. Они вели себя так, словно принадлежали не ей, а кому-то другому. Постороннему зрителю. Который глядит в окно на морские волны. Или на плывущую по реке лодку. Или на идущего сквозь туман прохожего в шляпе.

Он досадовал, потому что не понимал, что означает этот взгляд. Ему казалось — нечто среднее между бесчувственностью и отчаянием. Он не знал, что есть на свете места — например, страна, в которой родилась Рахель, — где разные виды отчаяния оспаривают между собой первенство. Не знал, что *личное* отчаяние — это еще слабейший его вид. Не знал, как оно бывает, когда личная беда пытается пристроиться под боком у громадной, яростной, кружащейся, несущейся,

смехотворной, безумной, невозможной, всеохватной общенациональной беды. Что Большой Бог завывает, как горячий ветер, и требует почтения к себе. Тогда Малый Бог (уютный и сдержанный, домашний и частный) плетется восвояси, ошеломленно посмеиваясь над своей глупой отвагой. Проникшись сознанием собственной несостоятельности, он становится податливым и подлинно бесчувственным. Все можно пережить. Так ли уж много это значит? И чем оно меньше значит, тем оно меньше значит. Не столь уж важно. Потому что случалось и Худшее. В стране, где она родилась, вечно зажатой между проклятьем войны и ужасом мира, Худшее случалось постоянно.

Поэтому Малый Бог смеется пустым фальшивым смехом и удаляется вприпрыжку. Как богатый мальчуган в шортах. Насвистывая, поддавая ногой камешки. Причина его ломкого, нестойкого веселья — в относительной малости его несчастья. Поселяясь в человеческих глазах, он придает им выражение, вызывающее досаду.

То, что Ларри Маккаслин видел в глазах Рахели, не было отчаянием, это был некий оптимизм через силу. И пустота ровно там же, где у Эсты были изъяты слова. Нельзя было требовать, чтобы

Ларри это понял. Что опустелость сестры ничем не отличается от немоты брата. Что одно соответствует другому, вкладывается в другое. Как две ложки из одного набора. Как тела любовников.

После того как они развелись, Рахель несколько месяцев работала официанткой в индийском ресторане в Нью-Йорке. А потом несколько лет — ночной кассиршей в пуленепробиваемой кабинке на бензозаправочной станции около Вашингтона, где пьяницы порой блевали в выдвижной ящичек для денег и сутенеры предлагали ей более выгодную работу. Дважды у нее на глазах людей убивали выстрелом в окно машины. Один раз из проезжающего автомобиля выкинули труп с ножом в спине.

Потом Крошка-кочамма написала ей, что Эсту Отправили Назад. Рахель уволилась с бензозаправочной станции и покинула Америку без сожалений. Чтобы вернуться в Айеменем. Туда, где Эста расхаживал под дождем.

В старом доме на пригорке Крошка-кочамма сидела за обеденным столом и счищала склизкую, рыхлую горечь с перезрелого огурца. На ней была обвислая ситцевая длинная ночная рубашка в клеточку с буфами на рукавах и желтыми пятнами от куркумы. Ее крохотные ножки

с лакированными ноготками раскачивались под столом, словно она была ребенком на высоком стульчике. Из-за отеков ступни были похожи на маленькие пухлые подушечки. В былые дни, когда в Айеменем приезжала знакомая или родственница, Крошка-кочамма не упускала случая обратить общее внимание на то, какие большие у гостьи ноги. Попросив разрешения примерить ее туфли, она победно спрашивала: «Видите, как велики?» И обходила в них комнату кругом, чуть поддернув сари, чтобы все могли полюбоваться на ее миниатюрные ножки.

Она трудилась над огурцом с едва скрываемым торжеством. Она была очень довольна тем, что Эста не заговорил с Рахелью. Взглянул на нее и прошел себе мимо. Туда, под дождь. Для него что сестра, что все прочие.

Ей было восемьдесят три года. Глаза за толстыми стеклами очков казались размазанными, как масло.

— Ведь я тебе говорила, — сказала она Рахели. — Чего ты ожидала? Особого отношения? Я же вижу, он повредился умом! Никого больше не узнаёт! На что ты рассчитывала?

Рахель не ответила.

Она ощущала ритм, с которым Эста раскачи-

вался, и холод лившихся на него дождевых струй. Она слышала, как хрипит и шуршит сумятица у него в голове.

Крошка-кочамма посмотрела на Рахель с неудовольствием. Она уже чуть ли не жалела, что написала ей о возвращении Эсты. Но что, с другой стороны, ей оставалось делать? Нести эту ношу до самой кончины? С какой стати? Она ведь за него не в ответе.

Или?

Молчание расположилось между внучатной племянницей и двоюродной бабушкой, как третье лицо. Чужак. Опухший. Ядовитый. Крошка-кочамма напомнила себе, что надо запереть перед сном дверь спальни. Ей трудно было придумать, что еще сказать.

— Как тебе моя стрижка нравится?

Огуречной рукой она дотронулась до своей новой прически. И оставила на волосах яркую каплю горькой слизи.

Рахель и вовсе не знала, о чем говорить. Она смотрела, как Крошка-кочамма чистит огурец. Несколько кусочков желтой кожуры прилипло к груди старухи. Ее крашеные черные как смоль волосы были спутаны, как размотавшийся клубок ниток. На лбу от краски осталась серая полоса,

словно вторая, теневая линия волос. Рахель заметила, что она начала пользоваться косметикой. Губная помада. Сурьма. Мазок-другой румян. Но поскольку дом был заперт и мрачен, поскольку она признавала только сорокаваттные лампочки, два ее рта — настоящий и помадный — не вполне совпадали друг с другом.

Ее лицо и плечи стали худее, чем были, и поэтому она казалась уже не столько шарообразной, сколько конической. Обеденный стол, за которым она сидела, скрывал ее необъятной ширины бедра, делая ее фигуру чуть ли не хрупкой. Тусклое освещение столовой стерло морщины с ее лица, из-за чего оно — на странный, впалый манер — помолодело. На ней было множество драгоценностей. Тех, что остались от покойной бабушки Рахели. Она надела их все. Мерцающие кольца. Брильянтовые серьги. Золотые браслеты и плоскую золотую цепочку великолепной работы, которую она время от времени трогала рукой, желая лишний раз убедиться, что она на месте и что она — ее. Ни дать ни взять юная невеста, которая все никак не может поверить своему счастью.

Она проживает жизнь в обратном направлении, подумала Рахель.

Это было удивительно верное наблюдение. Крошка-кочамма и вправду чуть не всю жизнь прожила в обратном направлении. В молодости она отвергла материальный мир, но теперь, в старости, как бы наверстывала упущенное. Она открыла объятия ему, он — ей.

Восемнадцатилетней девушкой Крошка-кочамма влюбилась в отца Маллигана, красивого молодого ирландского монаха, который был на год послан в штат Керала из мадрасской католической семинарии. Он изучал индуистские священные предания, чтобы затем опровергать их со знанием дела.

Каждый четверг утром отец Маллиган приезжал в Айеменем, чтобы нанести визит отцу Крошки-кочаммы, преподобному И. Джону Айпу, который был священником в церкви Святого Фомы.[7] Преподобный Айп был хорошо известен среди местных христиан как человек, удостоившийся личного благословения от Антиохийского патриарха, суверенного главы Сирийской православной церкви. Этот эпизод, можно сказать, вошел в историю Айеменема.

В 1876 году, когда отцу Крошки-кочаммы было

---

[7] notes: 7
Апостол Фома считается основоположником христианства в Индии.

семь лет, его отец взял мальчика с собой посмотреть на патриарха, прибывшего в общину сирийских христиан штата Керала. В Кочине они оказались в переднем ряду группы прихожан, внимавших обращению патриарха с западной веранды дома Каллени. Воспользовавшись моментом, отец шепнул сыну на ухо несколько слов и подтолкнул его вперед. Будущий священник сам не свой от страха, балансируя на полуотнявшихся ногах, обслюнявил перепуганными губами кольцо на среднем пальце патриаршей руки. Патриарх вытер кольцо о рукав и благословил ребенка. Даже спустя много лет, когда мальчик вырос и стал преподобным Айпом, его продолжали называть *Пуньян Кунджу* — Благословенный Малыш, — и люди приплывали по реке на лодках издалека, из Аллеппи и Эрнакулама, и привозили детей, чтобы он благословил их.

Хотя отец Маллиган и преподобный Айп были люди разного возраста и принадлежали к разным ветвям христианства, не испытывавшим одна к другой иных чувств, кроме неприязни, два священнослужителя чем-то нравились друг другу, и отца Маллигана часто приглашали в дом Айпа пообедать. Из двоих мужчин только один видел чувственное возбуждение, волной взды-

мавшееся в стройной девушке, которая вертелась и вертелась около стола, хотя остатки обеда были давно убраны.

Сперва Крошка-кочамма пыталась пленить отца Маллигана еженедельными сеансами показной благотворительности. Утром в четверг, когда отец Маллиган вот-вот должен был появиться, Крошка-кочамма хватала какого-нибудь оборванного деревенского малыша и принудительно мыла его у колодца жестким красным мылом, от которого у него болели рельефно выступающие ребра.

— Доброе утро, святой отец! — кричала, увидев его, Крошка-кочамма, улыбка на лице которой контрастировала с железной хваткой ее рук на худой и скользкой от мыла ручонке мальчугана.

— Доброго вам утра, Крошка! — говорил отец Маллиган, останавливаясь у колодца и складывая свой зонтик.

— Я у вас одну вещь спросить хотела, — говорила Крошка-кочамма. — В Первом Коринфянам, глава десятая, стих двадцать третий, говорится: «Все мне позволительно, но не все полезно». Святой отец, как это Ему может быть все-все-все позволительно? Кое-что или многое — это было бы понятно, но…

Отец Маллиган был не просто польщен чувствами, которые он пробудил в привлекательной девушке, стоявшей перед ним с трепещущими, готовыми к поцелую губами и сияющими угольно-черными глазами. Ведь он тоже был молод и, возможно, чувствовал, что ученые доводы, которыми он рассеивает ее мнимые теологические сомнения, пребывают в полнейшем противоречии с пронзительным обещанием, читаемым ею в его лучистых изумрудных глазах.

Каждый четверг они стояли так у колодца, не обращая внимания на безжалостное полуденное солнце. Молоденькая девушка и неустрашимый иезуит, влекомые друг к другу совершенно нехристианскими чувствами. Использующие Библию как предлог для того, чтобы побыть вместе.

Неизменно посреди их разговора несчастному намыленному ребенку удавалось вывернуться и сбежать, возвращая отца Маллигана к действительности.

— Вот так та́к! Изловить бы постреленка, пока не застудился, — говорил он, потом опять раскрывал свой зонтик и шел дальше в шоколадного цвета рясе и удобных сандалиях, похожий на высоко поднимающего ноги, деловитого верблюда. Сердце молодой Крошки-кочаммы волочилось за

ним на привязи, ударяясь о камни и цепляясь за кусты. Всё в синяках и почти разбитое.

Так, четверг за четвергом, прошел год. Наконец отцу Маллигану пришло время возвращаться в Мадрас. Поскольку благотворительность не принесла ощутимых результатов, поколебленная душой Крошка-кочамма обратила свои надежды на вероисповедание.

Проявив упрямую неподатливость (которую в те годы считали в девушке таким же серьезным изъяном, как физическое уродство — скажем, заячья губа или косолапость), Крошка-кочамма бросила вызов религии отцов и стала католичкой. По особому разрешению Ватикана она принесла обеты и стала послушницей в Мадрасском женском монастыре. Она рассчитывала, что каким-то образом это даст ей законную возможность быть с отцом Маллиганом. В ее воображении они наедине под сводами неких сумрачных покоев, задрапированных тяжелым бархатом, говорили о теологии. Это был предел ее желаний. О большем она не дерзала помыслить. Просто быть рядом. Так близко, чтобы чувствовать запах его бороды. Видеть, как переплетены грубые нити его сутаны. Любить его, глядя на него, — и только.

Очень быстро она поняла тщетность этих

мечтаний. Ей стало ясно, что священниками и епископами монопольно владеют вышестоящие сестры со своими куда более изощренными, чем у нее, теологическими сомнениями и что пройдут годы, прежде чем она сможет хоть сколько-нибудь приблизиться к отцу Маллигану. Она стала томиться в монастыре. Постоянно расчесывая голову под монашеским платом, она заработала аллергическую сыпь. Она видела, что говорит по-английски гораздо лучше, чем все остальные. И это делало ее еще более одинокой.

Не прошло и года после ее поступления в монастырь, как отец начал получать от нее загадочные письма. *Дорогой мой папа, я несказанно счастлива тем, что служу Деве Марии. Но вот Кохинор здесь несчастлива и тоскует по дому. Сегодня, дорогой мой папа, Кохинор после обеда рвало и у нее температура. Дорогой мой папа, монастырская еда не годится для желудка Кохинор, хотя я переношу ее хорошо. Дорогой мой папа, Кохинор сильно огорчена из-за того, что ее семья не понимает ее и не заботится о ее благе…*

Кто такая Кохинор, преподобный И. Джон Айп не знал; он знал только, что так зовется самый большой на тот момент из алмазов мира. Его удивляло, что девушка с мусульманским именем

находится в католическом монастыре.

Не его, а мать Крошки-кочаммы в конце концов осенила догадка, что Кохинор не кто иной, как сама Крошка-кочамма. Мать вспомнила, что несколько лет назад показала дочери копию завещания ее отца (деда Крошки-кочаммы), в котором тот говорил о своих внуках и внучках так: «У меня семь алмазов, один из которых - мой Кохинор». Каждому из семи он оставил немного денег и драгоценностей, но нигде не объяснил, кому именно он дал прозвание Кохинор. Мать Крошки-кочаммы поняла, что без всякой явной на то причины Крошка-кочамма приняла слова деда о Кохинор на свой счет и теперь, годы спустя, зная, что все письма перед отправкой просматривает Мать Настоятельница, шлет таким способом родным сигнал бедствия.

Преподобный Айп поехал в Мадрас и забрал дочь из монастыря. Она рада была уехать, но ни в какую не соглашалась вернуться в лоно православной церкви и на всю жизнь осталась католичкой. Преподобный Айп понял, что репутация дочери изрядно подмочена и ей вряд ли удастся выйти замуж. Раз ей не найти мужа, решил он, пусть получает образование. И он отправил ее в Америку, в Рочестерский универ-

ситет.

Два года спустя Крошка-кочамма вернулась из Рочестера с дипломом специалиста по декоративному садоводству и влюбленная в отца Маллигана сильней, чем когда-либо раньше. От стройной, красивой девушки, которой она раньше была, не осталось и следа. В Рочестере Крошка-кочамма сильно раздалась вширь. Стала, попросту говоря, тучной. Даже Челлаппен, застенчивый маленький портной у моста Чунгам, начал брать с нее за блузки под сари как за длинные рубашки.

Чтобы отвлечь Крошку-кочамму от грустных мыслей, отец предоставил в ее распоряжение садик перед Айеменемским Домом, где она устроила такое растительное буйство, что люди специально приезжали из Коттаяма на него полюбоваться.

Садик, круто огибаемый гравийной подъездной дорожкой, был разбит на округлом склоне пригорка. Крошка-кочамма превратила его в сложный лабиринт из миниатюрных живых изгородей, камней и фантастических фигур. Из цветов она больше всего жаловала антуриум. Anthurium andraeanum. У нее была целая коллекция всевозможных его разновидностей: «Рубрум»,

«Медовый месяц» и множество японских сортов. Мясистые однолепестковые обвертки соцветий являли разнообразие оттенков от крапчато-черного до кроваво-красного и блестяще-оранжевого. Высокие, усеянные точками соцветия-початки были неизменно желтые. В самом центре садика Крошки-кочаммы среди клумб с каннами и флоксами мраморный херувим изливал бесконечную серебристую струю в крохотный пруд, где цвел единственный голубой лотос. У каждого из четырех углов пруда сидел в ленивой позе розовый гипсовый гномик с румяными щечками и в красной остроконечной шапочке.

Крошка-кочамма проводила в садике все послеполуденное время, одетая в сари и обутая в резиновые сапоги. Ее руки в ярко-оранжевых садовых перчатках бесстрашно орудовали огромным секатором. Как укротительница львов, она усмиряла буйство ползучих растений и приучала к порядку щетинистые кактусы. Она держала в строгости бонсаи — карликовые деревца — и баловала редкие орхидеи. Она бросала вызов климату. Она пыталась выращивать эдельвейсы и китайскую гуайяву.

Каждый вечер она мазала ступни сливками и удаляла на пальчиках ног лишнюю кожицу у

основания ногтей.

В последнее время, после полувека упорного, кропотливого возделывания, декоративный садик стоял заброшенный. Предоставленный самому себе, он стал узловатым и диким — цирк, в котором животные позабыли выученные трюки. Сорняк, называемый «коммунистическая трава» (потому что в штате Керала он так же напорист, как компартия), заглушил экзотические насаждения. Только ползучие растения все росли и росли, как ногти на трупе. Они прорастали сквозь ноздри розовых гипсовых гномиков и расцветали в их полых головах, придавая их лицам удивленно-чихающее выражение.

Причиной этой внезапной, бесцеремонной отставки была новая любовь. Крошка-кочамма установила на крыше Айеменемского Дома антенну-тарелку. Благодаря спутниковому телевидению она, сидя в гостиной, владычествовала над земным шаром. Это породило в Крошке-кочамме невероятное возбуждение, хорошо заметное со стороны. Перемена была не из тех, что происходят постепенно. Она произошла в одночасье. Блондинки, войны, голод, футбол, секс, музыка, государственные перевороты — все это приехало на одном поезде. Выгрузилось од-

ной кучей. Остановилось в одной гостинице. И теперь в Айеменеме, где раньше самым громким звуком был мелодичный гудок автобуса, она могла, как прислугу, вызвать что угодно: хоть войну, хоть голод, хоть красочную резню, хоть Билла Клинтона. И вот, пока ее декоративный сад глох и умирал, Крошка-кочамма следила за баскетбольными матчами НБА, однодневными состязаниями по крикету и теннисными турнирами из серии «Большой шлем». По будням она смотрела «Дерзких и красивых» и «Санта-Барбару», где ломкие блондинки с накрашенными губами и фиксированными лаком прическами соблазняли андроидов и обороняли свои сексуальные империи. Крошке-кочамме полюбились их переливчатые наряды и находчивые, стервозные реплики. В течение дня отдельные фразы порой всплывали в ее памяти, вызывая у нее ухмылку.

Кухарка Кочу Мария по-прежнему носила тяжелые золотые серьги, безнадежно оттянувшие вниз мочки ее ушей. Она любила смотреть американское спортивное шоу «Борцовская мания», где Верзила Хоган и Мистер Перфект, чьи шеи были толще, чем головы, нещадно мяли и тузили друг друга, одетые в полосатые рейтузы из лайкры.

Смех Кочу Марии чуть отдавал жестокостью, как это иногда бывает у маленьких детей.

Весь день они сидели в гостиной — Крошка-кочамма в плантаторском кресле с длинными подлокотниками или в шезлонге (в зависимости от состояния ее ног), Кочу Мария рядом с ней на полу (перескакивая, когда можно, с канала на канал), вместе запертые в шумной тишине телевидения. У одной волосы снежно-белые, у другой крашеные и угольно-черные. Они участвовали во всех конкурсах, пользовались всеми предлагаемыми скидками и в двух случаях заработали призы — футболку и термос, которые Крошка-кочамма хранила в буфете под замком.

Крошка-кочамма любила Айеменемский Дом и лелеяла имущество, доставшееся ей благодаря тому, что она пережила всех остальных. Скрипка Маммачи и подставка для скрипки, буфеты из Ути,[8] пластмассовые плетеные кресла, кровати из Дели, венский туалетный столик с потрескавшимися ручками из слоновой кости на выдвижных ящичках. Обеденный стол красного дерева, который сделал Велютта.

Ее пугали транслируемые по Би-би-си кадры

---

[8] notes: 8
Ути (Утакаманд) — курорт в южной Индии.

войн и голода, на которые она иногда натыкалась, переключая каналы. Старые страхи перед революцией и марксистско-ленинской угрозой вернулись в облике новых телевизионных тревог из-за растущего числа отчаявшихся и обездоленных людей. В этнических чистках, голоде и геноциде она видела прямую угрозу своей мебели.

Двери и окна она всегда держала запертыми, если только ей не нужно было ими пользоваться. Окнами она пользовалась в нескольких целях. Глотнуть Свежего Воздуха. Уплатить За Молоко. Выпустить Залетевшую Осу (за которой Кочу Мария должна была гоняться по всему дому с полотенцем).

Она запирала даже свой жалкий облупившийся холодильник, где хранила недельный запас булочек с кремом, которые Кочу Мария покупала в кондитерской «Бестбейкери» в Коттаяме. И две бутылки с рисовым отваром, который она пила вместо воды. На полочке под морозильником она держала то, что осталось от обеденного сервиза Маммачи с синим рисунком в китайском стиле.

Дюжину ампул инсулина, которую привезла ей Рахель, она положила в отделение для масла и сыра. Она, видимо, считала, что в наши дни

даже тот, кто внешне — сама невинность, может оказаться похитителем фарфора, маниакальным пожирателем булочек с кремом или вороватым диабетиком, рыщущим по Айеменему в поисках импортного инсулина.

* * *

Она даже близнецам не доверяла. Считала их Способными На Все. На что угодно. *Они даже могут выкрасть обратно свой подарок,* подумала она, и ее больно уколола мысль, что вот она опять рассматривает их как единое целое. Хоть столько уже лет позади. Ни за что не желая впускать прошлое в свое сознание, она тут же поправилась. *Она. Она может выкрасть обратно свой подарок.*

Она взглянула на стоящую у обеденного стола Рахель, и ей привиделась в ней та же уклончивая нездешность, та же способность держаться очень тихо и очень незаметно, которой Эста овладел в совершенстве. Крошка-кочамма была несколько даже напугана неразговорчивостью Рахели.

— Ну так что? — спросила она. Голос прозвучал резко и неуверенно. — Какие у тебя планы? Сколько ты здесь пробудешь? Решила уже?

Рахель попыталась выговорить фразу. Она сва-

лилась с языка исковерканная. Как зазубренный кусок жести. Рахель подошла к окну и открыла его. Чтобы Глотнуть Свежего Воздуха.

— Потом не забудь закрыть, — сказала Крошка-кочамма и заперла лицо на ключ, как дверцу буфета.

Теперь уже в окно нельзя было увидеть реку.

Можно было до тех пор, пока Маммачи не распорядилась сделать заднюю веранду закрытой и установить там первую в Айеменеме скользяще-складную дверь. Выполненные маслом портреты преподобного И. Джона Айпа и Алеюти Аммачи (прадеда и прабабки Эсты и Рахели) перенесли с задней веранды на переднюю.

Там они висели и сейчас, Благословенный Малыш и его жена, по одну и другую сторону от набитой опилками и вставленной в рамку бизоньей головы.

Преподобный Айп улыбался безмятежной прародительской улыбкой уже не реке, а дороге.

У Алеюти Аммачи был более тревожный вид. Словно она хотела обернуться, но не могла. Возможно, ей не так легко, как ему, было оторвать взгляд от реки. Глаза ее смотрели туда же, куда смотрел муж. Но сердцем она смотрела в другую сторону. Ее кунукку — тяжелые, матового золота

гроздевые серьги — сильно оттягивали мочки ушей и свисали до плеч. Сквозь ушные отверстия можно было видеть горячую реку и склоненные к ней темные деревья. И рыбаков в лодках. И рыб.

Теперь уже из дома нельзя было увидеть реку, но как морская раковина навсегда сохраняет в себе ощущение моря, так Айеменемский Дом все еще сохранял в себе ощущение реки.

Набегающее, затопляющее, рыбноволнистое.

Стоя с ветром в волосах у открытого окна столовой, Рахель видела, как дождь барабанит по ржавой железной крыше бывшей бабушкиной консервной фабрики «Райские соленья и сладости».

Она была расположена между домом и рекой.

Там делали соленья, маринады, фруктовые соки, джемы, карри в порошке и ананасовые компоты. И банановый джем — правда, незаконно, так как УПП (Управление по пищевой промышленности) запретило его на том основании, что, согласно их классификации, это был не джем и не желе. Слишком жидко для желе слишком густо для джема. Ни то ни се; промежуточная консистенция.

Если следовать их правилам.

Теперь, после многих лет, Рахели казалось, что

трудности с классификацией простирались в их семье гораздо дальше, нежели этот вопрос о джеме-желе.

Вероятно, Амму, Эста и она были самыми злостными нарушителями. Но не единственными. Другие тоже нарушали правила. Все их нарушали. Заходили на запретную территорию. Играли в кошки-мышки с законами, определяющими, кого следует любить и как. И насколько сильно. Законами, согласно которым бабушки — это бабушки, дяди — дяди, матери — матери, двоюродные сестры — двоюродные сестры, джем — джем, а желе — желе.

В их семье дяди становились отцами, матери — любовницами, а двоюродные сестры умирали и лежали в гробу.

В их семье немыслимое становилось мыслимым и невозможное случалось в действительности.

* * *

Еще до похорон Софи-моль полицейские нашли Велютту.

На руках у него была гусиная кожа в тех местах, где их защемили наручниками. Холодными наручниками, от которых шел кислометал-

лический запах. Как от железных автобусных поручней и ладоней кондуктора.

Когда все было кончено, Крошка-кочамма сказала: «Что посеешь, то и пожнешь». Словно она сама не имела никакого отношения к Посеву и Жатве. Она вернулась к своей вышивке крестиком, семеня миниатюрными ножками. Крохотные пальчики на них никогда не касались пола. Это была ее идея, что Эсту надо Отправить.

Внутри Маргарет-кочаммы горе и ярость из-за смерти дочери лежали свернутые, как злая пружина. Она ничего не говорила, но то и дело, пока не уехала обратно в Англию, принималась лупить Эсту, когда он попадался под руку.

Рахель видела, как Амму пакует вещи Эсты в маленький сундучок.

— Может быть, они правы, — послышался шепот Амму. — Может быть, мальчику нужен Баба.

Рахель видела, какие у нее глаза — мертвые, красные.

Они послали запрос в Хайдарабад Специалистке по Близнецам. Та ответила, что разлучать однояйцовых близнецов было бы нежелательно, а вот двуяйцовые ничем в принципе не отличаются от любых других братьев и сестер, и хотя, конечно, они будут испытывать стресс, как

всякие дети из распавшихся семей, этим все и ограничится. Ничего экстраординарного.

И вот Эсту Отправили на поезде, с жестяным сундучком и с бежевыми остроносыми туфлями в рюкзачке защитного цвета. Сначала в Мадрас — первым классом, ночным, Мадрасским Почтовым, — а оттуда в Калькутту с приятелем их отца.

У него была с собой коробка, набитая сандвичами с помидорами. И Орлиная фляжка с орлом. А в голове картины одна хуже другой.

Дождь. Стремительная, чернильная вода. И запах. Тошнотворная сладость. Словно от старых роз принесло ветром.

Но самое худшее — это воспоминание о молодом человеке, у которого был рот старика. Об опухшем лице и сломанной, перевернутой улыбке. О растекающейся прозрачной жидкости, в которой отражалась голая лампочка. О налитом кровью глазе, который открылся, блуждал какое-то время, а потом уставился на него. На Эсту. И что же он, Эста, тогда сделал? Посмотрел на любимое лицо и сказал: Да.

Да, это был он.

Вот оно, слово, до которого не мог добраться осьминог Эсты: *Да.* Как он ни пылесосил — бес-

полезно. Слово забилось на самое дно какой-то складочки или бороздки, как волосок манго в щель между зубами. Не достать ни в какую.

В чисто практическом смысле, видимо, правильно будет сказать, что все началось с приезда Софи-моль в Айеменем. Наверно, и вправду все может перемениться в один день. И вправду несколько десятков часов могут пустить жизнь по другому руслу. И если так, то эти несколько десятков часов, как останки сгоревшего жилья — оплавленные ходики, опаленная фотография, обугленная мебель, — должны быть извлечены из руин и исследованы. Сохранены. Объяснены.

Мелкие события, обычные предметы, исковерканные и преображенные. Наделенные новым смыслом. Внезапно ставшие сухими костями повести.

Однако, утверждая, что все началось с приезда Софи-моль в Айеменем, мы принимаем лишь одну из возможных точек зрения.

С таким же успехом можно сказать, что на самом деле все началось тысячи лет назад. Задолго до зарождения марксизма. До того, как англичане захватили Малабарский берег, до прихода голландцев, до появления Васко да Гамы, до завоевания Каликута Заморином. До того, как троих

убитых португальцами сирийских епископов в пурпурных мантиях нашли плавающими в море со свернувшимися кольцами на груди морскими змеями и застрявшими в бородах устрицами. Можно сказать, что все началось задолго до того, как христианство приплыло на судне и просочилось в Кералу, как чай из чайного пакетика.

Что в действительности все началось, когда были установлены Законы Любви. Законы, определяющие, кого следует любить и как.

И насколько сильно.

Ну, а для практических целей, в нашем безнадежно практическом мире…

Глава 2
Бабочка Паппачи

…стоял лазурный день в декабре шестьдесят девятого (тысяча девятьсот в уме). Жизнь семьи незаметно подошла к такому рубежу, когда что-то выталкивает из укрытия ее внутреннее бытие и заставляет его всплыть пузырьком воздуха на поверхность и некоторое время колыхаться там. У всех на виду. В наготе и беспомощности.

Лазурного цвета «плимут», задние крылышки которого сверкали на солнце, ехал в Кочин, проносясь мимо молодых всходов риса и старых каучуковых деревьев. Дальше к востоку на небольшую страну со сходным климатом (те же джунгли, реки, рисовые поля, коммунисты) бомбы сыпались в количестве, позволявшем чуть не всю ее вымостить шестидюймовыми стальными осколками. Здесь, однако, был мир, и семейство ехало в «плимуте», не испытывая ни страха, ни дурных предчувствий.

Раньше «плимут» принадлежал Паппачи, деду Рахели и Эсты. После его смерти автомобиль перешел к Маммачи, их бабушке, и теперь близнецы

ехали на нем в Кочин смотреть фильм «Звуки музыки» в третий раз. Они уже знали наизусть все песни.

Потом они должны были переночевать в гостинице «Морская королева», где пахло вчерашней едой. Номера уже были забронированы. На следующий день рано утром им предстояло поехать в Кочинский аэропорт, чтобы встретить Маргарет-кочамму (их английскую тетю, бывшую жену Чакко), которая со своей и Чакко дочерью, их двоюродной сестрой Софи-моль, летела из Лондона встретить в Айеменеме Рождество. Два месяца назад Джо, второй муж Маргарет-кочаммы, погиб в автомобильной катастрофе. Узнав о его смерти, Чакко пригласил их в Айеменем. Невыносимо думать, сказал он, что они будут встречать Рождество в Англии в одиночестве и заброшенности. В доме, полном воспоминаний.

Амму говорила, что Чакко не переставал любить Маргарет-кочамму. Маммачи не соглашалась. Ей хотелось верить, что он не любил ее ни одного дня.

Рахель и Эста никогда не видели Софи-моль. Однако в последнюю неделю они массу всего о ней наслышались. От Крошки-кочаммы, от Кочу Марии и даже от Маммачи. Как и близнецы, ни

одна из них ее в глаза не видела, но говорили они так, словно прекрасно ее знали. В общем, неделя прошла под знаком: *Что Подумает Софи-моль?*

Всю ту неделю Крошка-кочамма неустанно подслушивала разговоры близнецов между собой и, если замечала, что они переходят на малаялам, налагала небольшую пеню, которая удерживалась из их карманных денег. Она заставляла их писать строчки — «штрафные», так она их называла: *Я буду говорить только по-английски. Я буду говорить только по-английски.* Сто раз подряд. Потом она перечеркивала написанное красными чернилами, чтобы ей не подсунули то же самое после новой провинности.

Она репетировала с ними английскую путевую песню для обратной дороги. Они должны были выговаривать слова без ошибок и быть очень внимательными к произношению. Проу Ииз Ноу Шению.

Ра-адуйтесь всегда-а в Го-осподе,
И еще говорю: ра-адуйтесь,
Ра-адуйтесь,
Ра-адуйтесь,
И еще говорю: ра-адуйтесь.

У Эсты полное имя звучало Эстаппен Яко. У

Рахели — просто Рахель. До Поры До Времени они жили без фамилии, потому что Амму обдумывала возможность вернуть себе девичью фамилию, хотя говорила, что предоставляемый женщине выбор между фамилиями мужа и отца — это насмешка, а не выбор.

На ногах у Эсты были его бежевые остроносые туфли, на голове — элвисовский зачес. Особый Выходной Зачес. Из песен Элвиса его любимой была «Повеселимся». «Иные любят рок, иные любят ролл, — мурлыкал Эста наедине с собой, бренча на бадминтонной ракетке и кривя губу, как Элвис, — а мне милей всего топтать с девчонкой пол. Повеселимся…»

У Эсты были раскосые сонные глаза, и его новые передние зубы еще не выровнялись. У Рахели новые зубы пока что дремали в деснах, как словечки в авторучке. Всех удивляло, что при всего лишь восемнадцатиминутной разнице в возрасте она так отстала по части передних зубов.

Волосы Рахели взметались с макушки фонтанчиком. Они были стянуты «токийской любовью» — парой шариков на круглой резинке, что не имело отношения ни к любви, ни к Токио. В штате Керала «токийская любовь» выдержала проверку временем, и даже сейчас, если вы попросите ее в

любом приличном галантерейном магазине, вас поймут и вы получите желаемое. Пару шариков на круглой резинке.

На руке у Рахели были игрушечные часики с нарисованными стрелками. Без десяти два. Одним из ее желаний было иметь часы, на которых она могла бы ставить время по своему усмотрению (ведь для этого, считала она, Время главным образом и существует). Ее красные пластмассовые солнечные очочки в желтой оправе делали весь мир красным. Амму говорила, что это вредно для глаз, и просила ее надевать их пореже.

Ее Платье Для Аэропорта лежало у Амму в чемодане. Там же — специальные панталончики в тон.

Вел машину Чакко. Он был старше Амму на четыре года. Рахель и Эста не могли называть его *чачен* (старший брат), потому что он тогда называл их *четан* и *чедути* (брат и жена брата). Если они называли его *аммавен* (матушка), он называл их *аппой* и *аммей* (папа и мама). Если они называли его по-английски дядей, он называл их тетями, и это смущало их, когда он делал это При Всех. Поэтому они называли его Чакко.

Комната Чакко была от пола до потолка уставлена книгами. Он все их прочел и цитировал

длинными кусками без видимой причины. Во всяком случае, никто не понимал, зачем он это делает. Например, когда они в тот день выезжали из ворот, крича «До свидания» сидящей на веранде Маммачи, Чакко вдруг сказал: «Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, — вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах».[9]

Все настолько к этому привыкли, что никто уже не переглядывался и не толкал соседа локтем. Чакко окончил Оксфорд, куда ездил как родсовский стипендиат, и ему были позволительны эксцентризм и причуды, которые никому другому не сошли бы с рук.

Он утверждал, что пишет такую Историю Семьи, что Семье придется щедро заплатить ему за отказ от публикации. Амму отвечала, что единственный человек в семье, уязвимый для подобного биографического шантажа, — это сам Чакко.

Это, конечно, было еще тогда. До Ужаса.

В «плимуте» Амму сидела впереди, рядом с

---

[9] notes: 9

Цитата из романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гетсби» (перевод Е. Калашниковой).

Чакко. В том году ей исполнилось двадцать семь, и где-то в глубине живота она носила холодное знание, что жизнь для нее кончена. Ей представился ровно один шанс. Она допустила ошибку. Вышла замуж за кого не надо было.

Амму окончила школу в том же году, когда ее отец ушел на пенсию со своей работы в Дели и переехал с семьей в Айеменем. Паппачи считал, что обучение в колледже — излишняя роскошь для девушки, поэтому Амму волей-неволей пришлось покинуть Дели вместе со всеми. В Айеменеме юная девушка мало чем могла заниматься — разве что помогать матери по хозяйству и ждать брачных предложений. Поскольку у отца Амму не было денег на приличное приданое, предложений не поступало. Так минуло два года. Прошел ее восемнадцатый день рождения. Прошел незамеченным или, по крайней мере, не отмеченным ее родителями. Амму пришла в отчаяние. Целыми днями мечтала о том, как бы ускользнуть из Айеменема, от желчного отца и обиженной, много перестрадавшей матери. Один за другим возникло несколько доморощенных планов спасения. В конце концов один из них сработал. Паппачи отпустил ее на лето к дальней родственнице в Калькутту.

Там на чьей-то свадьбе Амму познакомилась со своим будущим мужем.

Он приехал в отпуск из Ассама, где работал помощником управляющего на чайной плантации. Он происходил из обедневшей семьи заминдаров,[10] которая перебралась в Калькутту из Восточной Бенгалии после раздела страны на Индию и Пакистан.

Он был маленького роста, но хорошо сложен. Приятен лицом. Носил старомодные очки, придававшие ему серьезный вид и вступавшие в противоречие с его непринужденным обаянием и детским, но совершенно обезоруживающим юмором. К своим двадцати пяти годам он успел проработать на чайных плантациях шесть лет. Он не кончал колледжа, чем и объяснялось его пристрастие к школьным шуточкам. Он сделал Амму предложение через пять дней после знакомства. Амму не стала притворяться, что влюблена. Просто поразмыслила и согласилась. Лучше что угодно и кто угодно, подумала она, чем возвращение в Айеменем. Она написала родителям, извещая их о своем решении. Они не ответили.

---

[10] notes: 10

Заминдары — землевладельцы, платившие земельный налог английским колониальным властям.

Сыграли пышную калькуттскую свадьбу. Потом, вспоминая тот день, Амму поняла, что причиной лихорадочного блеска в глазах жениха были не любовь и даже не предвкушение плотского блаженства, а примерно восемь больших порций виски. Чистого. Неразбавленного.

Свекор Амму был председателем Железнодорожного совета и обладателем голубой кембриджской боксерской формы. Он был секретарем Бенгальской ассоциации боксеров-любителей. Он подарил молодым «фиат», выкрашенный по особому заказу в дымчато-розовый цвет, и после свадьбы укатил в нем сам, погрузив в него все драгоценности и большую часть прочих подношений. Еще до того, как родились двойняшки, он умер на операционном столе во время удаления желчного пузыря. На кремации присутствовали все боксеры Бенгалии. Печальная процессия костлявых щек и сломанных носов.

Когда они с мужем переехали в Ассам, красивая, молодая и дерзкая Амму стала любимицей всего «Плантаторского клуба». Она надевала под сари блузки, оставляющие спину открытой, и носила на цепочке кошелек из серебристой парчи. Она курила длинные сигареты в серебряном мундштуке и научилась выпускать дым без-

укоризненными кольцами. Ее муж оказался не просто пьющим, но самым настоящим алкоголиком со всей присущей таким людям лживостью и трагическим шармом. Было в нем такое, чего Амму так и не смогла понять. Даже спустя годы после их развода она все удивлялась, почему он так беззастенчиво ей врал, когда в этом не было никакой нужды. В особенности когда в этом не было никакой нужды. В разговоре с друзьями он мог распространяться о том, как он любит копченую лососину, хотя Амму знала, что он терпеть ее не может. Или приходил домой из клуба и говорил Амму, что смотрел «Встретимся в Сент-Луисе», хотя на самом деле там показывали «Бронзового ковбоя». Когда она уличала его во лжи, он никогда не извинялся и не оправдывался. Просто хихикал, чем злил Амму настолько, что она сама себе удивлялась.

У Амму пошел девятый месяц беременности, когда началась война с Китаем. Стоял октябрь 1962 года. С чайных плантаций Ассама стали вывозить жен и детей сотрудников. Амму, у которой близились роды, не могла ехать и осталась на месте. В ноябре, после невыносимого путешествия в Шиллонг на тряском автобусе, посреди слухов о китайской оккупации и неизбежном поражении

Индии, родились Эста и Рахель. При свете свечей. В родильном доме с затемненными окнами. Они вылезли из нее по-тихому с восемнадцатиминутным интервалом. Парочка маленьких вместо одного большого. Тюленчики-двойняшки, скользкие от материнских соков. Сморщенные от родовой натуги. Прежде чем закрыть глаза и забыться, Амму осмотрела их, ища дефекты.

Она насчитала четыре глаза, четыре уха, два рта, два носа, двадцать пальчиков на руках и двадцать аккуратных ноготков на ногах.

Она не увидела единую сиамскую душу. Она была рада, что они родились. Их отец валялся пьяный на жесткой скамейке в больничном коридоре.

К тому времени как близнецам исполнилось два года, пьянство отца, усугубляемое скукой чайных плантаций, довело его до алкоголического ступора. Целые дни он пролеживал в постели, не выходя на работу. Наконец мистер Холлик, англичанин-управляющий, пригласил его в свое бунгало «потолковать по душам».

Амму сидела на веранде их дома и обреченно ждала возвращения мужа. Она была уверена, что Холлик вызвал его с единственной целью — объявить об увольнении. К ее удивлению, Баба

вернулся мрачный, но не отчаявшийся. Мистер Холлик, сказал он, предложил один вариант, и надо его обсудить. Вначале муж говорил несколько неуверенно, избегая ее взгляда, но потом осмелел. С практической точки зрения, сказал он, это предложение выгодно им обоим. И не только им, но и детям, ведь их образование обойдется недешево.

Мистер Холлик говорил с молодым помощником без обиняков. Перечислил жалобы на него от рабочих и от других помощников управляющего.

— Боюсь, у меня нет другого выхода, — сказал он, — кроме как освободить вас от должности. Пока жалкий человечишка не затрясся. Пока он не захныкал. Тогда Холлик заговорил снова.

— Все-таки один выход, пожалуй, имеется… может, мы и сговоримся по-хорошему. Надо, я считаю, быть оптимистами. Всегда что-то есть в активе. — Холлик прервался, чтобы потребовать черного кофе. — Ведь вы счастливчик, дорогой мой, — прекрасная семья, чудные детишки, обаятельная жена… — Он зажег сигарету и не гасил спичку, пока она не обожгла ему пальцы. — *На редкость* обаятельная жена…

Хныканье смолкло. Карие глаза озадаченно уперлись в зеленые, зловещие, в красных про-

жилках глаза собеседника. Потягивая кофе, мистер Холлик предложил Баба уехать на время. Взять отпуск. Может быть, и в клинике подлечиться. Пока у него не наступит улучшение. А на период его отсутствия, сказал мистер Холлик, Амму перебралась бы к нему в бунгало, где он «окружит ее заботой».

В тех местах уже бегало несколько оборванных светлокожих детишек, родившихся от мистера Холлика у молоденьких сборщиц чая. На сей раз он впервые попробовал взять чуть повыше.

Амму смотрела, как движутся, формируя слово за словом, мужнины губы. И ничего не отвечала. От ее молчания он сперва почувствовал неловкость, а потом пришел в ярость. Внезапно бросился на нее, схватил ее за волосы, ударил и, лишившись сил, упал в обморок. Амму стащила с полки самую увесистую книгу — атлас мира в издании «Ридерс дайджест» — и принялась лупить его со всего размаху. По голове. По ногам. По плечам и спине. Придя в себя, он пришел в изумление от величины синяков. Он униженно попросил прощения за вспышку гнева и тут же принялся ныть и клянчить, чтобы она помогла ему перевестись в другое место. Это вошло в систему. После пьяного буйства — похмельное

нытье. Амму содрогалась от медицинского запаха перегорелого спирта, который шел от его кожи, и от вида засохшей блевотины, облеплявшей по утрам его рот наподобие пирожной корки. Когда в приступах ярости он начал кидаться на детей и в довершение всех бед разразилась война с Пакистаном, Амму бросила мужа и вернулась к неприветливым родителям в Айеменем. Ко всему, от чего она бежала несколько лет назад. С той разницей, что теперь у нее на руках было двое детей. И никаких больше иллюзий.

Паппачи ее рассказу не поверил — не потому, что хорошо думал о ее муже, а потому, что в его представлении англичанин, кто бы он ни был, просто *не мог* возжелать чужую жену.

Амму любила детей — как же иначе, — но их лупоглазая беззащитность, их готовность любить всех подряд, даже тех, кто их не любит, приводила ее в бешенство и порой рождала в ней желание сделать им больно — чтобы предостеречь чтобы научить.

Словно они держали окно, в которое улетучился отец, открытым для любого желающего — влезай, располагайся.

Двойняшки казались Амму парой озадаченных лягушат, поглощенных друг другом, сцепивших-

ся лапками и вместе прыгающих по шоссе, по которому несутся машины. Без малейшего понятия о том, как автомобиль может обойтись с лягушонком. Амму опекала их яростно. Бдительность напрягала ее, натягивала струной. Чуть что, она отчитывала детей, по малейшему поводу вскидывалась на посторонних в их защиту.

Она понимала, что ее шансы в жизни теперь равны нулю. Ей остается только Айеменем. Передняя веранда и задняя веранда. Горячая река и консервная фабрика.

А на заднем плане — неумолчное, визгливое, скулящее подвывание недоброй молвы.

Амму быстро, уже за первые месяцы после возвращения в родительский дом научилась распознавать и презирать уродливый лик сострадания. Пожилые родственницы с волосками на первых подбородках, под которыми колыхались вторые и третьи, наносили краткие визиты в Айеменем, чтобы попечалиться с нею вместе о ее разводе. Они садились напротив, хватали ее за коленку и злорадствовали. Она едва сдерживалась — так ей хотелось их ударить. А еще лучше — открутить им соски. Гаечным ключом. Как Чаплин в «Новых временах».

Когда Амму разглядывала свои свадебные фото-

графии, ей чудилось, будто на нее смотрит кто-то другой, а не она. Какая-то глупая разукрашенная невеста. Ее шелковое сари цвета солнечного заката переливалось золотом. На каждом пальце — кольцо. Над изогнутыми бровями — белые пятнышки сандаловой пасты. От воспоминаний, рождаемых этими снимками, мягкий рот Амму изгибался в мелкой, горькой усмешке; дело было не столько даже в самой свадьбе, сколько в том, что она позволила так изощренно обрядить себя перед виселицей. Ей виделась в этом такая тщета. Такая нелепость.

Все равно, что полировать дрова.

Она отдала местному ювелиру в переплавку свое массивное обручальное кольцо, и тот сделал из него тоненький браслет со змеиными головками, который она спрятала, чтобы в будущем подарить Рахели.

Амму понимала, что нельзя обойтись совсем без свадьбы. Теоретически — можно, на практике — нет. Но до конца жизни она была сторонницей *скромных* церемоний в *обычной* одежде. Все же не так зловеще, думала она.

Порой, когда по радио звучали любимые песни Амму, что-то сдвигалось у нее внутри. Текучая боль разливалась под кожей, и она, как ведьма,

покидала этот мир ради иных, более счастливых краев. В такие дни что-то в нее вселялось, какая-то неукротимость и беспокойство. Словно она на время скидывала моральную ношу, которую подобало нести матери и разведенной жене. Даже походка ее дичала, из матерински-надежной превращалась в иную, размашистую. Она вставляла в прическу цветы, и глаза ее делались таинственными. Она ни с кем не говорила. Часами сидела на берегу реки с маленьким пластмассовым транзистором в форме мандарина. Курила сигареты и окуналась в полуночную реку.

Отчего же Амму становилась такой непредсказуемой? Такой Опасной Бритвой? Оттого, что внутри у нее шла борьба. Смешалось то, чему лучше не смешиваться. Бесконечная нежность матери и безоглядная ярость самоубийцы-бомбометательницы. Вот что возрастало и возрастало в ней, вот что в конце концов заставило ее любить по ночам человека, которого ее дети любили днем. Плавать по ночам в лодке, в которой ее дети плавали днем. В лодке, на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель.

В те дни, когда радио играло любимые песни Амму, домашние побаивались ее. Каким-то образом они чувствовали, что она им неподвластна,

что она живет в сумеречном зазоре меж двух миров. Что женщине, на которой они поставили крест, теперь почти нечего терять, и поэтому она может представлять опасность. Так что в те дни, когда радио играло любимые песни Амму — например, «Пусть будет так» битлов, — люди сторонились ее, обходили ее кругами, потому что всем было ясно, что лучше Оставить Ее Так.

А бывали дни, когда от улыбки у нее на щеках появлялись упругие ямочки.

У нее было нежное точеное личико, черные брови, похожие на крылья парящей чайки, маленький прямой нос и светящаяся изнутри кожа орехового цвета. В тот лазурный декабрьский день ветер в машине вызволял и трепал пряди ее буйно-курчавых волос. Блузка без рукавов оставляла открытыми плечи, блестевшие, как дорогое полированное дерево. Иногда она была самой красивой женщиной, какую Эста и Рахель видели в жизни. А иногда не была.

На заднем сиденье «плимута» между Эстой и Рахелью сидела Крошка-кочамма. Бывшая монашенка, а ныне двоюродная бабушка. К ним, к обделенным судьбой, лишенным отца близнецам, она относилась с неприязнью, какую несчастливые люди иногда испытывают к собратьям по

несчастью. Мало того, что безотцовщина, еще и дети от смешанного брака, наполовину индусы, с которыми уважающее себя семейство сирийских христиан ни за что не породнится. Она всячески давала им понять, что они (как, впрочем, и она) живут в Айеменемском Доме, принадлежащем их бабушке, только из милости и без всякого на то права. Крошка-кочамма мысленно возмущалась поведением Амму, бунтовавшей против участи, какую она, Крошка-кочамма, смиренно приняла. Участи горемычной безмужней женщины. Печальная Крошка-кочамма, так и не получившая отца Маллигана в мужья. С годами она убедила себя, что их с отцом Маллиганом соединенью помешало лишь *ее* самоотречение, *ее* решимость не преступать границ.

Она всей душой разделяла расхожее мнение, что замужней дочери нет места в доме ее родителей. Что касается *разведенной* дочери, ей, считала Крошка-кочамма, нет места вообще нигде. Что касается *разведенной* дочери, чей брак *не был одобрен* родителями, Крошка-кочамма не находила слов, чтобы выразить свое возмущение. А если к тому же это был *межобщинный* брак, Крошка-кочамма могла только молчаливо содрогаться.

Близнецы были слишком малы, чтобы все это

понимать, и случавшиеся у них мгновения высшего счастья — например, когда пойманная ими стрекоза поднимала лапками камешек с подставленной ладони, или когда им разрешали окатить водой свиней, или когда они находили яйцо, еще горячее от наседки, — вызывали неодобрение Крошки-кочаммы. Но самое сильное неодобрение вызывала у нее теплая радость, которую они черпали друг в друге. Она хотела видеть на их лицах некий знак печали. По меньшей мере знак.

На обратном пути из аэропорта Маргарет-кочамма будет сидеть впереди вместе с Чакко, потому что в прошлом она была его женой. Софи-моль сядет между ними. Амму переберется на заднее сиденье.

Будет две фляжки с водой. Для Маргарет-кочаммы и Софи-моль — кипяченая, для всех остальных — из-под крана.

Багаж будет лежать в багажнике.

Рахели нравилось слово «багаж». Гораздо лучше, чем, например, «крепыш». «Крепыш» — ужасное слово. Похоже на имя гномика. Коши Ууммен[11] Крепыш — приятный, среднего до-

[11] notes: 11

Коши, Ууммен — типичные имена сирийских христиан в южной Индии.

статка, богобоязненный гномик с коротенькими ножками и боковым пробором.

На крыше у «плимута» громоздилось квадратное сооружение из четырех обитых жестью кусков фанеры, на каждом из которых стилизованными буквами было выведено: «Райские соленья и сладости». Под каждой надписью были нарисованы банка с фруктовым вареньем-ассорти и банка с пряным соленьем из лайма в растительном масле, и на каждой банке красовалась наклейка с надписью теми же стилизованными буквами: «Райские соленья и сладости».

Сбоку от банок перечислялись все райские деликатесы и был нарисован исполнитель танца катхакали[12] с зеленым лицом и в развевающихся одеждах. Вдоль змеящегося нижнего края его волнистых одежд змеилась строка: «Владыки вкусового царства», представлявшая собой непрошеный творческий вклад товарища К. Н. М. Пиллея. Это был буквальный перевод с малаялам фразы *Руси локатинде Раджаву*, звучавшей чуть менее абсурдно, чем эти самые «Владыки». Как бы то ни было, товарищ Пиллей отпечатал все в таком именно виде, и ни у кого не хватило

---

[12] notes: 12

Катхакали — на языке малаялам буквально: представление рассказа.

духу потребовать, чтобы он переделал весь заказ. Поэтому, к сожалению, «Владыки вкусового царства» стали неизменным украшением банок с райской продукцией.

Амму сказала, что танцор катхакали здесь Ни К Селу Ни К Городу, только с толку сбивает. Чакко ответил, что он придает всему Местный Колорит и сослужит продукции хорошую службу, когда она выйдет на Международный Рынок.

Амму сказала, что вид у них с этой рекламой просто смехотворный. Не машина, а цирк передвижной. Да еще с крылышками.

Маммачи начала делать соленья на коммерческой основе вскоре после того, как Паппачи ушел на пенсию с государственной службы в Дели и семья переехала в Айеменем. Коттаямское Библейское общество проводило ярмарку и попросило Маммачи выставить свой знаменитый банановый джем и соленье из молодых манго. Все это мигом было раскуплено, и Маммачи увидела, что спрос превышает предложение. Окрыленная успехом, она продолжала делать соленья и джемы и оглянуться не успела, как оказалась занята по горло. Паппачи, со своей стороны, не знал, как ему справиться с бесчестьем отставки. Он был на семнадцать лет старше Маммачи и вдруг с

ужасом понял, что он уже старик, тогда как его жена еще в расцвете сил.

Хотя у Маммачи была коническая роговица и она уже почти ничего не видела, Паппачи не помогал ей готовить соленья, потому что считал такое дело зазорным для бывшего государственного служащего высокого ранга. Он всегда был страшно ревнивым человеком, и ему очень не нравилось, что его жена внезапно оказалась в центре внимания. Он слонялся по территории консервной фабрики в одном из своих безукоризненно сшитых костюмов, уныло петляя меж холмиков красного перца и свежесмолотой желтой куркумы, наблюдая, как Маммачи распоряжается покупкой, взвешиванием, засолкой и сушкой лаймов и молодых манго. Каждый вечер он бил ее латунной цветочной вазой. Побои не были новостью. Новостью была частота, с какой они начали происходить. Однажды Паппачи сломал смычок жениной скрипки и бросил его в реку.

Потом на летние каникулы приехал из Оксфорда Чакко. Он превратился в крупного мужчину, и от гребли за Бэллиол-колледж руки у него были тогда крепкие. Через неделю после приезда он увидел, как Паппачи бьет Маммачи у себя в каби-

нете. Чакко вошел в комнату, схватил Паппачи за руку, в которой тот держал вазу, и заломил ее отцу за спину.

— Чтобы этого никогда больше не было, — сказал он. — Никогда, понял?

До конца дня Паппачи сидел на веранде с каменным лицом и смотрел на декоративный сад, игнорируя тарелки с едой, которые ему подставляла Кочу Мария. Поздно вечером он вошел к себе в кабинет и вынес оттуда любимое свое кресло-качалку красного дерева. Поставив кресло на середину подъездной дорожки, он разбил его в щепу большим разводным ключом. Все это там осталось лежать кучей, освещенное луной, — полированные прутья и деревянные обломки. Он ни разу больше не тронул Маммачи. И до конца своих дней не сказал ей больше ни слова. Когда ему что-нибудь было нужно, он прибегал к посредничеству Кочу Марии или Крошки-кочаммы.

В те вечера, когда ожидались гости, он усаживался на веранде и начинал пришивать к своим рубашкам пуговицы, которых там якобы не хватало, — видите, мол, как она обо мне заботится. В какой-то, пусть и малой, степени ему удалось еще больше дискредитировать в глазах жителей

Айеменема образ работающей жены.

У одного старого англичанина в Манаре он купил лазурного цвета «плимут». В Айеменеме часто потом видели, как он важно и неторопливо катит по узкой дороге в широкой машине, элегантный внешне, но весь мокрый от пота под плотным шерстяным костюмом. Ни Маммачи, ни кому-либо другому не разрешалось не только ездить, но даже сидеть в этом автомобиле. «Плимут» был отмщением Паппачи.

В свое время Паппачи был Королевским Энтомологом в Сельскохозяйственном институте. После ухода англичан его должность стала называться «содиректор по энтомологии». За год до отставки его повысили до директорского уровня.

Величайшим разочарованием его жизни было то, что в его честь *не* назвали открытую им ночную бабочку.

Она упала в его коктейль однажды вечером, когда он сидел на веранде гостиницы после долгого дня в поле. Вынимая ее, он обратил внимание на необычную густоту спинных волосков. Он присмотрелся к ней получше. Потом, испытывая растущее воодушевление, обработал ее, обмерил и утром на несколько часов выставил на солнце, чтобы выпарить спирт. После чего первым же

поездом вернулся в Дели. Где бабочку ждало таксономическое исследование, а его, как он надеялся, — слава. После шести невыносимых месяцев ожидания энтомологу, к его страшному разочарованию, было сказано, что эта бабочка — всего-навсего незначительная разновидность внутри хорошо известного вида, принадлежащего к тропическому семейству Lymantriidae.

Но настоящий удар он получил двенадцатью годами позже, когда вследствие радикального изменения таксономических концепций специалисты по чешуекрылым решили, что бабочка Паппачи *действительно* является представительницей доселе не известного науке вида и рода. К тому времени, конечно, Паппачи уже вышел на пенсию и обосновался в Айеменеме. Бороться за честь первооткрывателя было уже поздно. Бабочку назвали в честь и. о. директора отдела энтомологии, из молодых да раннего, на которого Паппачи всегда смотрел косо.

В последующие годы, хотя Паппачи уже давно, задолго до открытия им бабочки, был человеком желчным, она, эта бабочка, считалась виновницей всех его приступов хандры и внезапных вспышек ярости. Ее злобный дух — серый, мохнатый, с необычно густыми спинными волосками

— обитал в каждом доме, где ему приходилось жить. Он мучил его самого, его детей и детей его детей.

До самой своей кончины, несмотря на удушающую айеменемскую жару, Паппачи неизменно носил хорошо отутюженный костюм-тройку и золотые карманные часы. На его туалетном столике рядом с флакончиком одеколона и серебряной щеткой для волос стояла его фотография в молодости, с гладко зализанными волосами, сделанная в фотоателье в Вене, где он шесть месяцев стажировался прежде, чем получить должность Королевского Энтомолога. Во время их краткого пребывания в Вене Маммачи стала брать свои первые уроки игры на скрипке. Уроки были резко прерваны после того, как Лаунски-Тиффенталь, педагог Маммачи, имел неосторожность сказать Паппачи, что его жена исключительно одарена и, по его мнению, может стать настоящей солисткой.

Маммачи вклеила в семейный фотоальбом вырезку из газеты «Индиан экспресс» с заметкой о смерти Паппачи. Там говорилось:

Известный энтомолог шри Бенаан Джон Айп, сын покойного священника И. Джона Айпа из Айеменема (прозванного *Пуньян Кунджу*) скон-

чался вчера ночью в больнице общего профиля города Коттаяма от обширного инфаркта. Примерно в 1.05 ночи он почувствовал боль в груди и был немедленно госпитализирован. Смерть наступила в 2.45 ночи. В течение последних шести месяцев состояние здоровья шри Айпа внушало опасения. После него остались жена Сошамма и двое детей.

На похоронах Паппачи его вдова рыдала, и контактные линзы плавали в ее глазах. Амму сказала близнецам, что Маммачи плакала не из-за любви к покойному мужу, а из-за привычки. Она привыкла видеть его слоняющимся вокруг фабрики, привыкла к его побоям. Амму сказала, что человек — это привыкающее животное и что просто невероятно, к чему он ухитряется приспособиться. Стоит посмотреть вокруг, сказала Амму, и увидишь, что избиения латунной вазой — далеко не самое впечатляющее, что есть на свете.

После похорон Маммачи попросила Рахель найти и вынуть у нее из глаз контактные линзы с помощью маленькой оранжевой пипетки, лежавшей в особом футлярчике. Рахель спросила Маммачи, можно ли ей будет, когда Маммачи умрет, взять пипетку себе. Амму тут же вывела ее из комнаты и отшлепала.

— Чтобы я никогда больше не слышала, как ты говоришь человеку про его смерть, — сказала она.

Эста сказал, что Рахель недобрая, что так ей и надо.

Венскую фотографию Паппачи с зализанными волосами вставили в другую рамку и повесили в гостиной.

Он был фотогеничный мужчина, франтоватый и холеный, с довольно крупной для его небольшого роста головой. Наклони он ее — на снимке стал бы заметен уже намечавшийся у него второй подбородок. Поэтому он держал голову достаточно высоко, но не слишком, чтобы не показаться надменным. Его светло-карие глаза глядели любезно, но несколько зловеще, как будто он специально сделал перед аппаратом вежливую мину, размышляя тем временем, как лучше убить собственную жену. Его верхняя губа посередине чуть нависала над нижней, что делало его лицо женственным и словно бы дующимся, как бывает у детей, имеющих привычку сосать пальцы. На подбородке у него была продолговатая выемка, подтверждавшая подозрения о таящейся в нем маниакальной злобе. О некой сдавленной жестокости. На нем были защитного цвета брюки

для верховой езды, хотя он ни разу в жизни не садился на лошадь. В его блестящих сапогах отражалась лампа фотографа. На коленях у него покоился хлыст с рукояткой из слоновой кости.

Безмолвная зоркость мужчины на фотографии подспудно охлаждала теплую комнату, в которой она висела.

После смерти Паппачи от него остались сундуки с дорогими костюмами и жестянка из-под конфет, полная запонок, которые Чакко по одной раздал коттаямским таксистам. Они пошли на кольца и брелоки для их незамужних дочек, которым требовалось приданое.

Когда близнецы спросили, что такое запонки, и получили от Амму ответ: «Застежки для манжет», их поразила логика языка, казавшегося до той поры совершенно нелогичным. *Cuff (манжета) + link (застежка) = cufflink (запонка).* Точность и стройность не хуже математической. Эти самые запонки привели их в неумеренный, преувеличенный восторг перед английским языком.

Паппачи, сказала Амму, был неисправимым ЧЧП англичан, что в полном виде звучит «чи-чи поч» и в переводе с хинди буквально означает «выгребатель дерьма». Чакко сказал, что на вежливом языке люди вроде Паппачи называются

англофилами. Он заставил Рахель и Эсту посмотреть это слово в большом энциклопедическом словаре, изданном «Ридерз дайджест». Там объяснялось: «Лицо, расположенное к англичанам». Затем близнецы должны были найти слово «расположить». Словарь гласил: «1) Разместить в определенном порядке. 2) Добиться благоприятного отношения». Чакко объяснил, что к Паппачи относится второе значение — «добиться благоприятного отношения». Англичане, сказал Чакко, долго били нас и наконец добились от Паппачи и ему подобных благоприятного к себе отношения.

Чакко заявил близнецам, что, как ни тяжело в этом признаваться, все они сплошь англофилы. *Англофильская порода.* Люди, уведенные в ложном направлении, увязшие вне собственной истории и не способные вернуться назад по своим же следам, потому что следы эти стерты. Он сказал, что история похожа на старый дом среди ночи. В котором зажжены все огни. В котором тихо шепчутся предки.

— Чтобы понять историю, — сказал Чакко, — мы должны войти внутрь и прислушаться к тому, что они говорят. Взглянуть на книги и на развешанные по стенам картины. Вдохнуть запахи.

Эста и Рахель были совершенно уверены, что

Чакко имеет в виду вполне определенный дом на той стороне реки, посреди заброшенной каучуковой плантации, где они никогда не были. Дом Кари Саибу — Черного Сахиба.[13] Англичанина, который «отуземился». Который говорил на малаялам и носил мунду. Который был своего рода Курцем[14] Айеменема. Который сделал это место своим Сердцем Тьмы. Он пустил себе пулю в лоб десять лет назад, когда родители мальчика, с которым он жил, забрали его домой и отдали в школу. После самоубийства хозяина его имущество стало предметом длительной тяжбы между поваром Кари Саибу и его секретарем. Все эти годы дом пустовал. Видели его очень немногие. Близнецы, однако, явственно представляли его себе.

Исторический Дом.

Прохладные каменные полы, тусклые стены и плывущие, качающиеся тени-корабли. Пухлые полупрозрачные ящерицы, живущие позади старых картин; дряхлые предки с восковыми

---

[13] notes: 13

Сахиб — господии (обращение к иностранцу в колониальной Индии).

[14] notes: 14

Курц — персонаж романа Дж. Конрада «Сердце тьмы» (1902), образованный человек, жестоко правивший туземцами в отдаленном уголке Африки.

лицами, жесткими безжизненными ногтями на ногах и запахом пожелтевших географических карт изо рта; их бумажные шелестящие шепотки.

— Но войти туда мы не можем, — объяснял Чакко, — потому что дверь заперта. А когда мы заглядываем снаружи в окна, мы видим только тени. А когда мы прислушиваемся, до нас доносится только шепот. И понять, о чем они шепчут, мы не можем, потому что разум наш захлестнула война. Война, которую мы выиграли и проиграли. Самая скверная из войн. Война, которая берет в плен мечты и перекраивает их. Война, которая заставила нас восхищаться нашими поработителями и презирать себя.

— Сказал бы лучше — *жениться* на наших поработительницах, — заметила Амму сухо, имея в виду Маргарет-кочамму. Чакко пропустил шпильку мимо ушей. Он заставил близнецов найти в словаре слово *презирать*. Там объяснялось: *смотреть сверху вниз; относиться пренебрежительно; не уважать.*

Чакко сказал, что в контексте войны, о которой он вел речь, — Войны за Мечты — *презирать* означает и то, и другое, и третье.

— Мы Бывшие Военнопленные, — сказал Чак-

ко. — Нам внушили чужие мечты. Мы не помним родства. Мы плывем без якоря по бурному морю. Ни одна гавань нас не принимает. Нашим печалям вечно не хватает глубины. Нашим радостям — высоты. Нашим мечтам — размаха. Нашим жизням — весомости. Чтобы иметь какой-либо смысл.

Потом, чтобы Эста и Рахель учились видеть все в мудром свете исторической перспективы (хотя в последующие недели именно мудрости будет катастрофически не хватать самому Чакко), он рассказал им про Землю-Женщину. Вообразите, потребовал он, что Земля, которой на самом деле четыре миллиарда шестьсот миллионов лет, — это сорокашестилетняя женщина, ровесница, скажем, Алеяммы, вашей учительницы языка малаялам. Вся жизнь Земли-Женщины ушла на то, чтобы она приобрела свой теперешний вид. Чтобы разверзлись океаны. Чтобы воздвиглись горы. Земле-Женщине было одиннадцать лет, сказал Чакко, когда появились первые одноклеточные организмы. Первые животные — черви, медузы и подобные им существа — возникли, когда ей было сорок. Всего восемь месяцев назад, когда ей уже стукнуло сорок пять, по земле еще бродили динозавры.

— Вся известная нам человеческая цивилизация, — сказал Чакко близнецам, — длится не более *двух часов.* Примерно столько же, сколько мы тратим на поездку из Айеменема в Кочин.

Проникаешься благоговением и смирением, сказал Чакко (*благоговение* — смешное слово, подумала Рахель, — *бла-бла-бла, го-го-го…*), когда думаешь, что вся современная история — с ее Мировыми Войнами, Войнами за Мечты, Высадками На Луне, с ее наукой, литературой, философией, стремлением к познанию — длится не дольше, чем один вдох Земли-Женщины.

— А мы с вами, милые мои, сколько мы живем и сколько еще проживем, длимся не дольше, чем блик в ее мерцающих глазах, — торжественно сказал Чакко, лежа на кровати и уставив взгляд в потолок.

Когда Чакко был в таком настроении, он говорил своим Читающим Вслух голосом. Его комната начинала походить на церковь. Ему не важно было, слушают его или нет. А если слушали, ему не важно было, понимают его или нет. Амму в таких случаях говорила, что он Поехал в Оксфорд.

Потом, в свете того, что случилось, *мерцающих* казалось совершенно не тем словом, какое могло передать выражение глаз Земли-Женщины. *Мер-*

цающих — богатое, царское слово.

Хотя рассказ о Земле-Женщине произвел на близнецов впечатление, гораздо сильнее их заинтриговал — потому что был гораздо ближе — Исторический Дом. Они часто о нем думали. О доме на той стороне реки.

Мрачно высящемся в Сердце Тьмы.

О доме, куда они не могли войти, полном шепотков, которых они не могли понять.

Они не знали тогда, что вскоре *войдут* в этот дом. Что, переправившись через реку, они будут там, где им не положено быть, с человеком, которого им не положено любить. Что на задней веранде их круглым, как блюдца, глазам будет явлена история.

В том возрасте, когда другие дети получают знания другого рода, Эста и Рахель узнали, как история добивается от людей своего и взыскивает долги с тех, кто нарушает ее законы. Они услышали ее удары. Почуяли ее тошнотворный запах, которого им не суждено было забыть.

Запах истории.

Словно от старых роз принесло ветром.

Теперь она неистребимо будет таиться в самом обыденном. В вешалках для одежды. В помидорах. В плоских пятнах гудрона на шоссе. В оттенках

некоторых цветов. В ресторанных блюдцах. В бессловесности. И в опустелости глаз.

Взрослея, они будут пытаться найти способы жить с тем, что случилось. Они будут убеждать себя, что в масштабах геологических эпох это было незначительное происшествие. Длившееся гораздо меньше, чем один вдох Земли-Женщины. Что случалось и Худшее. Что Худшее случалось постоянно. Но успокоения эти мысли не принесут.

Чакко сказал, что просмотр «Звуков музыки» — это продолжительное упражнение в англофилии. Амму ответила:

— Да ладно тебе, этот фильм смотрят по всему миру. Это Международный Лидер Проката.

— И тем не менее, дорогая моя, — сказал Чакко своим Читающим Вслух голосом. — Тем. Не. Менее.

Маммачи часто повторяла, что Чакко всерьез можно считать одним из умнейших людей Индии. «Кто это сказал? — спрашивала ее Амму. — На чем ты основываешься?» Маммачи приводила слова одного из оксфордских «донов» (переданные ей самим Чакко) о том, что, по его мнению, Чакко — выдающаяся личность и он вполне мог бы стать премьер-министром.

На что Амму всегда отвечала: «Ха! Ха! Ха!» — прямо как персонажи комиксов.

Она говорила, что

а) если человек просиживал штаны в Оксфорде, это еще не значит, что он поумнел;

б) чтобы стать хорошим премьер-министром, ума недостаточно;

в) если он не может безубыточно управлять даже консервной фабрикой, как он собирается управлять целой страной?

И самое главное:

г) все индийские матери свихнуты на своих сыновьях и поэтому не в состоянии трезво оценить их способности.

Чакко в ответ говорил, что

а) он не *просиживал штаны,* а *учился* в Оксфорде.

И

б) не просто *учился,* а *прошел полный курс.*

— Вот именно, курс, — отвечала на это Амму. — Курс носом в землю. Как у твоих любимых самолетиков.

Амму утверждала, что о способностях Чакко лучше всего говорит печальная, но совершенно предсказуемая судьба собираемых им авиамоделей.

Раз в месяц (кроме периода муссонных дождей) Чакко получал экспресс-почтой коробку. В ней неизменно находился набор для авиамоделирования. На то, чтобы собрать самолетик с крохотным бензобаком, моторчиком и пропеллером, у Чакко обычно уходило дней восемь-десять. Закончив работу, он брал Эсту и Рахель в наттакомские рисовые поля, чтобы ассистировали при запуске. Полет никогда не продолжался больше минуты. Из месяца в месяц тщательно собираемые Чакко летательные аппараты пикировали в зеленую слякоть рисовых полей, после чего Эста и Рахель, как хорошо натасканные ретриверы, кидались за обломками.

Хвост, бензобак, крыло.

Раненая машина.

Комната Чакко была полна сломанных самолетиков. Каждый месяц приходил новый набор. Чакко никогда не возлагал вину за падения на поставщиков.

После смерти Паппачи Чакко ушел с преподавательской должности в Мадрасском христианском колледже и приехал в Айеменем с Веслом из Бэллиол-колледжа и с мечтаниями о судьбе Консервного Барона. Он употребил свои пенсионный и страховой фонды на покупку машины «бхарат»

для закрывания банок. Его весло, на котором золотыми буквами были написаны фамилии товарищей по команде, теперь висело на железных кольцах на стене фабрики.

До приезда Чакко фабрика была маленьким, но доходным предприятием. Маммачи хозяйничала там, как на большой кухне. Чакко зарегистрировал фабрику как товарищество и уведомил Маммачи, что отныне она пассивный партнер. Он закупил оборудование (машины для изготовления и запайки жестянок, котлы и плиты для варки) и нанял новых работников. Почти сразу денежные дела стали ухудшаться; Чакко искусственно держал предприятие на плаву за счет сумасбродных займов, которые он брал в банках под залог принадлежавших семье рисовых полей в окрестностях Айеменема. Хотя Амму отдавала фабрике не меньше сил, чем Чакко, он, имея дело с инспекторами и сантехниками, всегда говорил: *мое* предприятие, *мои* ананасы, *мои* соленья. Формально он был прав, потому что Амму как дочь не имела никаких прав на собственность.

Чакко сказал Рахели и Эсте, что Амму лишена Места Под Солнцем.

— Спасибо нашему замечательному обществу с его поганым мужским шовинизмом, — сказала

Амму. А Чакко на это:

— Что твое — то мое, а что мое — то опять же мое.

У него был удивительно визгливый смех для мужчины его роста и толщины. Смеясь, он вроде бы не двигался и в то же время весь трясся.

До приезда Чакко в Айеменем фабрика Маммачи не имела названия. Ее соленья и джемы были для всех просто «молодыми манго Соши», «банановыми джемами Соши». Соша — это было уменьшительное имя Маммачи. Сошамма.

Не кто иной, как Чакко, дал фабрике название «Райские соленья и сладости» и заказал типографии товарища К. Н. М. Пиллея соответствующие наклейки. Поначалу он хотел, чтобы это были «Дионисийские соленья и сладости», но все воспротивились, сказав, что «Дионисийские», в отличие от «Райских», никому не понятно и не связано с местными представлениями. (Предложение товарища Пиллея — «Парашурамские соленья»[15] — было отклонено по противоположной причине: слишком уж сильная связь с

[15] notes: 15

Парашурама — одна из аватар (т. е. воплощений) бога Вишну в индуистской мифологии. Миссия Парашурамы на земле состояла в свержении тирании кшатриев (военной знати), что могло быть привлекательно для коммуниста Пиллея.

местными представлениями.)

Не кому иному, как Чакко, принадлежала идея установить на крыше «плимута» разрисованные рекламные щиты.

Теперь, по дороге в Кочин, они тряслись и грохотали, как будто хотели свалиться.

Около Вайкома они остановились, чтобы купить веревку и укрепить их получше. Это задержало их еще на двадцать минут. Рахель забеспокоилась: как бы они не опоздали на «Звуки музыки».

Потом, уже недалеко от Кочина, когда перед ними вдруг опустилась красно-белая рука шлагбаума, Рахель подумала, что причина — именно ее надежда проскочить это место.

Она еще не научилась обуздывать свои Надежды. Эста сказал, что это Недобрый Знак.

* * *

Теперь они уже точно не успевали на начало фильма. Когда Джули Эндрюс возникает сперва пятнышком на холме, потом приближается, приближается и вырастает во весь экран, а голос ее — как холодная вода, дыхание — как сладкая мята.

На красно-белой руке была белая надпись СТОП на красной дощечке.

— ПОТС, — сказала Рахель.

На желтом щите было написано красным: ИНДИЕЦ, ПОКУПАЙ ИНДИЙСКОЕ.

— ЕОКСЙИДНИ ЙАПУКОП, ЦЕИДНИ, — сказал Эста.

Близнецы рано начали читать. Они быстро одолели «Старого пса Тома, Джанет и Джона» и «Книжки Рональда Ридаута». По вечерам Амму читала им вслух «Книгу джунглей» Киплинга:

День пятится прочь, спускается ночь

На крыльях нетопыря…

Пушок: у них на руках вставал дыбом, золотясь в свече лампы на ночном столике. Амму рычала, изображая Шер-Хана и скулила, изображая Табаки:

> – «Захотим, захотим»! Какое мне дело? Клянусь буйволом, которого я убил, долго мне еще стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово, и ждать того, что мне полагается по праву? Это говорю я, Шер-Хан![16]

---

[16] notes: 16

Здесь и ниже «Книга Джунглей» Р. Киплинга в переводе Н. Дарузес.

– *А отвечаю я, Ракша (Демон),* — громко кричали близнецы. Не совсем одновременно, но почти.

> – Человечий детеныш мой, Лангри, и останется у меня! Его никто не убьет. Он будет жить и охотиться вместе со Стаей и бегать вместе со Стаей! Берегись, охотник за голыми детенышами, рыбоед, убийца лягушек, – придет время, он поохотится за тобой!

Крошка-кочамма, отвечавшая за их формальное образование, прочла им шекспировскую «Бурю» в пересказе Чарльза и Мэри Лэм.

– *Буду я среди лугов,* — твердили потом Эста и Рахель, — *пить, как пчелы, сок цветов.*[17]

Поэтому, когда мисс Миттен, миссионерка из Австралии и знакомая Крошки-кочаммы, подарила, приехав в Айеменем, Эсте и Рахели детскую книжонку — «Приключения белочки Сюзи», — они были оскорблены до глубины души. Сперва они прочли ее как положено. Однако потом, когда они вслух прочли ее, произнося слова задом наперед, мисс Миттен, принадлежавшая к секте

---

[17] notes: 17
«Буря», акт V, сцена 1, перевод Мих. Донского.

«заново рожденных христиан», сказала, что они ее Чуточку Огорчили.

– *яинечюлкирП икчолеб изюС. ыджандО миннесев марту акчолеб изюС…*

Они продемонстрировали мисс Миттен, что *малаяалам* (если вставить лишнее «а») и *Аргентина манит негра* читаются туда и сюда одинаково. Но ее это не позабавило, и оказалось, что она даже не знает, что такое малаялам. Они объяснили ей, что это язык, на котором говорят в штате Керала. Она сказала, что у нее создалось представление, будто он называется «керальский». Эста, который страшно невзлюбил мисс Миттен, ответил, что это, по его мнению, Глупейшее Представление.

Мисс Миттен пожаловалась Крошке-кочамме как на грубость Эсты, так и на их чтение задом наперед. Она сказала Крошке-кочамме, что увидела в их глазах лик сатаны. *Кил ынатас.*

Им пришлось писать: *Я не буду читать задом наперед. Я не буду читать задом наперед.* И так сто раз. Слева направо, как положено.

Через несколько месяцев, вернувшись к себе в Хобарт, мисс Миттен погибла. Она попала под молоковоз, переходя дорогу около крикетной площадки. Близнецы увидели руку возмездия в том, что молоковоз давал *задний ход.*

По обе стороны железнодорожных путей стали скапливаться легковушки и автобусы. «Скорая помощь» с надписью «Больница Святого Сердца» была полна людей, ехавших на свадьбу. Лицо невесты, которая смотрела наружу в заднее окно, частично заслонял большой обшарпанный красный крест.

У всех автобусов были девичьи имена. Люсикутти, Молликутти, Бина-моль. «Моль» означает на малаялам «девочка», «мон» — «мальчик»; «кутти» — уменьшительный суффикс. «Бина-моль» была полна паломников с выбритыми в Тирупати[18] головами. В окне автобуса Рахель видела шеренгу гладких голов, а чуть пониже, на равном расстоянии один от другого, — подтеки рвоты. Рвота вообще внушала ей немалое любопытство. Ее никогда не рвало. Ни разу в жизни. А вот с Эстой это случалось, и тогда его кожа становилась горячей и блестящей, глаза — беспомощными и прекрасными, и Амму любила его больше обычного. Чакко говорил, что Эста и Рахель — до неприличия здоровые дети. И Софи-моль тоже. По его словам, они не пострада-

[18] notes: 18
Тирупати — крупнейший центр индуизма в штате Андхра-Прадеш.

ли от Инбридинга,[19] в отличие от большинства сирийских христиан. И парсов.

Маммачи на это отвечала, что ее внук и внучка пострадали от чего-то гораздо худшего, чем Инбридинг. Она имела в виду развод родителей. Выходило, что люди должны выбирать из двух зол: либо Инбридинг, либо Развод.

Рахель не знала точно, от какого зла она пострадала, но иногда на всякий случай делала перед зеркалом печальное лицо и вздыхала.

– *То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал,* — говорила она горестно. Рахель, она же Сидни Картон, она же Чарльз Дарней, произносила эти слова перед казнью на гильотине в диккенсовской «Повести о двух городах», адаптированной для детской серии «Иллюстрированная классика».

Она удивленно задумалась о том, почему лысых паломников рвало так единообразно, и о том, как это происходило во времени, — единым оркестровым порывом (возможно, под музыку, под ритм автобусного бхаджана[20]) или раздельно, по очереди.

---

[19] notes: 19
Инбридинг — получение потомства от родственных особей.

[20] notes: 20
Бхаджан — индуистский религиозный гимн.

Вначале, когда шлагбаум только закрылся, Воздух был полон нетерпеливого пыхтенья работающих вхолостую моторов. Но когда человек, обслуживающий переезд, вышел из будочки на своих гнущихся в обратную сторону ногах и, проковыляв к чайному лотку, дал тем самым понять, что ждать придется долго, водители стали глушить моторы и вылезать из машин, чтобы размяться.

Небрежным кивком заспанной, скучающей головы Шлагбаумное Божество заставило материализоваться перебинтованных нищих и людей с подносами, торгующих ломтиками кокосовой мякоти и гороховыми лепешками на банановых листьях. Еще холодными напитками. Кока-колой, фантой, «розовым молоком».

У окна их машины появился прокаженный в грязных бинтах.

— Ненатуральный цвет, — сказала Амму, имея в виду подозрительно яркую кровь на повязках.

— Поздравляю, — отозвался Чакко. — Подлинно буржуазное высказывание.

Амму улыбнулась, и они пожали друг другу руки, точно она и вправду получила от него документ, удостоверяющий ее Подлинную-Преподлинную Буржуазность. Такие моменты

близнецы ценили и нанизывали их, как драгоценные бусины, на нить своего (честно говоря, довольно реденького) ожерелья.

Рахель и Эста прижали носы к окошкам «плимута». Томящиеся зефирины, а позади них — смутно различимые дети. «Нет», — жестко и непререкаемо сказала Амму.

Чакко зажег сигарету «чарминар». Сделал глубокую затяжку, потом снял с языка попавшую на него крошку табака.

В салоне «плимута» Рахели не так-то просто было взглянуть на Эсту, потому что Крошка-кочамма возвышалась между ними как холм. Амму специально рассаживала их, чтобы они не дрались. Когда у них происходили ссоры, Эста обзывал Рахель Мушкой Дрозофилой. Рахель дразнила его Элвисом-Пелвисом[21] и вихляво плясала перед ним, чем приводила его в бешенство. Из-за примерного равенства сил бой, когда им случалось драться всерьез, длился до бесконечности, и все, что неудачно стояло, — пепельницы, графины, настольные лампы — разбивалось или непоправимо ломалось.

---

[21] notes: 21

Так прозвали знаменитого американского эстрадного певца Элвиса Пресли (1935–1977), намекая на его движения тазом во время выступлений («pelvis» в ряде европейских языков означает «таз»).

Крошка-кочамма держалась за спинку переднего сиденья обеими руками. Во время езды жир на них колыхался, как тяжкое от влаги белье на ветру. Теперь же он свисал кожистым занавесом, отделяя Эсту от Рахели.

Со стороны Эсты у дороги стояла чайная палатка, где, помимо чая, торговали лежалым и засиженным мухами глюкозным печеньем в коробках из мутного стекла. Продавали газированный лимонад в толстых бутылках с голубыми мраморными затычками, чтобы не выходил газ. Унылая надпись на красном ящике со льдом гласила: *С кока-колой дела пойдут лучше.*

На каменном дорожном указателе, скрестив ноги и безупречно держа равновесие, сидел Мурлидхаран, псих этого переезда. Его мужские органы свисали вниз, указывая на надпись:

КОЧИН
23

На Мурлидхаране не было ничего, кроме высокого пластикового пакета, водруженного кем-то ему на голову наподобие прозрачного поварского колпака. Сквозь пакет видна была местность — мутная, кухонная, но все же доступная зрению. Мурлидхаран не смог бы снять пакет, даже если

бы захотел, потому что у него не было рук. Их оторвало в Сингапуре в сорок втором, всего через несколько дней после того, как он, сбежав из дому, вступил в ряды действующей «Индийской национальной армии».[22] После установления независимости он получил удостоверение «ветерана освободительной борьбы 1-й группы» и документ о пожизненном праве бесплатного железнодорожного проезда в первом классе. Все это он потерял (вместе с рассудком) и теперь уже не мог жить в поездах и станционных залах ожидания. У Мурлидхарана не было дома, и следовательно, ему нечего было запирать, однако старые ключи висели у него на бечевке, аккуратно обвязанной вокруг талии. Поблескивающая связка. Его ум был полон шкафчиков, где хранились тайные радости.

Будильник. Красный автомобиль с музыкальным гудком. Красная кружка для ванной комнаты. Жена с брильянтом. Чемоданчик с важными бумагами. Возвращение домой после работы в фирме. «Мне очень жаль, полковник Сабхапати, но это мое последнее слово». И хрустя-

[22] notes: 22

«Индийская национальная армия», которой командовал Субхас Чандра Бос, была создана в 1942 г. в Сингапуре в основном из военнопленных индийцев и воевала в Бирме против Англии на стороне Японии.

щие банановые чипсы для детишек.

Он смотрел на приходящие и уходящие поезда. И пересчитывал ключи.

Он смотрел на приходящие и уходящие правительства. И пересчитывал ключи.

Он смотрел на смутно различимых детей с томящимися носами-зефиринами за стеклами автомобилей.

Мимо его окна тащились бездомные, беспомощные, больные, нищие и увечные. Он знай себе пересчитывал ключи.

Ведь мало ли, когда какой шкафчик вдруг понадобится открыть. Со свалявшимися волосами и глазами-окнами он сидел на раскаленном камне и был рад возможности иногда отвлечься. Пересчитать и перепроверить ключи.

Счет — хорошо.

Оцепенение — еще лучше.

Считая, Мурлидхаран шевелил губами и явственно произносил слова.

Оннер.

Рендер.

Муннер.[23]

Эста заметил, что на голове у него волосы седые

---

[23] notes: 23

Оннер, рендер, муннер — один, два, три (малаялам).

и курчавые, под оставшимися от рук буграми — черные, лохматые и неспокойные от ветра, в промежности — черные и жесткие. У одного человека три сорта волос. Эста задумался, как такое возможно. Он не знал, кого спросить.

Рахель до того переполнилась Ожиданием, что готова была лопнуть. Она посмотрела на свои часики. Без десяти два. Она думала про Джули Эндрюс и Кристофера Пламмера, целовавшихся наклонно, чтобы не столкнуться носами. Ей было неясно, всегда ли влюбленные так целуются. Она не знала, кого спросить.

Какой-то гул стал надвигаться издалека на застрявший транспорт и наконец накрыл его с головой. Водители, вышедшие было размять ноги, вернулись по машинам и захлопнули за собой дверцы. Нищих и торговцев как ветром сдуло. Пара минут — и дорога была пуста. Остался один Мурлидхаран. По-прежнему жарил задницу на раскаленном камне. Ощущая разве что слабое любопытство, но никак не тревогу.

Шум, гомон. И полицейские свистки.

Позади ожидающих, накапливающихся машин возникла людская колонна: красные флаги, плакаты и нарастающий гул.

— Поднимите стекла, — сказал Чакко. — И спо-

койно. Они нам ничего не сделают.

— Может, с ними пойдешь, а, товарищ? — спросила его Амму. — А я за руль сяду.

Чакко ничего не ответил. Под жировой подушечкой у него на подбородке напрягся мускул. Он выкинул в окно сигарету и поднял стекло.

Чакко называл себя марксистом. Он приглашал к себе в комнату хорошеньких работниц семейной фабрики и под предлогом разъяснения прав трудящихся и законов о профсоюзах безобразно с ними заигрывал. Он называл каждую товарищем и требовал, чтобы они называли его так же (они в ответ хихикали). К их изумлению и к смятению Маммачи, он сажал их с собой за стол и поил чаем.

Один раз он даже свозил нескольких в Аллеппи, в профсоюзный лекторий. Туда — автобусом, обратно — на лодке. Девушки вернулись довольные, со стеклянными браслетами на запястьях и цветами в волосах.

Амму сказала, что все это фальшь и показуха. Избалованный барин решил поиграться в «товарищей». Оксфордская аватара старой доброй заминдарской ментальности: помещик, навязывающий свою благосклонность зависимым от него женщинам.

Когда демонстранты приблизились, Амму подняла свое стекло. Эста — свое. Рахель — свое (не без труда, потому что от рукоятки отвалилась черная пупочка).

Вдруг лазурного цвета «плимут» стал выглядеть на узкой выщербленной дороге неуместно роскошным и дородным. Словно протискивающаяся коридором пышнотелая дама. Словно Крошка-кочамма в церкви, прокладывающая себе путь к хлебу и вину.

— Смотрите вниз! — сказала Крошка-кочамма, когда передние ряды демонстрантов поравнялись с машиной. — Не встречайтесь с ними взглядом. Это их больше всего провоцирует.

Сбоку у нее на шее дергался пульс.

Мигом дорогу затопила громадная толпа. Автомобили стали островами в людском потоке. В воздухе было красно от флагов, которые наклонялись и выпрямлялись вновь, когда люди подныривали под шлагбаум и перекатывались через железнодорожные пути алой волной.

Тысячи голосов слились над замершим транспортом в один Шумовой Зонтик.

– *Инкилаб зиндабад! Тожилали экпга зиндабад!* Да здравствует революция! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Даже Чакко не мог удовлетворительно объяснить, почему коммунистическая партия была в штате Керала намного популярнее, чем в остальной Индии, за исключением разве что Бенгалии.

На этот счет существовало несколько теорий. Согласно одной из них причиной было большое количество христиан в этом штате. Двадцать процентов населения Кералы составляли сирийские христиане, считавшие, что происходят от ста брахманов, которых обратил в христианство апостол Фома, отправившийся на Восток после Воскресения Христова. В структуре сознания, как утверждали сторонники этой довольно примитивной теории, марксизм просто занял место христианства. Если Бога заменить Марксом, сатану — буржуазией, рай — бесклассовым обществом, церковь — партией, то цель и характер путешествия останутся прежними. Гонка с препятствиями, в конце которой обещан приз. В то время как индуистскому уму нужна более замысловатая перестройка.

Главная неувязка этой теории заключалась в том, что в штате Керала сирийские христиане большей частью были зажиточными землевладельцами (или, скажем, владельцами консервных фабрик), для которых коммунизм был хуже

смерти. Они всегда голосовали за Национальный конгресс.

Другая теория объясняла популярность коммунистов сравнительно высоким уровнем грамотности в штате. Так-то оно так, однако высокий уровень грамотности скорее можно считать *следствием* коммунистической пропаганды.

Секрет заключался в том, что коммунизм проник в Кералу тихой сапой. Как реформистское движение, никогда реально не ставившее под вопрос традиционные ценности разделенного на касты, чрезвычайно консервативного общества. Марксисты работали *внутри* сложившейся системы, бросая ей вызов на словах, но отнюдь не на деле. Они предлагали некий революционный коктейль. Хмельную смесь из восточного марксизма и ортодоксального индуизма, слегка облагороженную демократией.

Чакко еще в юности был обращен в коммунистическую веру и, хотя не состоял в партии формально, во всех исторических перипетиях оставался ее убежденным сторонником.

Он был студентом Делийского университета во время эйфории 1957 года, когда коммунисты выиграли выборы в законодательное собрание штата и Неру предложил им сформировать пра-

вительство. Премьер-министром первого в мире демократически избранного коммунистического правительства стал кумир Чакко — товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад, пламенный брахман-первосвященник керальских марксистов. Внезапно коммунисты оказались в странном — недоброжелатели говорили, нелепом — положении: им приходилось одновременно быть властью и призывать к революции. О том, как это совместить, товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад рассказал в книге, где излагалась разработанная им теория. Чакко изучал его «Мирный переход к коммунизму» со всей юной одержимостью и безоговорочным одобрением слепого приверженца. Там подробно разъяснялось, как правительство товарища Э. М. Ш. Намбудирипада намерено провести земельные реформы, нейтрализовать полицию, подчинить себе судебную систему и «Ограничить Вмешательство Реакционного Антинародного Конгрессистского Центрального Правительства».

Увы, и года не прошло, как Мирный этап Мирного Перехода кончился.

Каждое утро за завтраком Королевский Энтомолог изводил своего неуступчивого сына-марксиста, читая вслух газетные сообщения о сотрясавших Кералу беспорядках, забастовках и

жестоких полицейских расправах.

— Ну что, Карл Маркс? — издевательски спрашивал Паппачи, когда Чакко садился за стол. — Как прикажешь быть с этой студенческой швалью? Опять, черт бы их драл, агитируют против нашенского Народного Правительства. Может, поубивать всех, и дело с концом? Ведь они же не Народ — так, студентишки.

За два последующих года политический конфликт, подогреваемый партией Конгресса и церковью, перерос в анархию. Когда Чакко получил степень бакалавра гуманитарных наук и отправился в Оксфорд за новой степенью, штат Керала балансировал на грани гражданской войны. Неру распустил коммунистическое правительство и назначил новые выборы. К власти вернулась партия Конгресса.

Только в 1967 году — почти ровно через десять лет после первой победы коммунистов — партия товарища Э. М. Ш. Намбудирипада вновь пришла к власти. На этот раз в составе коалиции двух ныне отдельных партий — Коммунистической партии Индии и Коммунистической партии Индии (марксистской). КПИ и КПИ(м).

Паппачи к тому времени уже умер. Чакко развелся. «Райским соленьям» было семь лет.

Штат Керала еле брел, пораженный засухой из-за недостаточно обильных муссонных дождей. Люди умирали. Борьба с голодом должна была стать первоочередной задачей любого правительства.

Во время своего второго правления товарищ Э. М. Ш. уже осторожнее проводил в жизнь план Мирного Перехода. Этим он навлек на себя неудовольствие Коммунистической партии Китая. Его обвинили в «парламентском кретинизме» и в том, что он, «бросая людям подачки, затуманивает Народное Сознание и отвлекает людей от Революции».

Пекин переключил свое покровительственное внимание на недавно возникшую воинственную фракцию КПИ(м) — на так называемых наксалитов, которые подняли в бенгальском селении Наксалбари вооруженное восстание. Они сколотили из крестьян боевые отряды, экспроприировали землю, изгнали ее владельцев и учредили Народные Суды для разбора дел Классовых Врагов. Движение наксалитов распространилось по всей стране, сея ужас в буржуазных сердцах.

В Керале наксалиты вдохнули струю возбуждения и паники в атмосферу, и без того насыщенную страхом. На севере штата начались убийства.

В мае того года газеты поместили размытую фотографию казненного землевладельца из Пальгхата, которого привязали к фонарному столбу и обезглавили. Его голова лежала боком поодаль от тела в темной луже — то ли водяной, то ли кровавой. Трудно было определить по черно-белому снимку. К тому же темноватому из-за предутренних сумерек.

Его открытые глаза выражали удивление.

Товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад («Трусливый Пес, Советский Прихвостень») исключил наксалитов из партии и продолжал обуздывать народный гнев, вводя его в парламентское русло.

Демонстрация, настигшая лазурного цвета «плимут» в тот лазурный декабрьский день, была частью этой политики. Она была организована Марксистским Профсоюзным Объединением Траванкура-Кочина. А в Тривандраме, главном городе штата, другие Демонстранты должны были пройти к Секретариату и вручить петицию с Народными Требованиями самому товарищу Э. М. Ш. Оркестр обращается к своему дирижеру. Требования заключались в том, чтобы батраки на рисовых полях, работающие одиннадцать с половиной часов в день — с семи утра до шести тридцати вечера, — получили часовой обеден-

ный перерыв. Чтобы женщинам платили в день не рупию двадцать пять, а три рупии; мужчинам — не две рупии пятьдесят пайс, а четыре рупии пятьдесят пайс. И чтобы к именам неприкасаемых перестали добавлять обозначения каст. То есть чтобы их называли не Ачу-парейян, Келан-параван, Куттан-пулайян,[24] а просто Ачу, Келан, Куттан.

Кардамонные Короли, Кофейные Графы, Каучуковые Бароны — приятели еще с пансионских лет, — приехав из своих уединенных, разбросанных поместий, потягивали в Мореходном клубе холодное пиво. Поднимали стаканы. «То, что зовем мы розой…»[25] — говорили они и сдавленно посмеивались, маскируя подступающую панику.

Колонна демонстрантов состояла из партийных активистов, студентов, батраков и рабочих. Прикасаемых и не-. Они несли на плечах тяжелый сосуд старинного гнева, подожженного от нового фитиля. В этом гневе чувствовался ны-

---

[24] notes: 24

Парейян (барабанщик, кожевник), *параван* (рыбак), *пулайян* (стиралыцик) — обозначения низших каст внутри сословия неприкасаемых

[25] notes: 25

Здесь иронически переосмыслены слова шекспировской Джульетты: «Что в имени? То, что зовем мы розой, / И под другим названьем сохраняло б / Свой сладкий запах!» (акт II, сцена 2).

нешний, наксалитский привкус.

Сквозь стекло «плимута» Рахель видела глазами, что из всех слов, какие звучат, самое громкое — *зиндабад,* да здравствует. Что, когда оно звучит, на шеях у людей взбухают жилы. И что руки, в которых люди держат флаги и плакаты, узловаты и напряженны.

В салоне «плимута» было тихо и жарко.

Страх Крошки-кочаммы лежал на полу машины, как сырой и липкий окурок сигары. И это было только начало. С годами страх, разросшись, поглотил ее всю. Заставил ее запирать двери и окна. Наградил ее двумя линиями волос и двумя ртами. Он, этот страх, был тоже старинным, из рода в род. Страх лишиться имущества.

Она пыталась считать зеленые бусины четок, но не могла сосредоточиться. Чья-то открытая ладонь ударила по окну машины.

Стиснутый кулак шарахнул по раскаленному лазурному капоту. Он с лязгом откинулся. Теперь «плимут» выглядел как нескладный голубой зверь в зоопарке, выпрашивающий у людей еду.

Хоть булочку.

Хоть бананчик.

Удар другого стиснутого кулака — и капот захлопнулся. Чакко приспустил свое стекло и

крикнул тому, кто это сделал:

— Спасибо, кето![26] Большое спасибо!

— Зря заискиваешь, товарищ, — заметила Амму. — Это же вышло случайно. Не хотел он тебе помогать. Откуда он мог знать, что в этой старой машине бьется пламенное марксистское сердце?

— Амму, — сказал Чакко ровным и нарочито небрежным голосом, — когда ты наконец перестанешь всюду соваться со своим отжившим цинизмом?

Салон машины, как губка, стал напитываться молчанием. Слово «отжившим» садануло, как нож по мякоти. С просверком солнца и судорожным вздохом. Вот в чем беда с близкими родственниками. Как врачи-извращенцы, они знают, где самые больные места.

Тут-то Рахель и увидела Велютту. Велютту, сына Ве́лья Па́пана. Велютту, своего лучшего друга. Он вышагивал с красным флагом. В мунду и белой рубашке, со взбухшими гневными жилами на шее. Обычно он ходил без рубашки. Рахель мигом опустила стекло.

— Велютта! Велютта! — закричала она ему.

Он замер на секунду, держа в руках флаг, вслу-

---

[26] notes: 26
Друг (малаялам).

шиваясь. Знакомый голос звучал там, где он никак не ожидал его услышать. Рахель, вскочив на сиденье машины, торчала из окна «плимута», как гибкий вертлявый рог машиноподобного травоядного. Со стянутым «токийской любовью» фонтанчиком, в красных пластмассовых солнечных очочках в желтой оправе.

— Велютта! *Ивидай*![27] Велютта! — У нее на шее тоже выступили жилы. Он двинулся вбок и мгновенно исчез — нырнул в гневный поток.

В машине Амму резко обернулась, и в глазах у нее был гнев. Она шлепнула Рахель по икрам, потому что все прочее было за окном. Внутри остались только икры да коричневые ступни в сандалиях «бата».

— Как ты себя ведешь! — сказала Амму.

Крошка-кочамма втащила Рахель обратно, и сиденье, когда та опустилась на него, издало удивленный вздох. Они не поняли, решила Рахель.

— Там Велютта! — объяснила она с улыбкой. — У него флаг!

Флаг в ее представлении был вещью замечательной. Тем, что пристало держать хорошему другу.

---

[27] notes: 27
Сюда, ко мне (малаялам).

— Ты глупая, непослушная девчонка! — сказала Амму.

Ее неожиданная злость пригвоздила Рахель к сиденью. Она была озадачена. Почему Амму так разгневалась? Из-за чего?

— Он же *правда* там! — сказала Рахель.

— Замолчи! — крикнула на нее Амму.

Рахель увидела, что на лбу Амму и над ее верхней губой выступил пот, что глаза ее стали твердыми, как мраморные шарики. Как глаза Паппачи на снимке из венского фотоателье. (Бабочка Паппачи нет-нет да и шелестнет крылышками в крови у его детей!)

Крошка-кочамма подняла опущенное Рахелью стекло.

Много лет спустя прохладным осенним утром, когда Рахель ехала в воскресном поезде от нью-йоркского вокзала Гранд-сентрал до пригородной станции Кротон, это вдруг пришло ей на память. Какое у Амму было лицо. Неприкаянный кусочек головоломки-паззла. Вопросительный знак, странствующий по книжным страницам и не способный найти себе место в конце предложения.

Эта мраморная твердость в глазах Амму. Блеск пота над ее верхней губой. И холодок внезапного обиженного молчания.

Что все это значило?

Воскресный поезд был почти пуст. Через проход от Рахели женщина с усиками и шелушащейся кожей на щеках отхаркивала мокроту в бумажные фунтики, которые делала из воскресных газет, кипой лежавших у нее на коленях. Сверточки, которые у нее получались, она выкладывала аккуратными рядами на пустое сиденье напротив, словно для продажи. За этим занятием она болтала сама с собой приятным, успокаивающим голосом.

Память была похожа на эту женщину в поезде. Безумна в том, как она перебирала в своей кладовке темные вещицы и выхватывала самое неожиданное — беглый взгляд, ощущение. Запах дыма. Автомобильные «дворники». Мраморные материнские глаза. И совершенно разумна в том, как она оставляла огромные области затемненными. Невспомянутыми.

Вид помешанной попутчицы успокаивал Рахель. Загонял ее глубже в сумасшедшую утробу Нью-Йорка. Уводил от тех, куда более ужасных вещей, что преследовали ее. *Кислометаллический запах, как от стальных автобусных поручней, и запах от ладоней кондуктора, который только что за них держался. Молодой человек, у которо-*

го был рот старика.

Выйдя из поезда, она увидела поблескивающий Гудзон и деревья, окрашенные в красно-коричневые осенние цвета. Прохлада чувствовалась лишь намеком.

— Два берега твоей реки… — сказал ей Ларри Маккаслин и мягко положил ладонь на ее протестующе напрягшуюся, прохладную под хлопчатобумажной маечкой грудь. Он удивился тому, что Рахель не улыбнулась.

А она удивилась тому, что все ее воспоминания о доме окрашены в цвета темной, просмоленной лодочной древесины и пустых сердцевин огненных язычков, мерцающих в медных светильниках.

Да, это был Велютта.

Уж в этом-то Рахель была уверена. Что она его видела. Что он видел ее. Она узнала бы его где угодно, когда угодно. Если бы на нем не было рубашки, она узнала бы его даже со спины. Ей ли не помнить его спину, его плечи. На которых он ее носил. Она даже сосчитать не могла, сколько раз. На спине у него было светло-коричневое родимое пятно, похожее на остроконечный сухой лист. Он говорил, что это Лист Удачи, что он приносит муссонные дожди, когда наступает их время.

Коричневый лист на черной спине. Осенний лист в ночи.

Лист удачи, который ему не помог.

Он был столяром, хотя это не было ему на роду написано.

Его звали Велютта (что на малаялам означает белый, бледный) из-за черной-пречерной кожи. Его отец Велья Папан был из касты параванов. Он добывал и продавал пальмовый сок. Один глаз у него был стеклянный. Однажды, когда он обтесывал молотком кусок гранита, отскочивший осколок пропорол ему левый глаз.

Мальчиком Велютта приносил с отцом к заднему крыльцу Айеменемского Дома кокосовые орехи, которые они собирали с приусадебных пальм. Паппачи не разрешал параванам входить в дом. И никто не разрешал. Им нельзя было касаться того, чего касались прикасаемые. Индусы высших каст и христиане высших каст. Маммачи рассказывала Эсте и Рахели, что у нее на памяти, во времена ее детства, параваны должны были пятиться назад, заметая веником собственные следы, чтобы брахманы или сирийские христиане случайно не осквернили себя, наступив на отпечаток параванской ноги. В те годы параванам, как и другим неприкасаемым, нельзя было

ходить по общественным дорогам, покрывать одеждой верхнюю часть тела, пользоваться зонтами. Разговаривая, они обязаны были загораживать ладонями рты, оберегая собеседников от своего нечистого дыхания.

Когда на Малабарский берег явились британцы, некоторые из параванов, пелайянов и пулайянов (в их числе Келан, дед Велютты) обратились в христианство и перешли в лоно англиканской церкви, чтобы избавиться от проклятья неприкасаемости. В качестве дополнительного стимула они получали понемногу еды и денег. За это их прозвали «рисовыми христианами». Очень быстро им стало ясно, что они попали из огня да в полымя. Им устроили особые церкви, где особые священники служили особые службы. Им благосклонно разрешили иметь своего, отдельного парию-епископа. После объявления независимости оказалось, что на них не распространяются правительственные льготы — как, например, гарантии занятости или банковские ссуды под низкий процент, — потому что формально, на бумаге они были христиане и, следовательно, вне всяких каст. Это походило на заметание собственных следов без веника. Или даже на запрет оставлять следы вообще.

То, что у маленького Велютты чрезвычайно умелые руки, первая заметила Маммачи в один из своих приездов из Дели, на время избавлявших ее от Королевской Энтомологии. Велютте было тогда одиннадцать, на три года меньше, чем Амму. Он был прямо-таки маленьким волшебником. Из высушенных пальмовых веток он мастерил замысловатые игрушки — крохотные ветряные мельнички, погремушки, шкатулки; из веток кассавы он вырезал красивые лодочки, из скорлупок ореха кешью делал статуэтки. Он дарил свои изделия Амму, держа их на раскрытой ладони (так он был приучен), чтобы она могла брать их, не касаясь его кожи. Хотя он был моложе ее, он называл ее Аммукутти — маленькая Амму. Маммачи уговорила Велья Папана отдать его в школу для неприкасаемых, которую основал Пуньян Кунджу, ее свекор.

Когда Велютте было четырнадцать лет, в Коттаям приехал Иоганн Кляйн, столяр из баварской гильдии краснодеревщиков; он три года проработал в христианской миссии, где у него была мастерская для обучения столярному делу. Каждый день после школы Велютта ехал на автобусе в Коттаям, где работал с Кляйном дотемна. К шестнадцати годам Велютта окончил среднюю

школу и стал профессиональным столяром. Он приобрел весь необходимый инструмент и чисто немецкую ремесленную смекалку. Для Маммачи он сделал из красного дерева обеденный стол в стиле «баухауз» и дюжину стульев, а из более светлой древесины джекфрута — традиционный баварский шезлонг. Для ежегодных рождественских представлений Крошки-кочаммы он смастерил несколько пар ангельских крыльев с каркасами из проволоки и ремешками на манер рюкзаков; еще картонные облака, чтобы из них мог являться архангел Гавриил, и разборные ясли. Когда необъяснимым образом иссякла серебристая струя, испускаемая ее садовым херувимом, именно доктор Велютта привел его выделительную систему в порядок.

Велютта умел не только столярничать, но и обращаться с техникой. Маммачи не раз говорила (вот она, непостижимая логика прикасаемых), что, не будь он параваном, он мог бы стать инженером. Он чинил радиоприемники, часы, водяные насосы. На его попечении были канализация и электропроводка Айеменемского Дома.

Когда Маммачи решила забрать стенкой заднюю веранду, не кто иной, как Велютта, разработал и смастерил скользяще-складную дверь,

подобные которой захотели потом иметь чуть ли не все жители Айеменема.

Велютта лучше, чем кто-либо другой, разбирался в оборудовании их фабрики.

Когда Чакко ушел со своей мадрасской работы и вернулся в Айеменем с машиной «бхарат» для закрывания банок, не кто иной, как Велютта, смонтировал ее и пустил в ход. Велютта поддерживал в рабочем состоянии новую машину для изготовления жестянок и автомат для резки ананасов. Он же смазывал водяной насос и дизельный движок. Он же сделал крытые алюминиевым листом разделочные столы, удобные для мытья; он же соорудил варочные печи для фруктов.

А вот Велья Папан, отец Велютты, был параван старого образца. Он хорошо помнил Времена, Когда Пятились Назад, и его благодарность Маммачи и ее родственникам за все, что они для него сделали, была широка и глубока, словно река в половодье. Когда случилась беда с осколком гранита, Маммачи купила ему стеклянный глаз. За много лет он так и не отдал ей долг, и хотя этого, он знал, от него и не ждали, понимая, что таких денег у него никогда не будет, все же он постоянно чувствовал, что глаз не его. Благодарность

заставляла его спину гнуться, рот — растягиваться в улыбке.

Велья Папан боялся за своего младшего сына. Что именно его страшило, он не смог бы сказать. Не какие-либо его слова. И не дела. Это были не столько сами слова, сколько то, *как* он их произносил. Не столько сами дела, сколько то, *как* он их совершал.

Скорее всего — просто недостаток надлежащей робости. Непозволительная уверенность в себе. Проявлявшаяся в его походке. В том, как он держал голову. В спокойствии, с каким он высказывал суждения, даже если его не спрашивали. В спокойствии, с каким он без тени вызова мог пренебречь чужим суждением.

Хотя в прикасаемом эти черты были бы вполне приемлемы и, возможно, даже желательны, Велья Папан опасался, что в параване их могут счесть (и сочтут, и *правильно сделают*, что сочтут) наглостью.

Велья Папан пытался предостеречь Велютту. Но поскольку он не умел объяснить, что именно его беспокоит, Велютта превратно понял его бестолковую тревогу. Ему показалось, будто отец завидует его природному таланту и ранней выучке. Продиктованная добрыми намерениями

забота Велья Папана быстро выродилась в придирки и перепалки, и отношения между отцом и сыном стали натянутыми. Велютта, к немалому смятению своей матери, стал все меньше бывать дома. Работал допоздна. Ловил в реке рыбу и жарил ее на костре. Спал на берегу под открытым небом.

Потом в один прекрасный день он исчез. Четыре года о нем ничего не было известно. Прошел, правда, слух, что он работает в Тривандраме на строительстве здания Управления по социальной защите и жилищному строительству. А позднее — неизбежный слух, что он стал наксалитом. Что он побывал в тюрьме. Кто-то якобы видел его в Колламе.

Когда его мать Челла умерла от туберкулеза, разыскать его не было никакой возможности. Потом его старший брат Куттаппен упал с кокосовой пальмы и повредил себе позвоночник. Его парализовало, и он не мог больше работать. Велютта узнал об этом только год спустя.

С тех пор как он вернулся в Айеменем, прошло пять месяцев. Он никому не рассказывал, где был и чем занимался.

Маммачи вновь наняла Велютту на свою фабрику столярничать, плотничать и поддерживать

оборудование в рабочем состоянии. Это вызвало сильное недовольство других (прикасаемых) работников и работниц, считавших, что параванам *не положено* этим заниматься. И, разумеется, беглых параванов *не положено* снова брать на службу.

Чтобы остальным не было так обидно, Маммачи платила Велютте, которого никакой другой хозяин на такую работу не взял бы, меньше, чем получал бы столяр из прикасаемых, но больше, чем зарабатывали параваны. В дом Маммачи его не приглашала (за исключением тех случаев, когда надо было что-нибудь починить или наладить). Он, считала она, должен быть доволен уже тем, что ему позволено находиться на территории фабрики и касаться того, чего касаются прикасаемые. Она говорила, что для паравана это немалое достижение.

За годы отсутствия Велютта нисколько не растерял ни своей сообразительности, ни уверенности в себе. Велья Папан теперь боялся за него еще больше, чем прежде. Но сдерживался. Помалкивал.

Помалкивал до тех пор, пока Ужас не взял над ним власть. Пока он не увидел, как ночь за ночью реку пересекает маленькая лодчонка. Пока не

увидел, как она возвращается на рассвете. Пока не увидел, чего касался его неприкасаемый сын. И не просто касался.

Куда входил.

Чем обладал.

Когда Ужас взял над ним власть, Велья Папан пошел к Маммачи. Заемным глазом он смотрел прямо перед собой. Живым глазом он плакал. Одна щека у него блестела от слез. Другая оставалась сухой. Головой своей он мотал из стороны в сторону, пока Маммачи не велела ему перестать. Тело его сотрясалось, как у больного малярией. Маммачи велела ему перестать, но он не мог, потому что страх не подчиняется повелениям. Даже страх паравана. Велья Папан рассказал Маммачи о том, что увидел. Он принялся молить Господа о прощении за то, что взрастил чудовище. Он вызвался пойти и убить сына голыми руками. Разрушить то, что сам создал.

На шум из соседней комнаты вышла Крошка-кочамма. Узнав, в чем дело, она увидела впереди Тяготы и Муки и тайно, в глубине души, возрадовалась.

– Как она запах-то могла терпеть? — сказала она среди прочего. *— Ты ведь чувствовала, они все до одного пахнут, параваны эти.*

И театрально содрогнулась, как девочка, которую насильно потчуют шпинатом. Параванскому запаху она предпочитала ирландско-иезуитский. Даже и сравнивать нечего.

Велютта, Велья Папан и Куттаппен жили в маленькой хижине из латерита чуть вниз по реке от Айеменемского Дома. Эстаппен и Рахель в три минуты добегали туда сквозь строй кокосовых пальм. Когда Велютта исчез, они только приехали в Айеменем с Амму и были слишком малы, чтобы его запомнить. Но за те месяцы, что прошли после его возвращения, они успели с ним накрепко подружиться. Им не разрешали к нему ходить, но они все равно ходили. И часами сидели у него в хижине на корточках — скрюченные знаки препинания в стружечном океане, — не уставая удивляться, как это он всегда заранее знает, какие гладкие формы таит в себе грубый кусок дерева. Они любили смотреть, как в руках у Велютты древесина мягчеет, делается податливой, как пластилин. Он учил их пользоваться рубанком. В погожие дни хижина пахла солнцем и свежими стружками. И еще красным рыбным карри с черными финиками. Самым лучшим, считал Эста, рыбным карри на всем белом свете.

Не кто иной, как Велютта, сделал для Рахели

самую счастливую в ее жизни удочку и научил их с Эстой рыбачить.

И в тот лазурный декабрьский день он *правда* был там с красным флагом, это его она увидела сквозь свои красные солнечные очочки в колонне демонстрантов у железнодорожного переезда около Кочина.

Стальные сверла полицейских свистков дырявили Шумовой Зонтик. Сквозь лохматые дыры в нем Рахель видела клочки красного неба. В красном небе реяли, высматривая крыс, горячие красные коршуны. В их желтых глазах с кожистыми веками была дорога и движущиеся в колонне красные флаги. И белая рубашка на черной спине с родимым пятном.

В колонне.

В складках шейного жира у Крошки-кочаммы ужас, пот и тальковая присыпка перемешались в розовато-лиловую пасту. В уголках рта выступила белесая слюна. В одном из демонстрантов ей привиделся наксалит по имени Раджан, чью фотографию она видела в газетах и который, по слухам, подался из Пальгхата на юг. Ей почудилось, что он посмотрел прямо ей в глаза.

Мужчина с красным флагом и похожим на узел лицом открыл незапертую автомобильную двер-

цу, у которой сидела Рахель. Проем наполнился людьми, остановившимися поглазеть.

— Потеем, малышка? — незло спросил ее на малаялам человек-узел. Потом зло: — А сказала бы папочке, пусть раскошелится на кондиционер! — И, придя в восторг от своего остроумия и умения высказаться впопад, он радостно взвизгнул. Рахель улыбнулась ему, довольная тем, что Чакко приняли за ее отца. Как будто у них нормальная семья.

— Не отвечай! — хрипло прошептала Крошка-кочамма. — Смотри вниз! Ни куда больше!

Мужчина с флагом переключил внимание на нее. Она сидела, уставившись в пол машины. Как робкая испуганная невеста, которую выдают замуж за незнакомца.

— Здравствуй, сестричка, — старательно сказал мужчина по-английски. — Твое имя, пожалуйста.

Не получив от Крошки-кочаммы ответа, он оглянулся на дружков.

— У нее имени нет — видали?

— Может, назовем ее Модаляли Мариякутти? — хихикая, предложил один. «Модаляли» означает на малаялам «хозяйка», «хозяин»; «Мариякутти» — «маленькая Мария».

— A, B, C, D, X, Y, Z, — сказал другой неизвестно почему.

Все больше студентов останавливалось у машины. Головы у них были обвязаны от солнца носовыми платками или бомбейскими полотенцами с набивным рисунком. Они походили на статистов, сбежавших из южноиндийской версии «Последнего путешествия Синдбада».

Человек-узел вручил Крошке-кочамме свой красный флаг.

— Вот, — сказал он. — Держи.

По-прежнему не глядя на него, Крошка-кочамма взяла флаг.

— Помахай, — приказал он.

Ей пришлось помахать. Выбора у нее не было. От флага шел магазинный запах новой материи. Несмятой и пыльной. Махая, она как бы и не махала в то же время.

— Теперь скажи: *инкилаб зиндабад.*

– *Инкилаб зиндабад,* — прошептала Крошка-кочамма.

— Вот умница.

Толпа дружно захохотала. Раздался резкий свисток.

— Ну хорошо, — сказал мужчина Крошке-кочамме по-английски, словно они заключили

удачную сделку. — Пока-пока!

Он с силой захлопнул лазурную дверь. Крошка-кочамма колыхнулась. Толпа, собравшаяся у машины, рассосалась — люди двинулись дальше.

Крошка-кочамма скатала красный флаг и положила его на полочку под задним окном. Четки сунула обратно в блузку, где они обычно хранились промеж ее дынь. Спасая остатки достоинства, она стала суетливо-деятельной.

Когда прошли последние демонстранты, Чакко сказал, что теперь можно открыть окна.

— Ты уверена, что это был он? — обратился Чакко к Рахели.

— Кто? — спросила она, вдруг насторожившись.

— Ты уверена, что это был Велютта?

— Мммм… — замялась Рахель, выгадывая время, пытаясь расшифровать мысленные сигналы, которые бешено слал ей Эста.

— Я спрашиваю, ты уверена, что человек, которого ты видела, был Велютта? — в третий раз задал ей вопрос Чакко.

— Ммм… ннда… нн… ннпочти, — проговорила Рахель.

— Ты почти уверена? — спросил Чакко.

— Нет… это был почти Велютта, — сказала Рахель. — Он почти был на него похож…

— То есть ты *не* уверена?

— Почти нет. — Рахель бросила косой взгляд на Эсту в надежде на одобрение.

— Наверняка это был он, — сказала Крошка-кочамма. — Тривандрам его таким сделал. Их всех туда тянет, а возвращаются они бог знает какие важные.

Ее проницательность не произвела ни на кого особенного впечатления.

— Нам следовало бы приглядеть за ним, — сказала Крошка-кочамма. — Как бы он не затеял на фабрике профсоюзную возню… Я уже кое что замечала, грубость иной раз, неблагодарность… На днях я попросила его натаскать мне камней для альпийской горки, так он…

— Я видел Велютту дома сегодня утром, — бодро вставил Эста. — Как это мог быть он сейчас?

— Ради его же блага, — мрачно проговорила Крошка-кочамма, — я хочу надеяться, что его тут нет. А ты, Эстаппен, не перебивай взрослых.

Она была раздосадована тем, что никто не спросил ее, что такое альпийская горка.

В последующие дни вся ярость Крошки-кочаммы сконцентрировалась на Велютте, которого

она прилюдно ругала. Она оттачивала эту ярость, словно карандаш. Велютта в ее представлении сделался ответствен за всю демонстрацию. Он был человеком, который заставил ее махать марксистским флагом. И человеком, который окрестил ее Модаляли Мариякутти. И всеми людьми, которые смеялись над ней.

Она прониклась к нему ненавистью.

Рахель видела по наклону головы Амму, что она еще сердится. Рахель посмотрела на свои часики. Без десяти два. А поезда нет как нет. Она легла подбородком на подоконник дверцы. Она отчетливо ощущала давивший на кожу серый матерчатый хрящ, куда утапливалось стекло. Она сняла солнечные очочки, чтобы получше рассмотреть расплющенную на дороге лягушку. Она была настолько мертвая и настолько плоская, что казалась не лягушкой даже, а пятном на дороге в форме лягушки. Рахель задумалась о том, не превратилась ли мисс Миттен, когда ее убил молоковоз, в пятно, имеющее форму мисс Миттен.

С убежденностью, какую дает глубокая вера, Велья Папан говорил близнецам, что на свете не существует черных кошек. Он утверждал, что это всего лишь черные кошачьи дыры в миро-

здании.

На дороге было множество пятен.

Плоские мисс-миттенские пятна в мироздании.

Плоские лягушачьи пятна в мироздании.

Плоские вороньи пятна от ворон, пытавшихся есть плоские лягушачьи пятна в мироздании.

Плоские пятна от собак, пытавшихся есть плоские вороньи пятна в мироздании.

Перья. Манго. Плевки.

Всю дорогу до Кочина.

Солнце светило сквозь окно «плимута» прямо на Рахель. Она закрыла глаза и принялась светить ему навстречу. За опущенными веками глазам все равно было ярко и жарко. Небо было оранжевым, а кокосовые пальмы превратились в хищные морские актинии, норовящие поймать щупальцами и съесть беззащитное облачко. По небу проплыла прозрачная пятнистая змея с раздвоенным языком. За ней — прозрачный римский воин на пятнистой лошади. Рассматривая изображения римских воинов в комиксах, Рахель удивлялась тому, что, уделяя так много внимания броне и шлемам, они оставляли ноги совершенно голыми. Это, считала она, глупо до невозможности. По причине погоды и по другим

причинам.

Амму рассказывала им про Юлия Цезаря — как его заколол в здании Сената его лучший друг Брут. Как Цезарь рухнул на пол, пораженный в спину кинжалами, и воскликнул: «Et tu? Brute?[28] — Так падай, Цезарь».

— О чем это говорит? — спросила Амму и сама же ответила: — О том, что никому нельзя доверять. Ни матери, ни отцу, ни брату, ни мужу, ни лучшему другу. Никому.

Что касается детей, то она (когда они поинтересовались) сказала, что это будет видно. Что Эста, к примеру, вполне может, когда вырастет, заразиться Поганым Мужским Шовинизмом.

По ночам Эста иногда вставал на кровати, завернувшись в простыню, и с возгласом «Et tu? Brute? — Так падай, Цезарь!» валился плашмя, не подгибая колен, словно заколотый. Кочу Мария, спавшая на полу на коврике, грозилась пожаловаться Маммачи.

— Пускай мамаша тебя к отцу отправит, — говорила она. — Там ломай кровати сколько душе угодно. А тутошние кровати не твои. И дом не твой.

---

[28] notes: 28

И ты? Брут? (лат.) Вся цитата (в слегка измененном виде) взята из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (акт III, сцена 1).

Эста воскресал из мертвых, вставал на кровати во весь рост, провозглашал: «Et tu? Кочу Мария? — Так падай, Эста!» — и умирал вновь.

Кочу Мария была убеждена, что Et tu — английское ругательство, и ждала удобного случая, чтобы рассказать обо всем Маммачи.

У женщины в соседней машине на губах были крошки от печенья. Её муж зажег сырую смявшуюся сигарету. Он выдул из ноздрей два дымных клыка и на миг сделался похож на дикого кабана. Миссис Кабан спросила Рахель, как ее зовут, специальным Детским Голосочком.

Рахель проигнорировала ее, и сам собой у нее выдулся слюнной пузырь.

Амму терпеть не могла слюнных пузырей. Она говорила, что они напоминают ей Баба. Их отца. Она говорила, что он постоянно выдувал слюну пузырями и тряс ногой. По ее словам, аристократы так себя не ведут — только канцеляристы.

Аристократы — это люди, которые не выдувают слюну пузырями и не трясут ногами. И не гогочут.

Амму говорила, что Баба часто вел себя так, словно был канцеляристом, хотя он им не был.

Когда Эста и Рахель оставались одни, они иногда играли в канцеляристов. Они выдували слюну

пузырями, трясли ногами и гоготали, как гуси. Им вспоминался отец, с которым они жили между войнами. Как-то раз он дал им попробовать дымящуюся сигарету и рассердился из-за того, что они обмусолили ее и обслюнявили весь фильтр.

— Это вам, на хрен, не конфета! — сказал он, злой не на шутку.

Злость его они хорошо помнили. И злость Амму. Они помнили, как родители гоняли их однажды по комнате, словно бильярдные шары: от Амму — к Баба — к Амму — к Баба. Амму все время отталкивала Эсту: «Оставь одного себе. Я не потяну двоих». Позже, когда Эста спросил об этом Амму, она обняла его и велела не воображать себе всяких глупостей.

На единственной фотографии отца, какую они видели (Амму только раз дала им взглянуть на нее), он был в белой рубашке и в очках. Он выглядел симпатичным, аккуратным крикетистом. Одной рукой он придерживал Эсту, сидящего у него на плечах. Улыбающийся Эста опустил подбородок отцу на голову. Другой рукой Баба поднял и притиснул к себе Рахель. Та выглядела обиженной и дрыгала в воздухе Малышевыми ножками. Их черно-белые щеки кто-то разрисовал розовым.

Амму сказала, что он взял их на руки только ради снимка и что даже в ту минуту он был настолько пьян, что она боялась, как бы он их не уронил. Она стояла совсем рядом, чуть-чуть за краем карточки, готовая, если что, подхватить их. Тем не менее Эста и Рахель считали, что, если бы не щеки, это была бы отличная фотография.

— Прекрати сейчас же! — крикнула Амму, да так громко, что Мурлидхаран, который спрыгнул со своего дорожного указателя и двинулся было к «плимуту» в желании заглянуть внутрь, попятился, суматошно задергав обрубками рук.

— Что? — спросила Рахель, хотя мгновенно поняла что. Слюнной пузырь. — Извини, Амму.

— Извинениями не воскресишь мертвеца, — вставил Эста.

— Ну нельзя же! — сказал Чакко. — Нельзя диктовать человеку, что ему делать и чего не делать с его собственной слюной!

— А ты не вмешивайся, — отрезала Амму.

— Это ей напоминает кое о чем, — объяснил дяде проницательный Эста. Рахель надела солнечные очки. Мир окрасился в злой цвет.

— Сними немедленно свои нелепые очки! — приказала Амму. Рахель сняла немедленно свои нелепые очки.

— Ты обращаешься с ними как фашистка, — сказал Чакко. — Перестань, Бога ради! Даже у детей есть свои права.

— Не произноси имени Господа напрасно, — сказала Крошка-кочамма.

— А я и не напрасно, — возразил Чакко. — Очень веская была причина.

— Хватит выставлять себя Детским Спасителем! — сказала Амму. — Дойдет до дела, ты и пальцем ради них не шевельнешь. И ради меня тоже.

— А я должен? — спросил Чакко. — С какой стати ты *мне* предлагаешь за них отвечать?

— Он сказал, что Амму, Эста и Рахель — жернова у него на шее.

У Рахели ноги с задней стороны сделались мокрые от пота. Ей стало скользко на обитом дерматином сиденье «плимута». О жерновах они с Эстой кое-что знали. В «Мятеже на „Баунти“» людей, которые умирали на корабле, заворачивали в белые простыни и кидали за борт, привязав к шее жернов, чтобы труп канул на дно. Эста не мог понять, как они решали перед отплытием, сколько жерновов требуется взять с собой.

Эста уронил голову на колени.

И испортил себе зачес.

Шум дальнего поезда начал подниматься, как пар, от заляпанного лягушками шоссе. Листья ямса по обе стороны железнодорожных путей закивали в единодушном согласии. *Дадададада.*

Бритые паломники в «Бина-моль» затянули очередной бхаджан.

— Эти индусы, я вам скажу, — промолвила Крошка-кочамма с благочестивой брезгливостью. — Для них не существует ничего *личного.*

— А еще они рогатые и чешуйчатые, — съязвил Чакко. — И я слыхал, что детки их вылупляются из яиц.

У Рахели на лбу было две выпуклости, и Эста сказал, что они превратятся в рога. По крайней мере одна, потому что Рахель наполовину индуска. Она не догадалась поинтересоваться насчет *его* рогов. Ведь что будет у Нее, то непременно будет и у Него.

Шумно вломился поезд, неся над собой столб черного плотного дыма. Общим счетом тридцать два вагончика, и в дверных проемах было полно молодых людей со шлемистыми прическами, ехавших на Край Света посмотреть на тех, кто свалился с Края. Они валились с него и сами, если, заглядывая вниз, слишком сильно тянули шеи. Летели в темную крутящуюся воронку, и

прически их выворачивались наизнанку.

Поезд прошел настолько быстро, что непонятно было, почему такой малости надо было ждать так долго. Листья ямса, которым пора уже было успокоиться, все кивали и кивали, выражая полнейшее, безоговорочное согласие.

Прозрачная вуаль угольной пыли медленно опустилась вниз, как грязное благословение, и нежно окутала неподвижные машины.

Чакко запустил мотор «плимута». Крошка-кочамма решила изобразить веселье. Она завела песню:

Мерный бой
Часов в прихожей
Нагонял тоску.
Вдруг из детской
Птичий голос
Прокричал…

Она посмотрела на Эсту и Рахель, ожидая от них *Ку-ку.*

Они молчали.

Начал дуть путевой ветерок. Мимо окон пошли мелькать деревья и телефонные столбы. Неподвижные птицы отъезжали назад на скользящих

проводах, как невостребованный багаж на ленте в аэропорту.

Бледная, рыхлая дневная луна ехала по небу в одном направлении с ними. Огромная, как брюхо надувшегося пивом мужчины.

Глава 3
Большой человек – Лалтайн, маленький человек – Момбатти

Грязь взяла Айеменемский Дом в кольцо осады, как средневековая армия — вражеский замок. Она лезла в любую щелочку, она висела на оконных стеклах.

В заварочных чайниках звенели комары. В пустых вазах лежали трупики насекомых.

Ноги липли к полу. Белые некогда стены стали неравномерно-серыми. Латунные дверные петли и ручки потускнели, сделались жирными на ощупь. В отверстиях редко используемых электрических розеток набралась какая-то дрянь. Лампочки были покрыты маслянистой пленкой. Во всем доме блестели только гигантские тараканы, сновавшие туда-сюда, как чистенькие киношники на съемочной площадке.

Крошка-кочамма давно уже перестала все это замечать. Кочу Мария, которая замечала все, перестала утруждать себя.

В складках и прорехах гнилой обивки шезлонга, в котором сидела Крошка-кочамма, было

полно раздавленных арахисовых скорлупок.

В одном из бессознательных проявлений демократии, внушенной телевидением, служанка и госпожа слепо тянулись за орехами в общую для обеих миску. Кочу Мария кидала их себе в рот. Крошка-кочамма — деликатно *клала.*

В программе «Лучшее из Донахью» собравшимся в студии зрителям показали видеосюжет, в котором чернокожий уличный музыкант пел «Где-то над радугой»[29] на платформе метро. Он пел с искренним чувством, как будто действительно верил в слова песни. Крошка-кочамма вторила ему, и ее обычно тонкий и дрожащий голосок стал неожиданно густым из-за арахисовой слюны. Она улыбалась, радуясь тому, что вспоминает слова. Кочу Мария посмотрела на нее как на сумасшедшую и зачерпнула больше орехов, чем ей полагалось. Когда певец брал высокую ноту (на слоге «то» в «где-то»), он запрокидывал голову, и его складчато-розовое небо заполняло весь экран. Его лохмотья подошли бы и рок-звезде, но неполный комплект зубов и нездоровая кожа говорили об отчаянной, полной лишений жизни. Когда подъезжал или отъезжал поезд, что происходило

[29] notes: 29

Песня из американского музыкального фильма «Волшебник из страны Оз». исполненная в нем актрисой Джуди Гарленд.

часто, он должен был прекращать пение.

Потом в студии вспыхнул свет, и зрители увидели рядом с Донахью певца живьем, в условленный момент подхватившего мелодию в точности с того места, где на пленке она оборвалась из-за поезда, — расчетливо достигнутая, трогательная победа Песни над Подземкой.

Вновь остановиться, не допев, артисту пришлось в тот момент, когда Фил Донахью обнял его одной рукой за плечи и сказал: «Спасибо вам. Спасибо вам большое».

Быть прерванным Филом Донахью — это, конечно, совсем не то, что быть прерванным грохотом подземки. Это удовольствие. Это честь.

Зрители в студии захлопали, изображая сопереживание.

Уличный певец сиял от телевизионного счастья, и на несколько секунд обездоленность отступила, села в дальний ряд. Спеть в шоу Донахью — это была его мечта, сказал он, не понимая, что у него только что отобрали и это тоже.

Мечты бывают побольше и поменьше. «Большой человек — Лалтайн-сахиб, маленький человек — Момбатти», — говорил о людских мечтах старый носильщик из Бихара, которого неизменно, год за годом, видел на вокзале Эста,

когда ездил с классом на экскурсии.

Большой человек — Фонарь. Маленький человек — Сальная Свечка.

Большому человеку — юпитеры, следовало ему добавить. Маленькому человеку — платформа метро.

Педагоги торговались с ним, пока он, пошатываясь, трусил следом, навьюченный ученическим багажом; его кривые ноги кривились все сильней, и злые школьники передразнивали его походку. Они прозвали его Яйца-в-скобках.

Крохотному человечку — варикозные вены, упускал он случай сказать, ковыляя восвояси с половиной, если не меньше, от того, что запрашивал, а значит, с десятой долей, если не меньше, от того, что заслуживал.

Дождь перестал. Серое небо створожилось, тучи сгустились в небольшие комки, как наполнитель некачественного матраса.

Эстаппен появился в дверях кухни, мокрый (и более умудренный на вид, чем был на самом деле). Высокая трава позади него сверкала. Щенок стоял на крыльце рядом с ним. Дождевые капли стекали по изогнутому дну ржавого желоба на краю крыши, как блестящие костяшки счетов.

Крошка-кочамма оторвалась от экрана.

— А вот и он, — объявила она Рахели, не сочтя нужным понизить голос. — Теперь смотри. Он ничего не скажет. Пройдет *прямо* к себе в комнату. Сейчас увидишь!

Щенок решил воспользоваться моментом и прошмыгнуть в дом. Кочу Мария яростно застучала ладонями по полу с криком:

— Пшел! Пшел! *Пода патти!*[30]

Щенок не стал искушать судьбу. По-видимому, это было ему не впервой.

— Смотри! — сказала Крошка-кочамма. Она явно была возбуждена. — Пройдет *прямо* к себе в комнату и начнет стирать одежду. Он страшный чистюля… и *ни слова* не скажет!

Она выглядела как хранитель охотничьих угодий, указывающий на зверя в траве. Гордый своим умением предугадывать его маневры. До тонкостей знающий его повадки и уловки.

Волосы у Эсты налипли на голову отдельными прядями, похожими на лепестки перевернутого цветка. Между ними светились клинья белой кожи. Вода ручейками стекала по лицу и шее. Он прошел к себе в комнату.

Голова Крошки-кочаммы облеклась злорадным

---

[30] notes: 30
Пошел вон (малаялам).

нимбом.

— Видела? — сказала она.

Кочу Мария, пользуясь случаем, сменила канал, чтобы урвать хоть чуточку от «Первоклассных тел».

Рахель последовала за Эстой в его комнату. Которая была комнатой Амму. Когда-то.

Комната исправно хранила его секреты. Не выдавала ничего. Не проговаривалась ни мятой, скомканной постелью, ни небрежно скинутой с ноги туфлей, ни висящим на спинке стула мокрым полотенцем. Ни полупрочитанной книгой. Комната походила на больничную палату сразу после ухода нянечки. Пол был чистый, стены белые. Шкаф закрыт. Туфли стояли ровненько. Корзина для мусора была пуста.

Навязчивая идея чистоты была единственным различаемым в Эсте положительным проявлением воли. Единственным слабым указанием на то, что он, может быть, не вовсе лишен Желания Жить. Еле слышным шепотком отказа довольствоваться чужими объедками. У окна, придвинутая к стене, стояла гладильная доска с утюгом. Ворох смятой, сморщенной одежды ждал утюжки.

Тишина висела в воздухе, как тайная утрата.

Ужасные призраки дорогих сердцу игрушек гроздьями висели на лопастях потолочного вентилятора. Катапульта. Сувенирный коала австралийской авиакомпании (подарок мисс Миттен) с разболтавшимися глазками-пуговками. Надувной гусенок (которого прожгла полицейская сигарета). Две шариковые ручки с безмолвными улицами и курсирующими взад и вперед красными лондонскими автобусами внутри.

Эста открыл кран, и вода забарабанила в пластмассовое ведро. Он разделся в ярко освещенной ванной. Выпростал ноги из пропитанных водой джинсов. Тяжелых и плотных. Темно-синих. Не желавших слезать. Стягивая через голову футболку цвета давленой клубники, он поднял перекрещенные руки — гладкие, худощавые, мускулистые. Он не слыхал шагов подошедшей к двери сестры.

Рахель увидела, как его живот втянулся, а грудная клетка выпятилась вперед, когда он отлеплял мокрую футболку от мокрой, медового цвета кожи. Лицо, шея и треугольная впадина у основания горла были у него темней, чем остальное. Его руки тоже были двухцветные. Бледней, где их закрывали короткие рукава футболки. Темно-ко-

ричневый человек в медовой одежде. Шоколад с примесью кофе. Выпуклые скулы и загнанные глаза. Рыбак в белой кафельной ванной, которому ведомы морские тайны.

Увидел ли он ее? Он и вправду сумасшедший? Понял ли он, кто это?

Они никогда не испытывали друг перед другом телесного стыда, но ведь они до сих пор не видели друг друга в возрасте, когда людям знаком стыд.

Теперь они видели друг друга. В возрасте.

В возрасте.

В жизнесмертном.

Забавно само по себе звучит: в возрасте, подумала Рахель и повторила мысленно: в возрасте.

Рахель, стоящая в двери ванной. Узкобедрая. («Ей как пить дать понадобится кесарево!» — сказал ее мужу какой-то поддатый гинеколог, когда они однажды рассчитывались у бензоколонки.) На выцветшей футболке — ящерица поверх географической карты. Длинные буйные волосы, чуть отливающие темной рыжиной, тянули своевольные пальцы к ее талии. На одном из крыльев носа поблескивал брильянт. Иногда. А иногда нет. На запястье тоненькой полоской оранжевого огня горел золотой змеиноголовый браслет.

Две шепчущиеся о чем-то худощавые змейки, голова к голове. Переплавленное материнское обручальное кольцо. Пушок умерял угловатость ее тонких рук.

На первый взгляд она могла показаться новым воплощением своей матери. Те же выпуклые скулы. Те же упругие ямочки, когда она улыбалась. Но она была выше, суше, угловатей, чем Амму. Возможно, не столь привлекательна для тех, кому нравится в женщинах округлость и мягкость линий. Но что было у нее несравнимо красивей — это глаза. Большие. Светящиеся. *В них утонешь, пожалуй,* сказал себе Ларри Маккаслин и убедился потом на собственном опыте, что был прав.

Рахель искала в наготе брата признаки себя самой. В форме колен. В изгибе стопы. В покатости плеч. В том, как он держал согнутую в локте руку. В том, как оттопыривались у концов ногти у него на ногах. В скульптурных симметричных выемках на его крепких красивых ягодицах. Тугих, как сливы. Мужские ягодицы никогда не взрослеют. Как школьные ранцы, они мгновенно вызывают в памяти детство. На руке — две блестящие, как монеты, отметины прививок. У нее они были на бедре.

Девочкам всегда делают на бедре, говорила

когда-то Амму.

Рахель смотрела на Эсту с тем любопытством, с каким мать смотрит на своего раздетого ребенка. С каким сестра смотрит на брата. С каким женщина — на мужчину. С каким близнец — на близнеца.

Она пустила все эти пробные шары одновременно.

Он был нагой чужак, с которым она встретилась случайно. Он был тот, кого она знала еще до начала Жизни. Тот, кто показал ей влажный путь через милое материнское устье.

Оба полюса были невыносимы в их раздельности. В их противостоянии.

На мочке уха у Эсты повисла дождевая капля. Большая, отливающая серебром, как тяжелая бусина ртути. Она потянулась к ней. Тронула ее. Взяла ее себе.

Эста не смотрел на нее. Он еще глубже ушел в немоту. Словно его тело обладало способностью утаскивать свои восприятия (узловатые, клубневидные) внутрь, подальше от кожного покрова, в некие недоступные убежища.

Тишина подобрала юбки и скользнула, как

Человек-паук,[31] вверх по гладкой стене ванной.

Эста положил свою мокрую одежду в ведро и начал стирать ее ярко-синим крошащимся мылом.

[31] notes: 31

Человек-паук (Спайдермен) — герой фильмов и комиксов, обладающий невероятной способностью взбираться на отвесные стены.

Глава 4
Кино «Абхилаш»

«Абхилаш» хвалился тем, что он — первый в штате Керала широкоэкранный кинотеатр для показа фильмов на 70-миллиметровой пленке по системе «синемаскоп». Чтобы подчеркнуть этот факт, фасад здания сделали цементной копией большого вогнутого экрана. Поверху (цементные буквы, неоновые огни) шла надпись «Абхилаш» на английском и малаялам.

Туалеты в кинотеатре назывались ЕГО КОМНАТА и ЕЕ КОМНАТА. В ЕЕ КОМНАТУ пошли Амму, Рахель и Крошка-кочамма. В ЕГО КОМНАТУ Эста должен был идти один, потому что Чакко отправился в гостиницу «Морская королева» проверить, все ли в порядке с бронью.

— Справишься? — обеспокоенно спросила Амму.

Эста кивнул.

Через красную пластиковую дверь, которая потом медленно закрылась сама, Рахель последовала за Амму и Крошкой-кочаммой в ЕЕ КОМНАТУ. Входя, оглянулась и помахала отде-

ленному от нее квадратами гладкомасленого мраморного пола Эсте Одному (с расческой) в бежевых остроносых туфлях. Эста ждал в грязном мраморном вестибюле под неприветливыми взглядами зеркал, пока сестра не скрылась за красной дверью. Потом повернулся и тихо вошел в ЕГО КОМНАТУ.

В ЕЕ КОМНАТЕ Амму сказала, что Рахель должна пописать не садясь. Амму не раз говорила, что Общественные Унитазы всегда очень Грязные. Как Деньги. Мало ли кто до них дотрагивается. Прокаженные. Мясники. Автомеханики. (Гной. Кровь. Машинное масло.)

Однажды в мясном магазине, куда Кочу Мария взяла ее с собой, Рахель заметила, что к зеленой бумажке в пять рупий, которую им дали сдачи, прилип крохотный кусочек красного мяса. Кочу Мария смахнула его большим пальцем. От мясного сока остался красный след. Она сунула бумажку себе за лифчик. Кровные денежки, пахнущие мясом.

Рахель была слишком мала ростом, чтобы самой присесть, не касаясь унитаза, поэтому Амму и Крошка-кочамма подхватили ее под коленки и стали держать. Ее ступни в сандалиях «бата» косолапо смотрели внутрь. Полет со спущенными

трусиками. В первую секунду ничего не получилось, и Рахель посмотрела на мать и двоюродную бабушку, нарисовав в обоих глазах по капризному (и как же мы будем?) вопросительному знаку.

— Давай, давай, — сказала Амму. — Псссс…

— Псссс — звуки Маленького Дела. Мммммм — Звуки Мууузыки.

Рахель хихикнула. Амму хихикнула. Крошка-кочамма хихикнула. Когда забрызгало, они изменили ее положение в воздухе. Рахель осталась невозмутима. Она кончила, и Амму промокнула ее туалетной бумагой.

— Ты или я теперь? — спросила у Амму Крошка-кочамма.

— Все равно, — ответила Амму. — Давай ты. Я после.

Рахель взяла у нее сумочку. Крошка-кочамма задрала свое мятое сари. Рахель засмотрелась на необъятные ноги своей двоюродной бабушки. (Через несколько лет во время урока истории — *У императора Бабура лицо было мучнистого цвета, и ноги его напоминали колонны* — перед ней мелькнет эта сцена. Крошка-кочамма, нависшая над общественным унитазом, как большая птица. Просвечивающие голени, оплетенные голубыми бугристыми венами. Толстые коленки с выемка-

ми. На них волосы. Жалко ее маленькие ступни — какой груз им приходится выдерживать!) Крошка-кочамма медлила всего какую-то дольку секундочки. Голова выброшена вперед. Глупая улыбка. Грудь свисает чуть не до полу. Дыни в блузке. Зад кверху и от. Когда пошло журчать и бурлить, она стала прислушиваться глазами. Желтый говорливый поток в горной долине.

Рахели все это нравилось. Что она держит сумочку. Что все писают друг перед другом. По-семейному. Она тогда еще не знала, как драгоценно это ощущение. *По-семейному.* Они никогда больше не будут вместе вот так. Амму, Крошка-кочамма и она.

Когда Крошка-кочамма кончила, Рахель посмотрела на свои часики.

— Как ты долго, Крошка-кочамма, — сказала она. — Уже без десяти два.

Чуш-чуш-чуши (подумала Рахель),
Три женщины в ду́ше.
Одна летунья, две копуши.[32]

Она вообразила, что Копуша — это чье-то имя. Копуша Курьен. Копушакутти. Копуша-моль.

---

[32] notes: 32
Переделка английского детского стишка.

Копуша-кочамма.

Копушакутти. Летун Вергиз. И Курьякоз. Три перхотных братца.

Амму сделала свои дела шепоточком. На стенку унитаза, чтобы ничего не было слышно. Твердость Паппачи ушла из ее глаз, и теперь это опять были глазки Амму. На лице у нее была улыбка с большими ямочками, и она как будто больше не сердилась. Ни из-за Велютты, ни из-за слюнного пузыря.

Это был Добрый Знак.

В ЕГО КОМНАТЕ Эсте Одному нужно было пописать в писсуар на сигаретные окурки и нафталиновые шарики. Пописать в унитаз было бы Поражением. Пописать в писсуар ему не хватало роста. Требовалось Подножье. Он стал искать Подножья и нашел их в углу ЕГО КОМНАТЫ. Грязную метлу и бутылку из-под сока, до половины заполненную молочного вида жидкостью (фенилом) с какими-то черными чаинками. Еще раскисшую швабру и две ржавые жестянки ни с чем. Когда-то раньше там могли быть Райские Соленья. Или Сладости. Ломтики ананаса в сиропе. А может, кружочки. Ананасовые кружочки. Эста Один, честь которого была спасена бабушкиными консервами, расположил ржавые жестянки ни с

чем перед писсуаром. Потом встал на них, одной ногой на каждую, и аккуратно пописал, почти не вихляя. Как Мужчина. Окурки из влажных превратились в мокрые и кружащиеся. Трудно-зажигаемые. Кончив, Эста переставил жестянки к умывальнику с зеркалом. Он вымыл руки и смочил волосы. Потом, маленький из-за расчески Амму, которая была велика для него, тщательно восстановил свой зачес. Пригладил назад, потом кинул вперед и закрутил самые кончики вбок. Положил расческу в карман, сошел с жестянок и положил их обратно к бутылке, швабре и метле. Отвесил им поклон. Всей честной компании. Бутылке, метле, жестянкам и раскисшей швабре.

— Поклон, — сказал он и улыбнулся, потому что, когда он был совсем маленький, он думал, что, если ты кланяешься, ты непременно должен сказать: «Поклон». Что иначе поклона не будет. «Поклон, Эста», — подсказывали ему. Он кланялся и говорил: «Поклон», после чего все смеялись и переглядывались, а он не понимал почему.

Эста Один с неровными зубками.

В вестибюле он подождал мать, сестру и двоюродную бабушку. Когда они вышли, Амму спросила:

— Все в порядке, Эстаппен?

— В порядке, — ответил Эста и кивнул осторожно, чтобы сохранить зачес.

В порядке? В порядке. Он положил расческу обратно к ней в сумочку. Амму вдруг ощутила прилив нежности к своему сдержанному, полному достоинства малышу в бежевых остроносых туфлях, который только что справился с первым в своей жизни взрослым заданием. Она провела любящей рукой по его волосам. И испортила ему зачес.

Служитель с металлическим Батареечным Фонариком сказал, что надо торопиться, потому что картина уже началась. Им со всех ног следовало бежать вверх по красным ступенькам, устланным старым красным ковром. По красной лестнице с красными пятнами плевков[33] у красного края. Фонарный Служитель подоткнул левой рукой мунду себе под пах, собравши в кулак пучок складок. И устремился вверх, напрягая под волосатой ходкой кожей пушечные ядра икр. Фонарик он держал в правой. Он забегал вперед мысленно.

— Началось-то порядком уже, — сказал он.

То есть они пропустили начало. Пропустили

---

[33] notes: 33

В Индии многие жуют бетель, окрашивающий слюну в красный цвет.

подъем складчатого бархатного занавеса при свете сросшихся в желтые гроздья электрических лампочек. Медленно вверх, а музыка, наверно, была — «Слоненок идет» из «Хатари». Или «Марш полковника Боги».

Амму держала за руку Эсту. Крошка-кочамма, одолевая ступеньку за ступенькой, держала Рахель. Нагруженная своими дынями, Крошка-кочамма не признавалась себе, что ей хочется на фильм. Она предпочитала думать, что идет исключительно ради детей. В уме она аккуратно, деловито вела учет по двум позициям: «Что я сделала для ближних» и «Чего ближние не сделали для меня».

Ей больше всего нравились монастырские сцены вначале, и она надеялась, что они еще не кончились. Амму объясняла Эсте и Рахели, что людям обычно нравится то, с чем они могут *Отождествиться.* Рахели хотелось Отождествиться с Кристофером Пламмером, игравшим капитана фон Траппа. А вот Чакко ни в какую не желал с ним Отождествляться и называл его «капитан фон Треп».

Рахель была как бешеный комарик на поводке. Летучий. Невесомый. Две ступеньки вверх. Две вниз. Одна вверх. Пять маршей красной лестни-

цы, пока Крошка-кочамма поднималась на один.

Я Попай морячок, бум-бум

Я росточком не высок. бум-бум

Я Попай, я моряк.

Дверь открыл и – бряк.

Я моряк, я Попай бум-бум

Две вверх. Две вниз. Одна вверх. Прыг, прыг.

— Рахель, — сказала Амму, — ты, кажется, не усвоила Урок. Ведь не усвоила?

Урок был такой: *Возбуждение Всегда Кончается Слезами.* Бум-бум.

Они вошли в фойе Яруса Принцессы.[34] Миновали Подкрепительный Прилавок, где ждала апельсиновая газировка. Где ждала лимонная газировка. Апельсиновая слишком апельсиновая. Лимонная слишком лимонная. Шоколад слишком размякший.

Фонарный Служитель открыл тяжелую дверь Яруса Принцессы и впустил их в шелестяще-веерную, хрустяще-арахисовую темноту. Где пахло людским дыханием и маслом для волос. Еще

[34] notes: 34

Так в некоторых индийских кинотеатрах называются самые дорогие места.

старыми коврами. Где стоял волшебный запах «Звуков музыки», который Рахель помнила и которым дорожила. Запахи, как музыка, долго держат воспоминания. Глубоко вдохнув, она закупорила аромат зала себе на будущее.

Хранителем билетов был Эста. Малыш-Морячок. *Я Попай* бум-бум. *Дверь открыл* бум-бум.

Фонарный Служитель посветил на розовые билетики. Ряд J. Места 17, 18, 19, 20. Эста, Амму, Рахель, Крошка-кочамма. Они начали протискиваться мимо недовольных зрителей, которые, давая им проход, убирали ноги кто вправо, кто влево. Сиденья были складные. Крошка-кочамма держала сиденье Рахели, пока она забиралась. Но поскольку Рахель была легкая, стул сложился сандвичем, начинкой которого была она, и она стала смотреть в промежуток между своими коленками. Две коленки и фонтанчик. Более умный и солидный Эста аккуратно сел на краешек.

По бокам экрана, где не было картины, шевелились тени от вееров.

Прощай, фонарик. Здравствуй, Международный Лидер Проката.

Вместе с чистым, печальным звуком церковных колоколов камера взмыла в лазурное (цвета «плимута») австрийское небо.

Далеко внизу, на земле, во дворе аббатства, на булыжнике играло солнце. Монашенки шли через двор. Как неспешные сигары. Тихие монашенки тихо скапливались вокруг Матери Настоятельницы, которая никогда не читала их писем. Она притягивала их, как хлебная корочка — муравьев. Сигары вокруг Сигарной Королевы. Никаких тебе волосатых коленок. Никаких дынь в блузках. От их дыхания веет мятой. Они жаловались Матери Настоятельнице. Сладкозвучно жаловались на Джули Эндрюс, которая все еще была там, на холмах, где пела: «Вновь сердце волнуют мне музыки звуки», и, конечно, опять опоздала на мессу.

Взбирается на дерево,
Царапает колено,[35] –

мелодично ябедничали монашенки.

Рвет платье о сучок,
А по дороге к мессе
Кружится, как волчок…

Люди в зале начали оборачиваться.
— Тссс! — шипели они. Тсс! Тсс! Тсс!

---

[35] notes: 35

Здесь и далее строки песен из фильма «Звуки музыки» в переводе М. Загота.

Под шапочкой монашеской
В кудряшках голова,
И ей порядки наши – трын-трава!

Был голос, звучавший не из картины. Он выводил чисто и верно, рассекая шелестяще-веерную, хрустяще-арахисовую темноту. Среди публики затесалась монашенка. Головы поворачивались, как бутылочные крышечки. Черноволосые затылки превращались в лица, на которых имелись усы и рты. Шипящие рты с акульими зубами. Частыми-частыми. Как зубья расчески.

— Тссс! — сказали они хором.

Пел не кто иной, как Эста. Монашенка с зачесом. Элвис-Пелвис-Монашенка. Он не мог ничего с собой поделать.

— Выведите его! — сказала Публика, разглядев, кто поет. Замолчать, или Выведут. Выведут, или Замолчать.

Публика была Большое Существо. Эста был Маленькое Существо. С билетами.

— Эста, замолЧИ бога ради! — яростно прошептала Амму.

Эста замолЧАЛ бога ради. Усы и рты отвернулись от него. Но потом нежданно-негаданно песня пришла опять, и Эста был бессилен.

— Амму, можно я выйду, там допою? — спросил Эста (не дожидаясь затрещины от Амму). — После песни вернусь.

— Только не думай, что я буду ходить с тобой взад-вперед, — сказала Амму. — Ты всех нас позоришь.

Но Эста не мог с собой совладать. Он встал и двинулся к выходу. Мимо сердитой Амму. Мимо Рахели, глазеющей в междуколенный промежуток. Мимо Крошки-кочаммы. Мимо Публики, которой опять пришлось убирать ноги. Ктовправоктовлево. Надпись ВЫХОД над дверью горела красным. Хорошо, что не ВЫВОД.

В фойе ждала апельсиновая газировка. Ждала лимонная газировка. Ждал размякший шоколад. Ждали обитые ярко-синим дерматином автомобильные диваны. Ждали афиши, молча кричавшие: «Скоро!»

Эста Один сел на обитый ярко-синим дерматином автомобильный диван в фойе Яруса Принцессы в кинотеатре «Абхилаш». Сел и запел. Голосом монашенки, чистым, как родниковая вода.

Но как заставить нам ее
На месте постоять?

Проснулся Газировщик за Подкрепительным Прилавком, дремавший в ожидании конца сеанса на составленных вместе табуретках. Разлепив глаза, он увидел Эсту Одного в бежевых остроносых туфлях. С испорченным зачесом. Газировщик стал вытирать мраморный прилавок тряпкой грязного цвета. Он ждал. Ждал и вытирал. Вытирал и ждал. И смотрел на поющего Эсту.

Волна, лизнув песок, уходит вспять.

Как поступить, что сделать нам с Ма-ри-и-ей?

— Эй! *Эда че́рукка!*[36] — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик хриплым со сна голосом. — Распелся, чтоб тебя.

– Как на ладони лучик удержать?

— выводил Эста.

— Эй! — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Слышь ты, у меня Время Отдыха, ясно? Скоро опять работать, там не поспишь. Мне твои песни английские даром не нужны, так что кончай давай.

Его золотые наручные часы были еле видны из-под курчавых зарослей на запястье. Его золотая

[36] notes: 36
Эй, мальчик! (малаялам).

цепочка была еле видна из-под зарослей на груди. Его белая териленовая рубашка была расстегнута до того места, где начинал выпячиваться живот. Он казался хмурым медведем, нацепившим на себя драгоценности. За спиной у него были зеркала, в которые люди могли глядеться, покупая себе еду и холодное питье. Подправить зачес, подколоть пучок. Зеркала смотрели на Эсту.

— Я могу Письменную Жалобу на тебя подать, — сказал Эсте Газировщик. — Как тебе это понравится? Письменная Жалоба?

Эста прекратил пение и встал, чтобы вернуться в зал.

— Ты так и так меня на ноги поднял, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик, — ты меня разбудил в мое Время Отдыха, ты меня *побеспокоил,* так что подойди-ка сюда и возьми хоть что-нибудь попить. А то некрасиво получается.

У него было небритое лицо с тяжелым двойным подбородком. Его зубы, похожие на желтые фортепьянные клавиши, пялились на маленького Элвиса-Пелвиса.

— Нет, спасибо, — вежливо отказался Элвис. — Мои родные будут волноваться. И у меня кончились карманные деньги.

— Карманные-шарманные, — сказал Апель-

синово-Лимонный Газировщик, продолжая пялиться зубами. — Сперва поет по-английски, а теперь еще карманные-шарманные! Ты откуда такой? С луны?

Эста повернулся, чтобы уйти.

— Куда? — резко остановил его Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Куда торопишься? — спросил он чуть мягче. — Я, кажется, вопрос тебе задал.

Его желтые зубы были магнитами. Они смотрели, улыбались, пели, пахли, двигались. Они гипнотизировали.

— Я спрашиваю, ты откуда взялся? — сказал он, плетя свою гадкую сеть.

— Из Айеменема, — объяснил Эста. — Я живу в Айеменеме. Моя бабушка там делает Райские Соленья и Сладости. Она Пассивный Партнер.

— Пассивный? — переспросил Апельсиново-Лимонный Газировщик. — А чем с ней занимается Активный Партнер? — Он засмеялся гадким смехом, которого Эста не понял. — Ничего. Вырастешь — поймешь.

— Иди сюда, попей, — сказал он. — Бесплатный Освежающий Напиток. Иди, не бойся. Расскажешь мне про бабушку свою.

Эста подошел. Желтые зубы манили.

— Сюда. За прилавок, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. Он понизил голос до шепота. — Это будет наш секрет, потому что напитки запрещены до перерыва. Это Нарушение Распорядка Работы.

— Подсудное дело. — добавил он, помолчав.

Эста зашел за Подкрепительный Прилавок, чтобы взять Бесплатный Освежающий Напиток. Там он увидел три высокие табуретки, составленные в ряд, чтобы Апельсиново-Лимонный Газировщик мог поспать. Вытертое, блестящее от многодневного сидения дерево.

— Возьми-ка в руку, будь добр, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик, подавая Эсте свой член, прикрытый набедренной повязкой из мягкого белого муслина. — Сейчас дам попить. Апельсиновый? Лимонный?

Эста взял в руку, потому что иначе нельзя было.

— Апельсиновый? Лимонный? — повторил Газировщик. — Апельсиноволимонный?

— Лимонный, пожалуйста, — сказал Эста вежливо.

Он получил холодную бутылку и соломинку. Бутылку он держал в одной руке, член — в другой. Твердый, горячий, пульсирующий. Не какой-то

там лучик.

Апельсиново-Лимонный Газировщик накрыл руку Эсты своей. Ноготь на большом пальце был у него длинный, как у женщины. Он стал двигать рукой Эсты вверх-вниз. Сначала медленно. Потом быстро.

Лимонный напиток был холодный и сладкий. Член был горячий и твердый.

Зубные клавиши пялились.

— Значит, у твоей бабушки фабрика? — спросил Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Что за фабрика?

Разная продукция, — сказал Эста, не глядя никуда, мусоля во рту соломинку. — Соки, соленья, джемы, карри в порошке. Ананасовые кружочки.

— Здорово, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Просто отлично. Его рука крепче сдавила руку Эсты. Мясистая и потная. Все быстрей, без остановки…

Быстро быстро ходом
Перед всем народом,
Быстренько, как можешь,
И еще быстрей.

По размякшей бумажной соломинке (сильно сплюснутой во рту от слюны и страха) подни-

малась жидкая лимонная сладость. Дуя через соломинку (в то время, как та его рука двигалась), Эста впускал в бутылку пузыри. Липко-сладкие лимонные пузыри в напитке, который он не мог пить. Он составлял в голове полный список бабушкиной продукции.

СОЛЕНЬЯ, МАРИНАДЫ	СОКИ	ДЖЕМЫ
Манго	Апельсиновый	Банановый
Перец зеленый	Виноградный	Ассорти
Тыква горькая	Ананасовый	Мармелад
Чеснок	Манго	Грейпфрутовый
Лайм соленый		

Потом хрящетинистое лицо скривилось, и рука Эсты стала мокро-горяче-липкой. На ней был яичный белок. Белый. От яйца всмятку.

Лимонный напиток был холодный и сладкий. Член был мягкий и дряблый, как пустой кожаный кошелек. Своей тряпкой грязного цвета Газировщик вытер ту руку Эсты.

— Ну, допивай, — сказал он и ласково шлепнул Эсту по заднице. Тугие сливы в обтягивающих брючках. И бежевые остроносые туфли. — А то нехорошо. Сколько бедных, которым не на что поесть и попить. Тебе везет, богатенькому, у тебя есть карманные-шарманные, и бабушка оставит тебе фабрику в наследство. Ты должен Сказать

Спасибо за такую жизнь: ни забот ни хлопот. Допивай.

И тогда за Подкрепительным Прилавком в фойе Яруса Принцессы кинотеатра «Абхилаш», первым в штате Керала показывающего фильмы на 70-миллиметровой пленке по системе «синемаскоп», Эстаппен Яко допил бесплатную бутылку шипучего, пахнущего лимоном страха. Слишком сладкого, слишком лимонного, слишком холодного. Шибающего в нос. Скоро он получит новую порцию того же самого (бесплатного, шипучего, шибающего). Но пока ему рано об этом знать. Он держит липкую Ту Руку на отлете.

Чтобы ни к чему не притрагиваться.

Когда Эста допил, Апельсиново-Лимонный Газировщик сказал:

— Кончил? Умничка.

Он забрал пустую бутылку и сплющенную соломинку и отправил Эсту обратно на «Звуки музыки».

Эста осторожно пронес Ту Руку (ладонью кверху, словно держа воображаемый апельсин) сквозь пахнущую маслом для волос темноту. Он протиснулся мимо Публики (убиравшей ноги ктовправоктовлево), мимо Крошки-кочаммы, мимо Рахели (все еще с задранными коленками),

мимо Амму (все еще сердитой). Эста сел, по-прежнему держа на весу свой липкий апельсин.

А на экране был капитан фон Трапп. Кристофер Пламмер. Высокомерный. Сухой. Рот как щелочка. Стальное сверло полицейского свистка. Капитан, у которого семеро детей. Чистеньких детишек, похожих на пачку мятных жвачек. Он любил их, хотя делал вид, что не любит. Еще как любил. Он любил ее (Джули Эндрюс), она любила его, они любили детей, дети любили их. Они все любили друг друга. Дети были чистенькие, беленькие, и спали они на перинах из гагачьего пуха. Га. Га. Чьего.

Около дома, где они жили, было озеро и сад, а в доме была широкая лестница, белые двери, белые оконные рамы и занавески с цветочками.

Чистенькие беленькие дети, даже те, кто постарше, боялись грозы. Чтобы их успокоить, Джули Эндрюс укладывала их всех в свою чистенькую постельку и пела им чистенькую песенку о том, что ей нравилось. А нравилось ей вот что:

1) девочки в белых платьицах с голубыми сатиновыми ленточками,

2) дикие гуси в полете с лунным светом на крыльях,

3) ярко начищенные медные котлы,

4) дверные колокольчики, санные бубенчики, шницель с лапшой

5) и т. д.

И тогда в головах у одной двуяйцовой парочки, сидящей среди публики в кинотеатре «Абхилаш», возникли некоторые вопросы, требующие ответа, как-то:

а) *А трясет ли ногой капитан фон Трапп?*

Нет, не трясет.

б) *А выдувает ли капитан фон Трапп слюну пузырями? Да или нет?*

Нет, никоим образом.

в) *А гогочет ли он?*

И не думает.

Ах, капитан фон Трапп, капитан фон Трапп, смогли бы вы полюбить малыша с апельсином в руке, сидящего в полном запахов зале?

Он только что держал в руке *су-су* Апельсиново-Лимонного Газировщика, но все-таки смогли бы вы его полюбить?

А его сестричку-двойняшку? С задранными коленками, фонтанчиком и «токийской любовью»? Смогли бы вы полюбить ее тоже?

У капитана фон Траппа имелись кое-какие встречные вопросы.

а) *А какие они дети? Чистенькие? Беленькие?*

Нет. (*А вот Софи-моль — да.*)

б) *А выдувают ли они слюну пузырями?*

Да. (*А вот Софи-моль — нет.*)

в) *А трясут ли они ногами? Как канцеляристы?*

Да. (*А вот Софи-моль — нет.*)

г) *А держали ли они в руке, вместе или поодиночке, су-су чужого человека?*

Н… ннда. (*А вот Софи-моль — нет.*)

— В таком случае извините, — сказал капитан фон Трапп. — Об этом не может быть и речи. Я не могу их любить. Я не могу быть их Баба. Нет-нет.

Капитан фон Трапп не смог бы.

Эста уронил голову на колени.

— В чем дело? — спросила Амму. — Если ты опять решил кукситься, поедешь домой. Сядь прямо, пожалуйста. И смотри. Для этого тебя сюда привели.

Допивай.

Смотри фильм.

Сколько бедных, которым не на что.

Везет богатенькому. Ни забот ни хлопот.

Эста сел прямо и стал смотреть. Живот подступил к горлу. Вздымающееся, кренящееся, тинисто-зеленое, набухающе-водное, морское,

плывущее, бездонно-тяжелодонное ощущение.

— Амму, — позвал он.

— Ну ЧТО еще? — Шипящее, хлещущее ЧТО.

— Мне рвотно, — сказал Эста.

— Просто подташнивает или хочется? — Голос Амму стал озабоченным.

— Не знаю.

— Давай выйдем, попробуешь, — сказала Амму. — Тебе полегчает.

— Давай, — сказал Эста. Давай? Давай.

— Куда это вы? — поинтересовалась Крошка-кочамма.

— Эста попробует облегчить желудок, — объяснила Амму.

— Куда это вы? — спросила Рахель.

— Мне рвотно, — сказал Эста.

— Можно я выйду посмотрю?

— Нет, — сказала Амму.

Опять мимо Публики (ноги ктовправоктовлево). Тогда — чтобы петь. Теперь — чтобы попробовать облегчить желудок. На выход через ВЫХОД. За дверью, в мраморном фойе, Апельсиново-Лимонный Газировщик ел конфету. Она ходила по его щеке желваком. Он издавал мягкие сосущие звуки, как вытекающая из умывальника вода. На прилавке валялась зеленая обертка с надпи-

сью «Парри».[37] Он мог есть конфеты бесплатно. У него было несколько тускло-прозрачных емкостей с разными конфетами. Он вытирал мраморный прилавок тряпкой грязного цвета, которую держал волосатой, опоясанной часами рукой. Когда он увидел светящуюся женщину с полированными плечами, ведущую за руку мальчика, по его лицу пробежала тень. Потом он улыбнулся своей клавишной улыбкой.

— На выход, так рано? — спросил он.

У Эсты уже началась отрыжка. Амму ввела его, как слепого, в ЕЕ умывальную комнату Яруса Принцессы.

Он повис в воздухе, стиснутый между нечистым умывальником и телом Амму. С болтающимися ногами. На умывальнике имелись железные краны и ржавые пятна. Еще там была коричневая паутинная сеть тоненьких трещин, похожая на карту большого, замысловатого города.

Эсту сотрясали спазмы, но наружу ничего не выходило. Только мысли. Они выплывали из него и вплывали обратно. Амму не могла их видеть. Они нависали над Умывальным Городом, как дождевые тучи. Но умывальный люд — мужчи-

---

[37] notes: 37
Торговая сеть в южной Индии.

ны, женщины — занимался своими обычными умывальными делами. Взад-вперед сновали умывальные машины и умывальные автобусы. Умывальная Жизнь продолжалась.

— Нет? — спросила Амму.

— Нет, — ответил Эста.

Нет? Нет.

— Тогда умой лицо, — сказала Амму. — От воды всегда лучше. Умой лицо, а потом пойдешь выпьешь лимонной газировки.

Эста умыл лицо, и руки, и лицо, и руки. Его ресницы намокли и слиплись.

Апельсиново-Лимонный Газировщик сложил зеленую конфетную обертку и пригладил сгиб остроконечным ногтем большого пальца. Потом прихлопнул муху свернутым в трубку журналом. Аккуратно смахнул ее с прилавка на пол. Там она лежала на спинке и дрыгала слабенькими ножками.

— Милый какой, — сказал он Амму. — Поет — заслушаешься.

— Мой сын, — сказала Амму.

— Правда? — удивился Апельсиново-Лимонный Газировщик и уставился на Амму зубами. — Уже? Вы такая молоденькая!

— Ему что-то нехорошо, — сказала Амму. — Я

думаю, от холодного питья полегчает.

— Конечно, — сказал Газировщик. — Конечно-конечно. Апельсинлимон? Лимонапельсин?

Страшные, мерзостные слова.

— Спасибо, мне не хочется. — Эста поглядел на Амму. Тинисто-зеленый, плывущий, бездонно-тяжелодонный.

— А вам? — обратился к Амму Апельсиново-Лимонный Газировщик. — Кокаколафанта? Мороженое? Розовое молоко?

— Нет. Мне ничего. Спасибо, — сказала Амму. Светящаяся женщина с упругими ямочками.

— Вот, — сказал Газировщик, протягивая горсть конфет, как щедрая стюардесса. — Пусть ваш маленький мон полакомится.

— Спасибо, мне не хочется, — сказал Эста, глядя на Амму.

— Возьми, Эста, — сказала Амму. — Не обижай.

Эста взял.

— Скажи Спасибо, — сказала Амму.

— Спасибо, — сказал Эста. (За конфеты, за белый яичный белок.)

— Не стоит благодарности, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик по-английски.

— Да! — сказал он. — Мон говорит, вы из Айеменема?

— Да, — ответила Амму.

— Я там часто бываю, — сказал Апельсиново-Лимонный Газировщик. — У жены там родня. Я знаю, где ваша фабрика. Райские Соленья, да? Это он мне сказал. Ваш мон.

Он знал, где найти Эсту. Вот что означали его слова. Предостережение. Амму видела, какие у сына глаза — блестящие, как горячечные пуговицы.

— Надо идти. А то как бы не заболел. Завтра его двоюродная сестра приезжает, — объяснила она Дяденьке. И потом мимоходом добавила: — Из Лондона.

— Из Лондона? — Глаза Дяденьки засветились новым уважением. К лондонским связям их семьи.

— Эста, побудь здесь с Дяденькой. Я приведу Крошку-кочамму и Рахель, — сказала Амму.

— Иди сюда, — сказал Дяденька. — Иди, посидишь со мной на высокой табуреточке.

— Нет, Амму! Нет, Амму, нет! Я с тобой!

Амму, удивленная пронзительной настоятельностью в голосе обычно тихого сына, извинилась перед Апельсиново-Лимонным Дяденькой.

— Он что-то сам не свой сегодня. Ладно, Эстаппен, пошли.

Темнота с ее запахом. Тени от вееров. Затылки. Шеи. Воротнички. Волосы. Пучки. Косы. Конские хвосты.

Фонтанчик, стянутый «токийской любовью». Маленькая девочка и бывшая монашенка.

Семеро мятных детей капитана фон Траппа уже приняли мятную ванну и теперь стояли с приглаженными волосами, выстроившись в мятную шеренгу, и послушными мятными голосами пели для женщины, на которой капитан едва не женился. Для блондинки Баронессы, сиявшей, как бриллиант.

Вновь сердце волнуют
мне музыки звуки…

— Нам надо идти, — сказала Амму Крошке-кочамме и Рахели.

— Но как же, Амму! — сказала Рахель. — Ведь Главного еще не было! Он даже ее не *поцеловал!* Он еще не порвал гитлеровский флаг! Их еще не предал почтальон Рольф!

— Эста нездоров, — сказала Амму. — Пошли!

— Еще даже не приходили нацистские солдаты!

— Пошли, — сказала Амму. — Вставайте!

— Они еще даже не спели «Высоко на холме

козопас»!

— Эста должен быть здоровым, чтобы встретить Софи-моль, — сказала Крошка-кочамма.

— Ничего он не должен, — сказала Рахель, правда, себе большей частью.

— Что ты сказала? — спросила Крошка-кочамма, уловив общий смысл, а не сами слова.

— Ничего, — сказала Рахель.

— Не думай, что я не слышала, — сказала Крошка-кочамма.

Снаружи Дяденька переставлял свои тускло-прозрачные емкости. Он вытирал тряпкой грязного цвета мокрые пятна круглой формы, оставленные ими на его мраморном Подкрепительном Прилавке. Он готовился к Перерыву. Он был Чистеньким Апельсиново-Лимонным Дяденькой. В его медвежьем теле билось сердце стюардессы.

— Уходите все-таки? — спросил он.

— Да, — сказала Амму. — Где тут можно взять такси?

— За ворота, вперед по улице, там налево, — ответил он, глядя на Рахель. — А я и не знал, что у вас есть еще маленькая моль. — Он протянул еще одну конфету.

— Возьми, моль, это тебе.

— Возьми мои! — быстро сказал Эста, не желая, чтобы Рахель туда шла.

Но Рахель уже двинулась к Газировщику. Когда она приблизилась, он улыбнулся ей, и что-то в этой клавишной улыбке, в неотпускающей хватке этого взгляда заставило ее отпрянуть. Это было самое отвратительное, что она в жизни видела. Она обернулась, чтобы найти глазами Эсту.

Она пошла назад, подальше от волосатого человека.

Эста вдавил ей в руку свои конфеты «Парри», и она почувствовала горячечный жар его пальцев, чьи кончики были холодны, как смерть.

— Будь здоров, мон, — сказал Эсте Дяденька. — Когда-нибудь увидимся в Айеменеме.

Так что опять красные ступеньки. На этот раз Рахель тормозила. *Тише-тише, я копуша.* Тонна кирпичей на поводке.

— А он симпатяга, этот Апельсинщик-Лимонщик, — сказала Амму.

— Чи![38] — сказала Крошка-кочамма.

— Я и подумать не могла, что он так мило поведет себя с Эстой, — сказала Амму.

— Ну и вышла бы за него замуж, — дерзко ска-

---

[38] notes: 38
Тьфу! (малаялам).

зала Рахель.

На красной лестнице остановилось время. Эста остановился. Крошка-кочамма остановилась.

— Рахель, — сказала Амму.

Рахель окаменела. Она горчайше пожалела о сказанном. Она не понимала, откуда взялись эти слова. Ей не верилось, что они могли в ней быть. Но вот они вылетели и назад уже не вернутся. Теперь они околачивались на красной лестнице, как канцеляристы в учреждении. Одни стояли, другие сидели и трясли ногами.

— Рахель, — сказала Амму. — Ты понимаешь, что ты сейчас сделала?

На Амму смотрели испуганные глаза и фонтанчик.

— Не бойся. Я тебя не съем, — сказала Амму. — Ты мне только ответь. Да или нет?

— Что? — произнесла Рахель самым крохотным голоском, какой у нее был.

— Понимаешь, что ты сейчас сделала? — повторила Амму.

На Амму смотрели испуганные глаза и фонтанчик.

— Знаешь, что происходит с людьми, когда ты их ранишь? — сказала Амму.

— Когда ты их ранишь, они начинают любить

тебя меньше. Вот к чему приводят неразумные слова. К тому, что люди начинают любить тебя чуть меньше.

Холодная ночная бабочка с необычно густыми спинными волосками тихонько опустилась на сердце Рахели. Там, где его коснулись ледяные лапки, вскочили пупырышки гусиной кожи. Шесть пупырышков на ее неразумном сердце.

Чуть меньше Амму любит ее теперь.

За ворота, вперед по улице и налево. Стоянка такси. Раненая мать, бывшая монашенка, один горячий ребенок и один холодный. Шесть пупырышков и одна ночная бабочка.

В такси пахло спаньем. Старой скатанной тканью. Сырыми полотенцами. Подмышками. Оно, помимо прочего, служило шоферу жилищем. Он там обитал. Это было единственное место, где он мог копить свои запахи. Сиденья были мертвы. Выпотрошены. На заднем желтая губка вылезла из-под обивки и подрагивала, напоминая раздувшуюся печень больного желтухой. В повадках шофера сквозила зверьковая верткость мелкого грызуна. У него был крючковатый римский нос и маленькие усики. Он был такой малорослый, что на дорогу ему приходилось смотреть сквозь баранку. Встречным, наверно, казалось, что такси

едет с пассажирами, но без водителя. Шофер гнал машину быстро, желчно, кидаясь в просветы, выталкивая других с полос. Ускоряясь на «зебрах». Игнорируя светофоры.

— Вам бы подушку какую-нибудь подложить, — сказала Крошка-кочамма самым дружелюбным из своих голосов. — Лучше было бы видно.

— Вам бы сидеть и помалкивать, сестрица, — сказал шофер самым недружелюбным из своих голосов.

Когда проезжали мимо моря, казавшегося чернильным, Эста высунул из окна голову. Он ощущал на вкус горячий, соленый морской воздух. Он чувствовал, как вздыбились от ветра его волосы. Он знал, что, если Амму станет известно про него и Апельсиново-Лимонного Газировщика, она и его, Эсту, будет любить меньше. Намного-намного меньше. Его желудок был полон стыдной коловоротной взбухающей каруселью тошноты. Он тосковал по реке. Потому что от воды всегда лучше.

Мимо окон такси неслась клейкая неоновая ночь. В машине было жарко и тихо. Крошка-кочамма раскраснелась и была возбуждена. Ей очень приятно было сознавать, что напряженность возникла не по ее вине. Каждый раз, когда

на мостовой показывалась дворняга, шофер всерьез пытался ее задавить.

Ночная бабочка на сердце у Рахели повела бархатными крылышками, и Рахель почувствовала, что холод заползает ей в кости.

На стоянке у гостиницы «Морская королева» лазурного цвета «плимут» шушукался и перефыркивался с другими, меньшими машинами. *Шу-шу, фырь-фырь*. Пышная дама в гостях у дамочек поскромнее. Так и чешут крылышками.

— Номера 313 и 327, — сказал портье за столиком. — Без кондиционеров. По две односпальные кровати. Лифт на ремонте.

Коридорный, который провожал их наверх, не был мальчиком и не имел колокольчика, хоть и звался по-английски bellboy.[39] Глаза у него были тусклые, и на его поношенной темно-бордовой куртке не хватало двух пуговиц. Из-под нее виднелась грязноватая рубашка. Глупую гостиничную фуражку ему приходилось носить набекрень, и тугой пластиковый ремешок сильно врезался в дряблую кожу под подбородком. То, что старика заставляли носить фуражку набекрень и менять очертания, которые хотел принять свисающий

---

[39] notes: 39
Коридорный (bell — колокольчик, boy — мальчик).

с его подбородка возраст, казалось ненужной жестокостью.

Опять подниматься по красным ступеням. Словно за ними всюду теперь следовал киношный красный ковер. Магический ковер-самолет.

Чакко сидел у себя в номере. Был застигнут за пиршеством. Жареная курица, картофельные чипсы, куриный бульон со сладкой кукурузой, две хрустящие лепешки-паратхи и ванильное мороженое с шоколадным соусом. Соус в отдельном соусничке. Чакко много раз говорил: если уж умирать, то от обжорства. Маммачи считала, что это верный признак загнанного внутрь неблагополучия. Чакко утверждал, что ничего подобного. Он говорил, что это Чистейшая Жадность.

Чакко удивился, что они заявились так рано, но виду не подал. Продолжал есть как ни в чем не бывало.

Первоначально предполагалось, что Эста будет спать в номере у Чакко, а Рахель — у Амму и Крошки-кочаммы. Но теперь, поскольку Эста был нездоров и произошло перераспределение Любви (Амму любила ее чуть меньше), Рахели предстояло ночевать у Чакко, а Эсте — у Амму и Крошки-кочаммы.

Амму вынула из чемодана пижамку и зубную

щетку Рахели и положила их на ее кровать.

— Вот, — сказала Амму.

Чемодан закрылся с двумя щелчками. Щелк. И щелк.

— Амму, — сказала Рахель, — давай я не буду ужинать в наказание.

Ей очень хотелось быть наказанной. Без ужина, зато любовь Амму в полном объеме.

— Как хочешь, — сказала Амму. — Но я, советую тебе поесть. Как ты иначе вырастешь? Может быть, Чакко поделится с тобой курицей.

— Кто знает, кто знает, — сказал Чакко.

— А какое тогда будет наказание? — спросила Рахель. — Ты меня не наказала никак!

— Иные поступки сами в себе содержат наказание, — сказала Крошка-кочамма. Точно задачку объяснила, которую Рахель не могла решить.

Иные поступки сами в себе содержат наказание. Как спальни со встроенными шкафами. Им всем, и довольно скоро, предстояло узнать о наказаниях кое-что новое. Что они бывают разных размеров. Иные такие необъятные, что похожи на шкафы со встроенными спальнями. В них можно провести всю жизнь, бродя по темным полкам.

Крошка-кочамма поцеловала Рахель перед сном, и от этого у нее на щеке осталось немножко

слюны. Она вытерла щеку плечом.

— Спокойной Ночи Приятных Снов, — сказала Амму. Но она сказала это спиной. Ее уже не было.

— Спокойной ночи, — сказал Эста, которому было тошно и не до любви к сестре.

Рахель Одна смотрела на удаляющиеся по коридору привидения — неслышные, но плотные. Два больших и одно маленькое, в бежевых остроносых туфлях. Красный ковер поглощал звуки их шагов.

Рахель стояла в дверном проеме гостиничного номера, полная печали.

В ней была печаль из-за приезда Софи-моль. Печаль из-за того, что Амму любит ее чуть меньше. И печаль из-за неизвестной обиды, которую нанес Эсте в кинотеатре «Абхилаш» Апельсиново-Лимонный Газировщик.

Кусачий ветер обдувал ее сухие, больные глаза.

Чакко отложил ей на блюдечко куриную ножку и немного чипсов.

— Не хочу, спасибо, — сказала Рахель, потому что надеялась своим собственным наказанием отвести наказание, наложенное Амму.

— Как насчет мороженого с шоколадным со-

усом? — спросил Чакко.

— Не хочу, спасибо, — ответила Рахель.

— Вольному воля, — сказал Чакко. — Но ты не знаешь, от чего отказываешься. Он доел всю курицу, потом разделался с мороженым.

Рахель переоделась в пижамку.

— Только не говори мне, прошу тебя, за что тебя наказали, — предупредил Чакко. — Слышать не могу просто. — Кусочком паратхи он выбирал из соусничка остатки шоколадного соуса. Обычная его противная услада напоследок. — Ну, так что это было? Расчесала до крови комариный укус? Не сказала спасибо таксисту?

— Нет, я гораздо хуже поступила. — сказала Рахель, лояльная к Амму.

— Не говори, — сказал Чакко. — Не хочу ничего знать.

Он позвонил обслуге, после чего пришел утомленный посыльный забрать тарелки и кости. Чакко попытался поймать запахи ужина, но они убежали и спрятались в дряблых коричневых гостиничных занавесках.

Не евшая племянница и наевшийся дядя вместе почистили зубы в ванной гостиницы «Морская королева». Она — одинокий коротышка-арестант в полосатой пижамке и со стянутым «токийской

любовью» фонтанчиком. Он — в трусах и хлопчатобумажной майке. Туго обтягивая, подобно второй коже, его круглый живот, майка облегченно ослабевала над пупочной лункой.

Когда Рахель, держа пенистую зубную щетку в неподвижности, стала водить по ней зубами, он не сказал, чтобы она перестала.

Он же не был фашистом.

Они по очереди набирали воду и сплевывали. Рахель тщательно изучала белую пену от пасты «бинака», стекавшую по стенке умывальника: ей хотелось увидеть все, что можно было увидеть.

Какие краски, какие странные существа извергались из щелочек между ее зубами?

Ничего такого. Ничего необычного. Только пузыри от «бинаки».

Чакко выключил Большой Свет.

Улегшись в кровать, Рахель сняла «токийскую любовь» и положила ее рядом с солнечными очочками. Фонтанчик немного осел, хоть и продолжал топорщиться.

Чакко лежал на другой кровати в пятне света от маленькой лампы. Толстый человек на темной сцене. Он приподнялся на локте и потянулся к рубашке, которая лежала, скомканная, в ногах кровати. Вынул из нагрудного кармана бумаж-

ник и стал разглядывать фотографию Софи-моль, которую Маргарет-кочамма прислала ему два года назад.

Рахель смотрела на него, и ее холодная ночная бабочка вновь повела крылышками. Медленно расправила. Медленно сложила. Лениво смаргивающие глаза хищницы.

Простыни были шершавые, но чистые.

Чакко закрыл бумажник и погасил лампу. Закурил на сон грядущий «чарминар» и стал думать, как выглядит его дочка сейчас. Девять лет. Когда он видел ее в последний раз, она была красной и сморщенной. Скорее зверьком, нежели человеком. Тремя неделями раньше Маргарет, его жена, его единственная любовь, с плачем рассказала ему про Джо.

Маргарет сказала Чакко, что не может с ним больше жить. Что ей нужен простор для самой себя. Как будто Чакко клал свою одежду на ее полки в шкафу. Что, вполне вероятно, он делал — это было в его характере.

Она попросила его дать ей развод.

В последние мучительные ночи перед отъездом он поднимался с кровати и смотрел с фонариком в руке на свою спящую дочь. Желая изучить ее. Запечатлеть в мозгу. Чтобы потом, вызывая в

памяти ее образ, быть уверенным, что он точен. Он запоминал коричневый пушок на ее мягком темени. Форму ее поджатых, беспрестанно движущихся губ. Ступни с крохотными пальчиками. Намек на родимое пятнышко. Вдруг он поймал себя на том, что невольно ищет в ребенке черты Джо. Девочка ухватывала ручонкой его указательный палец, а он болезненно длил при шарящем свете фонарика этот сумасшедший, завистливый, вороватый осмотр. Ее пупок, как увенчанный куполом монумент, высился на сытом сатиновом холме животика. Припав ухом к младенческому брюшку, Чакко зачарованно вслушивался в перекличку внутренних органов. Во все концы шли урчащие депеши. Юные органы приспосабливались друг к другу. Новое правительство налаживало власть на местах. Устанавливало разделение труда, решало, кому что поручить.

От нее пахло молоком и мочой. Чакко не понимал, каким образом существо столь маленькое и неопределенное, столь смазанное в проявлениях внешнего сходства могло так властно распоряжаться вниманием, любовью, *душевным здоровьем* взрослого мужчины.

Уезжал он с ощущением, что из него вырвана

какая-то часть. Весомая часть.

Но теперь Джо не было на свете. Погиб в автомобильной катастрофе. Оставив по себе дыру в мироздании, имеющую форму Джо.

На фотографии Софи-моль было семь лет. Она вся была бело-голубая. Губки розовые, и никакого даже намека на сирийское православие. Хотя Маммачи, вглядываясь в снимок, упорно утверждала, что у девочки нос Паппачи.

— Чакко, — подала голос Рахель со своей темной кровати. — Можно задать тебе вопрос?

— Хоть два, — сказал Чакко.

— Чакко, ты любишь Софи-моль Больше Всех На Свете?

— Она моя дочь, — сказал Чакко.

Рахель обдумала его ответ.

— Чакко, люди *обязательно* должны любить своих детей Больше Всех На Свете?

— Закона такого нет, — сказал Чакко. — Но обычно так бывает.

— Чакко, вот если, например, — сказала Рахель, — просто *например,* может так когда-нибудь получиться, что Амму полюбит Софи-моль больше, чем нас с Эстой? Или что ты полюбишь меня больше, чем Софи-моль? Просто *например?*

— В Человеческой Природе возможно все, —

сказал Чакко своим Читающим Вслух голосом. Обращаясь теперь только к темноте, вдруг позабыв про свою маленькую племянницу с фонтанчиком волос на голове. — Любовь. Безумие. Надежда. Бесконечная Радость.

Из четырех вещей, Возможных В Человеческой Природе, самой печальной показалась Рахели *Бесконечная Радость.* Может быть, из-за тона, которым Чакко это произнес.

Бесконечная Радость. Звучащая по-церковному гулко. Можно подумать, кто-то радостно лишился конечностей.

Холодная ночная бабочка приподняла холодную лапку.

Сигаретный дым вился в ночи. Толстый мужчина и маленькая девочка молча лежали без сна.

Проснувшись в другом номере за несколько дверей от них, Эста услышал храп своей двоюродной бабушки.

Амму спала и выглядела красивой в ребристой синеве уличного света, проникавшего сквозь ребристо-синее решетчатое окно. Она улыбалась сонной улыбкой, грезя о дельфинах в ребристо-синей глубине. В этой улыбке не было ни малейшего намека на то, что под ней тикает готовая взорваться бомба.

Эста Один заплетающейся походкой прошел в ванную. Там его вырвало прозрачной, горькой, лимонной, искрящейся, шипучей жидкостью. Едкое послевкусие от первой встречи Маленького Существа со Страхом. Бум-бум.

Эсте немного полегчало. Он обулся в туфли, вышел из номера, двинулся с волочащимися шнурками по коридору и, дойдя до двери Рахели, тихо стал за ней.

Рахель влезла на стул и отперла ему дверь.

Чакко не задался вопросом, как она почувствовала, что Эста стоит за дверью. Он успел привыкнуть к некоторым странностям этих детей.

Лежа на узкой гостиничной кровати, как кит на отмели, он вяло размышлял о том, действительно ли в толпе демонстрантов был Велютта. Чакко склонен был считать, что Рахель обозналась. Велютте было что терять. Он был параван с перспективой. Чакко размышлял, стал ли Велютта полноправным членом марксистской партии. И виделся ли он в последнее время с товарищем К. Н. М. Пиллеем.

Несколько месяцев назад политические амбиции товарища Пиллея получили неожиданную подпитку. Два местных активиста, товарищ

Дж. Каттукаран и товарищ Гухан Менон, были исключены из партии по подозрению в симпатиях к наксалитам. Одного из них — товарища Гухана Менона — прочили до этого в партийные кандидаты на дополнительных выборах от Коттаямского округа в законодательное собрание штата, назначенных на март будущего года. Его исключение из партии создало вакуум, желающих заполнить который набралось немало. Одним из них был товарищ К. Н. М. Пиллей.

Товарищ Пиллей стал присматриваться к делам на фабрике «Райские соленья» с интересом запасного игрока, жаждущего выйти на футбольное поле. Новый профсоюз, пусть даже маленький, мог бы стать для него идеальным началом пути, ведущего в законодательное собрание.

До той поры игра в «товарищей» (по выражению Амму) велась в «Райских соленьях» только в нерабочее время и была вполне безобидной. Но всем (кроме Чакко) было ясно, что если бы эта игра пошла не на шутку, если бы дирижерская палочка была выхвачена из рук Чакко, то дела на фабрике, и без того погрязшей в долгах, стали бы совсем плохи.

Поскольку с финансами было туго, персонал получал меньше установленного профсоюзом ми-

нимума. Указал на это работникам, разумеется, сам Чакко, пообещав, что, как только положение выправится, ставки будут пересмотрены. Он был убежден, что пользуется доверием людей, и считал, что всерьез печется об их благе.

Но был человек, который думал иначе. Вечером, после конца смены, товарищ К. Н. М. Пиллей подстерегал работников «Райских солений» и заводил их к себе в типографию. Своим пронзительным, как тростниковая дудочка, голосом он агитировал за дело революции. В своих речах он умно смешивал насущные вопросы местной жизни с пышной маоистской риторикой, которая звучала на малаялам еще пышнее.

— Трудящиеся всего мира, — свиристел он, — будьте бесстрашны, боритесь до конца, не отступайте перед трудностями, сомкните ряды. Тогда мы повсюду установим Народовластие. Кровососы всех мастей будут уничтожены. Требуйте соблюдения ваших неотъемлемых прав. Ежегодная премия. Пенсионный фонд. Страхование от несчастных случаев.

Поскольку эти речи отчасти были репетициями будущих выступлений, когда аудиторией депутата законодательного собрания товарища Пиллея станут миллионы, они странновато звучали в

смысле ритма и напора. Его голос, раздаваясь в тесной и жаркой каморке, пропахшей типографской краской, вмещал в себя зеленые рисовые поля, синее небо и реющие в нем красные флаги.

Товарищ К. Н. М. Пиллей никогда не выступал против Чакко открыто. Упоминая о нем в своих речах, он неизменно лишал его всех и всяческих человеческих черт и представлял абстрактным элементом некой всеохватной схемы. Теоретической единицей. Пешкой в чудовищном буржуазном заговоре против Революции. Он обозначал Чакко словом «администрация» и никогда не произносил его имени. Как будто Чакко был не один человек, а много. Это разграничение человека и функции, во-первых, было верно тактически и, во-вторых, успокаивало совесть товарища Пиллея, когда он думал о своих личных деловых отношениях с Чакко. Контракт на печатание наклеек для «Райских солений» приносил ему доход, в котором он остро нуждался. Он говорил себе, что Чакко-клиент и Чакко-администрация — это разные люди. Не имеющие, конечно, никакого отношения к Чакко-товарищу.

Единственной помехой планам товарища К. Н. М. Пиллея был Велютта. Из всех работников «Райских солений» только он был полноправным

членом партии, и лучше бы он им не был. Пиллей понимал, что другие — прикасаемые — работники не любят Велютту по своим причинам, идущим из глубокой древности. Товарищ Пиллей тщательно обходил эту складочку, дожидаясь возможности разутюжить ее.

Он постоянно разговаривал с персоналом фабрики. Он считал необходимым точно знать, что там происходит. Он высмеивал людей за то, что они согласны на такую зарплату в то время, как у власти находится *их собственное* Народное Правительство.

Когда бухгалтер Пунначен, который каждое утро читал Маммачи газеты, принес весть, что среди работников пошли разговоры о том, чтобы потребовать прибавки, Маммачи пришла в ярость.

— Скажи им, чтоб газеты читали. Голод надвигается. Работы нигде нет. Люди умирают голодной смертью. Пусть скажут спасибо, что хоть как-то устроены.

Когда на фабрике происходило что-то маломальски серьезное, сообщали об этом ей, Маммачи, а отнюдь не Чакко. Ведь Маммачи вполне укладывалась в традиционную схему. Она была Модаляли, Хозяйка. Она играла предписанную ей

роль. Ее реакции, при всей их жесткости, были ясными и предсказуемыми. В отличие от нее, Чакко — хоть он и был Главой Семьи, хоть он и говорил: «*Мои* соленья, *мой* джем, *мое* карри» — смущал всех и размывал линию фронта своей постоянной сменой костюмов.

Маммачи пыталась предостеречь Чакко. Он выслушивал ее, но слова ее не доходили до него по-настоящему. Поэтому, оставаясь глухим к зачаточному ропоту недовольства на предприятии «Райские соленья», Чакко по-прежнему играл в «товарищей» и репетировал революцию.

В ту ночь, лежа на узкой гостиничной кровати, он сонно размышлял о том, как бы ему опередить товарища Пиллея и объединить свой персонал в некий частный профсоюз. Он бы проводил у них выборы. Заставлял их голосовать. Они бы сменяли друг друга на выборных должностях. Он ухмыльнулся, представив себе переговоры за круглым столом с товарищем Сумати или, еще лучше, с товарищем Люсикутти, у которой волосы гораздо пышнее.

Его мысли вернулись к Маргарет-кочамме и Софи-моль. Ему до того стянуло грудь жестокими ремнями любви, что трудно стало дышать. Он лежал без сна и считал часы до отъезда в аэропорт.

На другой кровати спали, обхватив друг друга руками, его племянник и племянница. Горячий близнец и холодный близнец. Он и Она. Мы и Нас. Не сказать, чтобы совершенно нечувствительные к предвестникам беды и всего, что ждало своего часа.

Им снилась их река.

И наклоненные к ней пальмы, глядящие очами кокосов на скользящие мимо лодки. Утром вверх по течению. Вечером вниз по течению. И глухой печальный стук бамбуковых шестов, ударяющихся о темные, просмоленные лодочные борта.

Она теплая, эта вода. Серо-зеленая. Как волнистый шелк.

В ней рыбы.

В ней деревья и небо.

А ночами в ней — расколотая желтая луна.

Устав от ожидания, запахи ужина выбрались из занавесок и выскользнули через окна «Морской королевы» наружу, чтобы плясать до утра над пахнущей ужином морской ширью.

Было без десяти два ночи.

Глава 5
Божья страна

Много лет спустя река встретила вернувшуюся Рахель загробной улыбкой оголенного черепа, дырами на месте зубов и вялым шевеленьем руки, приподнятой с больничной кровати.

Две вещи произошло.

Река обмелела. И Рахель стала взрослой.

Ради голосов влиятельного рисоводческого лобби ниже по течению была выстроена плотина, регулирующая приток соленой воды из лагун, соединенных с Аравийским морем. Это позволило снимать вместо одного по два урожая в год. За добавочный рис расплатились рекой.

Хотя стоял июнь и шли дожди, она теперь была лишь ненамного полноводней дренажной канавы. Тонкая, утомленно колышущаяся лента мутной воды меж глинистых берегов, кое-где украшенная косыми продолговатыми блестками мертвой рыбы. Реку заполонили водоросли — разросшиеся, извивающиеся под водой густыми пучками бурых щупалец. По ней ходили взад-вперед бронзовокрылые яканы. Безошибочно

шагали с растения на растение длиннопалыми лапками.

Было время, она внушала страх. Меняла жизнь людей. Но теперь зубы у нее выпали, сила иссякла. Теперь это была медленно движущаяся слякотно-зеленая полоса, сносящая в море пахучий мусор. Яркие пластиковые пакеты гордо плыли по вязкой травянистой глади, как летучие цветы субтропиков.

Каменные ступени, что когда-то вели купальщиков к воде, а Рыболовный Люд к рыбалке, теперь полностью обнажились и вели из ниоткуда в никуда — нелепый висячий монумент, увековечивающий ничто. В щелях между камнями рос папоротник.

На той стороне реки крутые глинистые берега продолжались глинобитными стенами низеньких лачуг. Дети выставляли зады за обрыв и испражнялись с высоты в чавкающий топкий ил оголенного речного дна. Самые маленькие украшали береговые откосы жиденькими, горчичного цвета подтеками. Вечером вода, поднявшись, забирала дневные дары и уносила их в море, оставляя позади себя пышные разводы белой пены. Выше по течению чистые матери стирали одежду и мыли горшки в неосквернённых фаб-

ричных стоках. Люди купались. Их намыленные отсеченные торсы возвышались над зыбкой зеленой лентой, как темные каменные бюсты.

В жаркие дни запах фекалий поднимался от реки и накрывал Айеменем, точно широкополой шляпой.

Чуть дальше от берега на той стороне было Сердце Тьмы, которое переоборудовали под пятизвездочную гостиницу.

К Историческому Дому (где когда-то шептались предки с жесткими одеревенелыми ногтями на ногах и запахом географических карт изо рта) теперь нельзя было подойти со стороны реки. Он повернулся к Айеменему спиной. Отдыхающих доставляли в гостиницу по лагунам прямо из Кочина. Они приезжали на быстроходном катере, за которым шли под углом две пенистые волны и оставалась радужная пленка бензина.

Вид из окон гостиницы открывался сказочный, но около нее вода тоже была мутная и отравленная. Вдоль берега стояли плакаты со стилизованно-каллиграфическими надписями: «Купаться запрещено». Была построена высокая стена, чтобы не видно было трущоб и чтобы они не вползали в имение Кари Саибу. С запахом, правда, бороться было труднее.

Но для купанья в гостинице имелся бассейн. А для подкрепления сил в ее меню — испеченный в тандуре свежий морской лещ и блинчики «сюзет».

Деревья по-прежнему были зелеными небо — синим, и это что-нибудь да значило. И Гостиничные Люди вовсю рекламировали свой неблагоуханный рай — «Божью страну», как они именовали его в своих буклетах, — потому что они знали, эти мудрые Гостиничные Люди, что к запаху, как и к чужой бедности, привыкают. Это вопрос дисциплины. Который решается Аккуратностью и Кондиционированием Воздуха. Ничем больше.

Дом Кари Саибу был отремонтирован и покрашен. Он стал центром затейливого комплекса, изрезанного искусственными каналами, через которые были перекинуты мостики. На воде покачивались лодочки. Вокруг старого бунгало колониальной эпохи с его широкой верандой и дорическими колоннами появились деревянные строения поменьше и постарше — родовые дома, купленные хозяевами гостиницы у старинных семейств и пересаженные сюда, в Сердце Тьмы. Этакие Исторические Игрушки для богатых туристов. Как снопы, приснившиеся библейскому

Иосифу, как индийцы-просители на приеме у английского судьи, старые дома, обступившие Исторический Дом, взирали на него с подобострастием. Гостиница называлась «Наследие».

Гостиничные Люди любили рассказывать отдыхающим о том, что самое старое из этих деревянных строений с его обшитой панелями неприступной кладовкой, где мог поместиться годовой запас риса для небольшой армии, — это родовой дом самого товарища Э. М. Ш. Намбудирипада, «Мао Цзэдуна Кералы», как объясняли непосвященным. Мебель и старинные вещицы, проданные вместе с домом, были выставлены на всеобщее обозрение. Тростниковый зонтик, плетеная кушетка. Деревянный сундук для приданого. Объяснительные таблички гласили: «Традиционный керальский зонтик», «Традиционный сундук для приданого».

Итак, обе они — История и Словесность — оказались на службе у коммерции. Карл Маркс и Курц взялись за руки и встали у причала, чтобы приветствовать богатых гостей.

Дом товарища Намбудирипада стал гостиничной столовой, где не вполне еще загорелые туристы в купальных костюмах пили прямо из скорлупы нежное кокосовое молоко и где старые

коммунисты, одетые в яркие народные костюмы, разносили подносы с напитками, придав туловищу легкий почтительный наклон.

По вечерам ради Местного Колорита перед отдыхающими выступали с усеченным представлением танцоры катхакали. «Их внимания надолго не хватает», — объясняли танцорам Гостиничные Люди. Поэтому древние повести сжимались и обрубались. Шестичасовая классика превращалась в двадцатиминутный скетч.

Представление давалось у плавательного бассейна. Пока барабанщики били в барабаны и танцоры исполняли свой танец, отдыхающие с детишками плескались в воде. Пока Кунти открывала Карне на речном берегу тайну его рождения, влюбленные натирали друг друга кремом для загара. Пока ведьма Путана поила младенца Кришну своим отравленным молоком, пока Бхима потрошил Духшасану и омывал волосы Драупади в его крови, папаши играли в сублимированно-эротические игры со своими подросшими дочками.

Заднюю веранду Исторического Дома (где орудовал отряд прикасаемых полицейских, где был прожжен надувной гусенок) забрали стенкой, и там была устроена просторная гостиничная

кухня. Ничего более серьезного, чем шашлык и заварной карамельный крем, теперь там не затевалось. Весь Ужас остался в прошлом. Его перекрыли ароматы готовки. Его заглушили голоса поваров. И веселый стук-стук-стук ножей, мелко рубящих имбирь и чеснок. И звуки, сопровождающие потрошение небольших млекопитающих — свиней, коз. Или резку мяса. Или чистку рыбы.

Одна вещица лежала там, погребенная в земле. Под травой. Под июньскими ливнями — вот уже двадцать три года.

Сущая мелочь.

Без которой мир запросто обойдется.

Детские наручные пластмассовые часики с нарисованными стрелками.

Показывающими без десяти два.

За Рахелью увязалась ватага ребят.

— Эй, ты, хиппушка, — закричали они, припозднившись на двадцать пять лет. — Кактебязвать?

Кто-то из них кинул в нее камешек, и ее детство пустилось наутек, размахивая худыми ручонками.

* * *

На обратном пути Рахель, обогнув Айеменемский Дом, вышла на главную улицу. Здесь тоже

людские жилища выросли, как грибы, и лишь из-за того, что они лепились под деревьями и к ним от улицы вели только узенькие непроезжие тропки, Айеменем еще сохранял остатки прежнего сельского облика. По числу жителей он уже стал небольшим городом. За нежной завесой зелени таилась упругая людская масса, готовая выплеснуться по первому же сигналу. Чтобы забить до смерти неосторожного шофера автобуса. Чтобы разбить ветровое стекло машины, осмелившейся ехать здесь в день забастовки, объявленной оппозицией. Чтобы украсть у Крошки-кочаммы ее импортный инсулин и ее булочки с кремом, проделавшие дальний путь из коттаямской кондитерской «Бестбейкери».

Товарищ К. Н. М. Пиллей, хозяин типографии «Удача», стоял у забора и разговаривал с соседом. Товарищ Пиллей скрестил руки на груди и крепко, с видом собственника обхватил пальцами свои подмышки, словно кто-то только что попросил их у него взаймы и получил отказ. Сосед за забором с напускным интересом перебирал фотографии, которые вынул из прозрачного пакетика. Большей частью они изображали сына товарища К. Н. М. Пиллея по имени Ленин, который жил в Дели и руководил малярными, сантехническими

и электротехническими работами в посольствах Нидерландов и Германии. Чтобы у клиентов не возникало опасений по поводу его политических пристрастий, он слегка переименовал себя. Левин — вот как он теперь себя называл. П. Левин.

Рахель попыталась пройти незамеченной. Глупо с ее стороны было на это рассчитывать.

– *Айо,* Рахель-моль! — прокричал К. Н. М. Пиллей, мигом узнав ее. — *Оркуннилей?* Помните? Дядю-Товарища?

– *Уувер,* — сказала Рахель. — Да, конечно. Еще бы она не помнила.

Его вопрос и ее ответ были всего-навсего данью вежливости. Оба они знали, что есть вещи, которые можно забыть. И что есть вещи, которых забыть нельзя; которые восседают на пыльных полках, как чучела птиц со злобными, глядящими вбок глазами.

— Да-а! — сказал по-английски товарищ Пиллей. — Вы, думается, в Амайрике сейчас?

— Нет, — сказала Рахель. — Я здесь.

— Это понятно. — В его голосе прозвучала легкая досада. — Но вообще-то в Амайрике, нет?

Товарищ Пиллей расплел руки. Его соски уставились на Рахель поверх сплошного забора, как печальные глаза сенбернара.

— Узнал? — спросил товарищ Пиллей соседа с фотографиями, указывая на Рахель движением подбородка.

Нет, он не узнал.

— Дочка дочки старой кочаммы из «Райских солений», — объяснил товарищ Пиллей.

Сосед выглядел озадаченно. Он, видно, был приезжий. И не любитель солений. Тогда товарищ Пиллей зашел с другой стороны.

— Пуньян Кунджу? — спросил он. В небесах мгновенным видением возник Антиохийский патриарх и исчез, шевельнув иссохшей рукой.

Человеку с фотографиями что-то наконец стало ясно. Он энергично закивал.

— Теперь дальше: Пуньяна Кунджу сын? Бенаан Джон Айп? Который в Дели жил? — продолжал товарищ Пиллей.

– *Уувер, уувер, уувер,* — сказал сосед.

— Дочка дочки его — вот. В Амайрике сейчас.

Сосед кивал и кивал, разобравшись в родословной Рахели.

– *Уувер, уувер, уувер.* В Амайрике, да? Скажите пожалуйста. — Его голос выражал не сомнение, а чистое восхищение.

Ему смутно вспоминался какой-то скандал. Подробности он забыл, но вроде бы там был секс

и была чья-то смерть. Об этом писали в газетах. После короткой паузы и еще одной серии мелких кивков сосед вернул товарищу Пиллею пакетик с фотографиями.

— Ну, бывай, товарищ, мне пора-пора. Ему надо было успеть на автобус.

— Да-а! — Еще шире стала улыбка товарища Пиллея, когда он смог, не отвлекаясь, направить на Рахель прожектор своего внимания. Десны у него были необычайно розовые — награда за пожизненное бескомпромиссное вегетарианство. Он был из тех мужчин, которых трудно представить себе мальчиками. Тем более младенцами. Он выглядел так, словно *родился* человеком среднего возраста. С залысинами.

— А супруг? — поинтересовался он.

— Не приехал.

— Фото не привезли?

— Нет.

— А звать как?

— Ларри. Лоуренс.

– *Уувер.* Лоуренс. — Товарищ Пиллей кивнул, словно он очень одобрял это имя. Словно, будь у него возможность, он сам бы его взял.

— Потомство имеется?

— Нет, — сказала Рахель.

— Решили обождать? Или уже в проекте?

— Нет.

— Уж одного-то обязательно. Мальчика девочку. Все равно, — сказал товарищ Пиллей. — Двое — это сложней, конечно.

— Мы развелись и вместе не живем, — сказала Рахель, надеясь шокировать его, чтобы он замолчал.

— Не живете? — Его голос взмыл до такого писклявого регистра, что лопнул на вопросительном знаке. Прозвучало так, будто развод равнозначен смерти.

— Это чрезвычайно прискорбно, — сказал он, когда голос к нему вернулся. Почему-то его потянуло на не свойственный ему книжный язык. — Чрез-чрезвычайно.

Товарищу Пиллею пришла в голову мысль, что это поколение, наверно, расплачивается за буржуазное загнивание отцов и дедов.

Один спятил. Другая не живет. И, похоже, бесплодная.

Так, может быть, вот она, подлинная революция? Христианская буржуазия своим ходом начала саморазрушаться.

Товарищ Пиллей понизил голос, как будто не хотел, чтобы их подслушали, хотя поблизости

никого не было.

— А мон? — спросил он заговорщическим шепотом. — Он-то как?

— Нормально, — сказала Рахель. — Очень хорошо.

Куда уж лучше. Плоский весь, медового цвета. Стирает свою одежду крошащимся мылом.

– *Айо паавам,* — прошептал товарищ Пиллей, и его соски потупили взор, выражая притворное сочувствие. — Вот бедняга.

Рахель не понимала, чего он добивается, расспрашивая ее с такой дотошностью и совершенно игнорируя ее ответы. Правды от нее он не ждет, это ясно, но почему он даже притвориться не считает нужным?

— А Ленин в Дели теперь, — сменил тему товарищ Пиллей, не в силах больше сдерживаться. — Работает с иностранными посольствами. Вот!

Он протянул Рахели целлофановый пакетик. Фотографии большей частью изображали Ленина и его семейство. Его жену, его ребенка, его новый мотороллер «баджадж». На одном снимке Ленину пожимал руку очень розовощекий, очень хорошо одетый господин.

— Германский первый секретарь, — сказал

товарищ Пиллей.

У Ленина и его жены на фотографиях был довольный вид. Вполне верилось, что у них в гостиной стоит новый холодильник и они уплатили первый взнос за муниципальную квартиру.

Рахель помнила эпизод, благодаря которому Ленин стал для них с Эстой Реальным Лицом и они перестали думать о нем просто как о складке на сари его матери. Им с Эстой было пять лет, Ленину, наверно, три или четыре. Они повстречались с ним в клинике доктора Вергиза Вергиза, ведущего коттаямского Педиатра и Ощупывателя Мам. Рахель была там с Амму и Эстой, который настоял, чтобы его взяли тоже. Ленин был со своей матерью Кальяни. Рахель и Ленин жаловались на одно и то же — на Посторонний Предмет в Носу. Теперь это казалось ей необычайным совпадением, но тогда почему-то нет. Странным образом политика сказалась даже на выборе предметов, которые дети решили запихнуть себе в носы. Она — внучка Королевского Энтомолога, он — сын партийного работника от сохи. Поэтому ей — стеклянная бусина, ему — зеленая горошина.

Приемная была полна народу.

Из-за врачебной занавески доносились тихие зловещие голоса, прерываемые воем несчастных

детей. Доносилось звяканье стекла о металл, шепоток и бульканье кипящей воды. Один мальчик теребил висящую на стене деревянную табличку «Доктор (не) принимает», поворачивая ее так и сяк. Младенец, у которого был жар, икал у материнской груди. Медленный потолочный вентилятор резал душный, насыщенный испугом воздух бесконечной спиралью, которая спускалась к полу, неторопливо завиваясь, словно кожура одной нескончаемой картофелины.

Журналов не читал никто.

В проеме двери, которая вела прямо на улицу, колыхалась куцая занавеска, за которой стоял неумолчный шарк-шарк бестелесных ног в туфлях и сандалиях. Шумный, беспечный мир Тех, У Кого В Носу Ничего Нет.

Амму и Кальяни обменялись детьми. Их заставили задрать носы, запрокинуть головы и повернуться к свету на случай, если чужая мать вдруг увидит то, что упустила своя. Из этого ничего не вышло, и Ленин, расцветкой одежды похожий на такси (желтая рубашка черные эластичные шорты), вновь обрел материнский нейлоновый подол и свою пачку жвачек. Он сидел на цветочках ее сари и с этой неуязвимой позиции силы бесстрастно смотрел на происхо-

дящее. Он до отказа засунул указательный палец в незанятую ноздрю и шумно дышал ртом. У него был аккуратный косой пробор. Волосы его лоснились от аюрведического масла. Жвачку ему разрешено было *держать* до встречи с врачом и жевать после. В мире все было нормально. Наверно, он был слишком мал, чтобы сообразить, что Атмосфера В Приемной плюс Крики Из-за Занавески призваны усиливать Здоровый Страх перед доктором В. В.

Крыса, у которой на плечах дыбилась шерсть, деловито курсировала между кабинетом врача и нижним отделением стоявшего в приемной шкафа.

Медсестра входила в кабинет и выходила оттуда, отодвигая потрепанную занавеску. Она орудовала странными предметами. Крохотной пробиркой. Стеклянным прямоугольничком с размазанной по нему кровью. Склянкой с яркой, подсвеченной сзади мочой. Подносом из нержавейки с прокипяченными иглами. Волосы у нее на ногах были прижаты к коже полупрозрачными белыми чулками и напоминали витую проволоку. Каблуки ее обшарпанных белых туфель были стоптаны с внутренней стороны, из-за чего ее ноги заваливались навстречу друг

дружке. Блестящие черные шпильки, похожие на распрямленных змеек, прижимали к ее маслянистой голове крахмальный медсестринский колпак.

Можно было подумать, что ее очки снабжены фильтрами против крыс. Она не замечала крысу со вздыбленной на плечах шерстью, даже если та пробегала совсем близко от ее ног. Она выкликала имена низким голосом, похожим на мужской: «А. Нинан… С. Кусумалата… Б. В. Рошини… Н. Амбади». Ей нипочем был тревожный, завивающийся спиралью воздух.

Глаза Эсты были не глаза, а испуганные блюдца. Его гипнотизировала табличка «Доктор (не) принимает».

Рахель захлестнула волна паники.

— Амму, давай еще раз попробуем.

Одной рукой Амму поддерживала под затылок запрокинутую голову Рахели. Обернутым в платок большим пальцем другой руки она зажимала пустую ноздрю. Вся приемная смотрела на Рахель. Настал решающий миг в ее жизни. На лице у Эсты была великая готовность сморкаться вместе с ней. Он наморщил лоб и вобрал в себя как можно больше воздуху.

Рахель призвала на помощь все свои силы.

Миленький Господи, молю тебя, пусть она выйдет. Из пальцев ног, из глубин сердца она погнала воздух в материнский платок.

И в сгустке слизи и облегчения она выскочила. Маленькая розовато-лиловая бусина в блестящей полужидкой оправе. Горделивая, как жемчужина в устричной мякоти. Собравшиеся вокруг дети восхищенно смотрели на нее. А вот мальчик, который играл с табличкой, исполнился презрения.

— Подумаешь, я бы это запросто! — заявил он.

— Только попробуй, я тебя *так* взгрею, — сказала его мать.

— Мисс Рахель! — выкрикнула медсестра и оглядела приемную.

— Она вышла! — сказала ей Амму. — Вышла у нее. — Она подняла повыше свой смятый платок.

Медсестра не поняла, что она говорит.

— Все в порядке. Мы уходим, — сказала Амму. — Вышла бусина у нее.

— Следующий, — сказала медсестра и прикрыла глаза под крысиными фильтрами. («Бывает», — подумала она.) — С. В. С. Куруп!

Презрительно глядевший мальчик поднял вой, когда мать повела его в кабинет врача.

Рахель и Эста покинули клинику триумфатора-

ми. Маленький Ленин остался дожидаться, пока доктор Вергиз Вергиз прозондирует его ноздрю своими холодными стальными инструментами и прозондирует его мать иными, более мягкими орудиями.

Тогда — не то, что теперь.

Теперь у него дом и мотороллер «баджадж». Жена и *потомство.*

Рахель вернула товарищу Пиллею пакетик с фотографиями и двинулась было дальше.

— Еще только одну минуточку, — сказал товарищ Пиллей. Он навязывался ей из-за забора, как эксгибиционист. Завлекающий людей своими сосками и заставляющий их рассматривать фотографии сына. Перелистав пачку карточек (своего рода краткую фотоленинниану), он протянул ей последнюю. — *Оркуннундо?*

Старый черно-белый снимок. Чакко сделал его фотоаппаратом «роллифлекс», который Маргарет-кочамма привезла ему в подарок на то Рождество. На фотографии были все четверо. Ленин, Эста, Софи-моль и она сама стояли на передней веранде Айеменемского Дома. Позади них с потолка гроздьями свисали рождественские украшения Крошки-кочаммы. К лампочке была привязана картонная звезда. Ленин, Рахель и Эста

напоминали испуганных зверьков, застигнутых на дороге светом автомобильных фар. Коленки сведены вместе, руки вытянуты по швам, на лицах застывшие улыбки, туловища повернуты к фотоаппарату. Как будто стоять вполоборота — уже грех.

Только Софи-моль с небрежной дерзостью представительницы Первого Мира выставила себя перед фотоаппаратом биологического отца во всем блеске. Веки она вывернула наизнанку, из-за чего ее глаза стали похожи на сосудисто-розовые лепестки плоти (серые на черно-белом снимке). Изо рта у нее торчали большие накладные зубы, вырезанные из желтой корки сладкого лимона. На кончик языка, просунутого сквозь зубной капкан, был надет серебряный наперсток Маммачи (она умыкнула его в первый же день и клятвенно пообещала, что все каникулы будет пить только из наперстка). В обеих руках она держала горящие свечи. Одна брючина ее хлопчатобумажных брючек клеш была закатана, и на голой костлявой коленке красовалась нарисованная рожица. За несколько минут до того, как был сделан снимок, она терпеливо втолковывала Эсте и Рахели (отметая все свидетельства о противоположном: фотографии, воспоминания), что,

по всей вероятности, они ублюдки, и объясняла, что именно означает это слово. За этим следовало подробное, хоть и не вполне точное описание полового акта: «Вот как они делают. Ложатся…»

Это было за несколько дней до ее смерти.

Софи-моль.

Которая из наперстка пила.

Которая в гробу крутилась.

Она прилетела рейсом Бомбей — Кочин. В шляпке и брючках клеш, Любимая с самого Начала.

Глава 6
Кочинские кенгуру

В аэропорту Кочина на Рахели были новенькие, по-магазинному свежие панталончики в горошек. Репетиции были позади. Настал День Спектакля. Кульминация недели, прошедшей под девизом: *Что Подумает Софи-моль?*

Утром в гостинице «Морская королева» Амму, которой всю ночь снились дельфины и синяя глубина, помогла Рахели надеть пенистое Платье Для Аэропорта. Это был один из обескураживающих сбоев вкуса, какие иногда случались у Амму: жесткое облако желтых немнущихся кружев с крохотными серебряными блестками и бантами на плечах. Оборчатый низ был для пышности подшит клеенкой. Рахель не была уверена в том, что платье хорошо подходит к ее солнечным очкам.

Амму, нагнувшись, держала перед ней новенькие панталончики в тон платью. Рахель, положив руки на плечи Амму, влезла в них (левая ножка, правая ножка) и поцеловала Амму в обе ямочки (левая щечка, правая щечка). Резинка легонько

щелкнула ее по животу.

— Спасибо тебе, Амму, — сказала Рахель.

— За что спасибо? — спросила Амму.

— За новое платье и панталончики, — сказала Рахель.

Амму улыбнулась.

— Носи на здоровье, доченька. — сказала она, но печальным голосом.

Носи на здоровье, доченька.

Ночная бабочка на сердце у Рахели подняла мохнатую лапку. Потом опустила. Маленькая лапка была холодная. *Чуть меньше мама любит меня теперь.*

В номере «Морской королевы» пахло яичницей и фильтрованным кофе.

Когда пошли к машине, Эсте доверили Орлиную фляжку-термос с водой из-под крана. Рахели доверили Орлиную фляжку-термос с кипяченой водой. На обеих фляжках были изображены Термосные Орлы, расправившие крылья и держащие в когтях земной шар. Близнецы верили, что днем Термосные Орлы смотрят на мир, а ночью совершают облет своих фляжек. Бесшумно, как совы, с лунным светом на крыльях.

На Эсте были черные брючки в обтяжку и красная рубашка с длинными рукавами и ост-

роконечным воротничком. Его зачес выглядел новеньким и наивным. Словно сильно взбитый яичный белок.

Эста — надо признать, не без основания — сказал, что у Рахели в платье для аэропорта очень глупый вид. Рахель дала ему шлепка, и он ей за это тоже.

В аэропорту они друг с другом не разговаривали.

Чакко, обычно носивший мунду, теперь обрядился в смешной тесный костюм и лучезарную улыбку. Амму поправила ему галстук, который странно отвалился набок. Он словно бы отяжелел, этот галстук, от сытного завтрака.

— Что это вдруг стряслось с нашим Человеком Масс? — спросила Амму. Но она спросила это с ямочками на щеках, потому что Чакко был такой переполненный. Такой счастливый-рассчастливый.

Чакко не стал давать ей шлепка.

И она ему, естественно, тоже.

У цветочницы в «Морской королеве» Чакко купил две красные розы и теперь держал их бережно.

По-толстячьи.

Благоговейно.

Сувенирный магазин в аэропорту, принадлежавший Туристической корпорации штата Керала, был забит рекламными махараджами авиакомпании «Эйр Индия» (мал ср бол), слонами из сандалового дерева (мал ср бол) и масками танцоров катхакали, сделанными из папье-маше (мал ср бол). В воздухе висели назойливые запахи сандалового дерева и хлопчатобумажных подмышек (мал ср бол).

В Зале Прибытия стояли четыре цементных кенгуру в натуральную величину с цементными сумками, на которых было написано: ДЛЯ МУСОРА. Вместо цементных детенышей в этих сумках были сигаретные окурки, горелые спички, крышечки от бутылок, арахисовая скорлупа, смятые бумажные стаканчики и тараканы.

Животы у всех кенгуру были, как свежими ранами, испещрены красными бетельными плевками.

У Кенгуру Аэропорта были улыбающиеся красные рты. И уши с розовыми ободками.

Вид у каждой из них был такой, словно нажмешь, и она скажет «Ма-ма» пустым батареечным голосом.

Когда самолет Софи-моль появился в лазурном бомбейско-кочинском небе, толпа, озабоченная

тем, чтобы не пропустить ничего из всего, стала напирать на железное ограждение.

Зал Прибытия превратился в пресс любви и нетерпения: ведь рейсом Бомбей-Кочин прибывали на родину все Заграничные Возвращенцы.

Их встречали целыми семьями. Съезжались со всего штата Керала. Долгими тряскими автобусами. Из Ранни, из Кумили, из Вижинджама, из Ужавура. Некоторые ночевали в аэропорту, у них была с собой еда. А на обратный путь — тапиоковые чипсы и вареный рис со сладкими плодами хлебного дерева.

Явились все: глухие бабушки, страдающие артритом сварливые дедушки, чахнущие жены, полные интриг дядюшки, детишки с поносом. Прежние невесты — желая напомнить о себе. Муж учительницы — все еще в ожидании саудовской визы. Сестры мужа учительницы — все еще в ожидании приданого. Беременная жена электрика.

— Всё шваль, уборщики, — мрачно сказала Крошка-кочамма и отвернулась, чтобы не видеть, как одна мамаша, не желая уступать Хорошее Место у самого ограждения, всунула в пустую бутылку отросточек своего ошалевшего сынишки, который тем временем улыбался и махал ручкой

теснящимся вокруг людям.

— Псссс, — шипела мамаша. Сначала упрашивающе, потом яростно. Но мальчик, видно, решил, что он Римский Папа. Он улыбался и махал ручкой, улыбался и махал ручкой. С отросточком в бутылочке.

— Помните, что вы сейчас Представители Индии, — сказала Крошка-кочамма Рахели и Эсте. — От вас зависит их Первое Впечатление о нашей стране.

Чрезвычайные и Полномочные Двуяйцевые Представители. Его Превосходительство Э(лвис) Пелвис и Ее Превосходительство М(ушка) Дрозофила.

Рахель в стоящем колом кружевном платье, со стянутым «токийской любовью» фонтанчиком на голове выглядела устрашающе-безвкусной Феей Аэропорта. Взрослые затолкали ее потными бедрами (это повторится еще раз на отпевании в желтой церкви) и жестким, сумрачным рвением. На сердце у нее была дедушкина ночная бабочка. Рахель отвернулась от орущей стальной птицы в лазурном небе, в брюхе у которой сидела ее двоюродная сестра, и вот какое увидела зрелище: цементный марш красноротых, рубиново-улыбчатых кенгуру через зал аэропорта.

С пятки на носок.

С пятки на носок.

Длинные лапы-плоскостопы.

Сумки-урны с мусором.

Самая маленькая вытянула шею, как люди в английских фильмах, ослабляющие галстук после рабочего дня. Средняя рылась у себя в сумке, выискивая длинный окурок, чтобы подымить. Нашла старый орех в тускло-прозрачном пакете. Разгрызла его передними зубами, как грызун. Самая большая раскачивала стоячий щит с надписью: «Туристская корпорация штата Керала поздравляет вас с прибытием» и с нарисованным танцором катхакали, делающим намаете — приветственный жест. Другой щит, который некому было раскачивать, гласил: «меувтстевирП сав в юарк йетсонярп».

Рахель-Представительница тут же стала протискиваться сквозь давку к брату и со-Представителю.

Эста, смотри! Эста, смотри, что там!

Эста-Представитель не стал оборачиваться. Не стал, потому что не хотел. Он стоял и смотрел на размашистое приземление. На ремешке через плечо Орлиная фляжка с водой из-под крана,

в животе бездонно-тяжелодонное ощущение: Апельсиново-Лимонный Газировщик знает, где его найти. На фабрике в Айеменеме. На берегу реки Миначал.

Амму смотрела сумочкой.

Чакко — розами.

Крошка-кочамма — выпирающей на шее бородавкой.

Наконец начали выходить бомбейско-кочинские пассажиры. Из прохлады в жару. По дороге в Зал Прибытия мятые люди сами собой разглаживались.

Вот они — Заграничные Возвращенцы в костюмах, не требующих утюжки, и радужных солнечных очках. Несущие в своих аристократических чемоданах все, что поможет покончить со злой нуждой. Цементные крыши для домишек, крытых пальмовым листом, и газовые колонки для родительских ванных комнат. Канализационные трубы и отстойники. Юбки-макси и туфли на каблуке. Рукава с буфами и губную помаду. Электрические миксеры и вспышки для фотоаппаратов. Ключи, чтобы пересчитывать, и шкафчики, чтобы отпирать-запирать. Вот они — изголодавшиеся по маниоке и рыбной похлебке с рисом. Вот они — истосковавшиеся по родне,

которая вся здесь, испытывающие к ней любовь, чуть подкрашенную стыдом из-за того, что она такая… ну… неотесанная, что ли. *Ну разве можно так одеваться? Наверняка у них есть дома что-нибудь поприличней. И почему у всех малаяли такие скверные зубы?*

А сам аэропорт! Больше смахивает на заштатную автобусную станцию. Эти птичьи какашки на стенах! Эти плевки на кенгуру!

Ох-ох-ох. И куда же она, Индия наша, катится?

И когда поездки в долгих тряских автобусах и ночевки в аэропорту сталкивались с любовью, чуть подкрашенной стыдом, возникали маленькие трещинки, которые будут расти и расти, пока наконец незаметно для себя Заграничные Возвращенцы с их перекроенными мечтами не окажутся за дверью Исторического Дома.

И вот, среди не требующих утюжки костюмов и новеньких чемоданов, Софи-моль.

Которая будет из наперстка пить.

Которая будет в гробу крутиться.

Она шла от самолета с запахом Лондона в волосах. Желтые раструбы брючек клеш трепались вокруг ее лодыжек. Длинные волосы лились из-под соломенной шляпки. Одна рука в руке у матери. Другой она размахивала, как солдат в

строю: лев-прав-лев-прав…

Бойкая
Девчонка я,
Стройная
И тонкая,
Голосочек,
Как у пташки,
А на голове Кудряшки (лев-прав).
Бойкая…

Маргарет-кочамма велела ей Прекратить Это. Она рекратила Это.

— Видишь ее, Рахель? — спросила Амму.

Она обернулась и увидела, что ее обряженная в новенькие панталончики дочь поглощена беседой с цементными сумчатыми. Тогда она пошла и привела ее, ругая. Чакко сказал, что он не может посадить Рахель на плечи, потому что он уже кое-что держит в руке. Две розы красные.

По-толстячьи.

Благоговейно.

Когда Софи-моль вошла в Зал Прибытия, Рахель, не в силах справиться с волнением и неприязнью к двоюродной сестре, крепко ущипнула Эсту.

Защемила его кожу между ногтями двух пальцев. В ответ Эста сделал ей Китайский Браслетик, взявшись обеими руками за ее запястье и крутанув в разные стороны. Запястье стало гореть, на нем выступила полоса. Лизнув руку, Рахель почувствовала соль. От слюны запястью стало прохладней и лучше.

Амму ничего не заметила.

Из-за железного ограждения, которое отделяло Встречающих от Встречаемых, Душинечающих от Душинечаемых, Чакко, весь переполненный, сияя сквозь тесный костюм и отвалившийся набок галстук, поклонился новообретенной дочери и бывшей жене.

— Поклон, — произнес Эста в уме.

— Приветствую вас, милые дамы, — сказал Чакко своим Читающим Вслух голосом (тем самым, каким он ночью проговорил: *Любовь. Безумие. Надежда. Бесконечная Радость.*) — Как перенесли путешествие?

В воздухе теснилось множество Мыслей и Невысказанных Слов. Но в такие минуты вслух произносятся только Мелочи. Крупное таится внутри молчком.

— Скажи: здравствуйте, рада познакомиться, — велела дочери Маргарет-кочамма.

— Здравствуйте, рада познакомиться, — сказала Софи-моль сквозь железное ограждение, обращаясь ко всем одновременно.

— Одна — тебе, одна — тебе, — сказал Чакко красными розами.

— А спасибо? — напомнила дочери Маргарет-кочамма.

— А спасибо? — сказала Софи-моль, глядя на Чакко и передразнивая материнский вопросительный знак.

Маргарет-кочамма легонько тряхнула ее, наказывая за невежливость.

— Не за что, — сказал Чакко. — Теперь давайте я всех со всеми познакомлю. — И дальше, скорей ради посторонних глаз и ушей, потому что Маргарет-кочамму представлять, в общем-то, нужды не было: — Моя жена Маргарет.

Маргарет-кочамма улыбнулась и махнула на него розой. *Бывшая жена, Чакко!* Эти слова она произнесла одними губами, без голоса.

Все видели, что Чакко горд и счастлив из-за того, что у него была такая жена. Белая. В цветастом ситцевом платье, с гладкими ногами под ним. С коричневыми спинными веснушками. И с ручными веснушками.

Но воздух вокруг нее был какой-то печальный.

Сквозь улыбку в ее глазах свежей, яркой синевой просвечивало Горе. Из-за ужасной автомобильной аварии. Из-за дыры в мироздании, имеющей форму Джо.

— Здравствуйте все, — сказала она. — Мне кажется, я уже много лет вас знаю.

А я вас нет.

— Моя дочь Софи, — сказал Чакко и засмеялся коротким нервным смешком, вдруг испугавшись, что Маргарет-кочамма скажет: «Бывшая дочь». Но она не сказала. Его смешок легко было понять. Не то что смех Апельсиново-Лимонного Газировщика.

— Драст, — сказала Софи-моль.

Она была выше Эсты. И вообще крупнее. Глаза у нее были голубо-серо-голубые. Ее бледная кожа цветом напоминала пляжный песок. Но волосы под шляпкой были красивые, насыщенного каштанового цвета. И бесспорно (да, бесспорно!) внутри ее носа ждал своего часа нос Паппачи. Скрытый нос Королевского Энтомолога. Нос исследователя бабочек. При ней была ее любимая стильная сумочка, сделанная в Англии.

— Амму, моя сестра, — сказал Чакко.

Амму сказала взрослое «здравствуйте» Маргарет-кочамме и детское «здравствуй-здравствуй»

Софи-моль. Рахель смотрела во все глаза, пытаясь измерить величину любви Амму к Софи-моль, — но безуспешно.

Как внезапный ветер, через Зал Прибытия покатился смех. Этим же рейсом прилетел Адур Баси — любимейший, популярнейший комический актер малаяльского кино. Отягощенный большим количеством мелких неудобных пакетов и бестактным восхищением окружающих, он счел своим долгом немножко им подыграть. Роняя то один пакет, то другой, он приговаривал: *Энде Деивомай! Ии садханангал!* О Господи! Труды мои праведные!

Эста громко, восторженно засмеялся.

— Амму, гляди! Адур Баси все роняет! — сказал он. — Он вещи свои не может донести!

— Он делает это нарочно, — сказала Крошка-кочамма со странным новым британским акцентом. — Не смотри на него.

— Он играет в кино, — объяснила она Маргарет-кочамме и Софи-моль, и прозвучало это так, будто Кино — игрушка, в которую Адур Баси сейчас играет. — Просто пытается привлечь внимание, — сказала Крошка-кочамма и отвернулась, решительно отказывая ему во всяком внимании.

Но Крошка-кочамма ошиблась. Адур Баси не

пытался привлечь внимание. Он всего-навсего пытался заслужить внимание, которое уже привлек.

— Крошка, моя тетушка, — сказал Чакко.

Софи-моль была озадачена. Она посмотрела на Крошку-кочамму удивленно округлившимися глазами. Если крошкой называют теленка или щенка — это еще понятно. Ну, медвежонка. (Вскоре она покажет Рахели крошечного летучего мышонка.) Но крошка-тетушка — это уж извините.

Крошка-кочамма сказала: «Здравствуйте, Маргарет» и «Здравствуй, Софи-моль». Софи-моль, сказала она, такая красивая, что напоминает ей эльфа. Ариэля.

— Знаешь, кто такой Ариэль? — спросила Крошка-кочамма у Софи-моль. — Ариэль в «Буре»?

Софи-моль сказала, что нет.

— «Буду я среди лугов»? — спросила Крошка-кочамма. Софи-моль сказала, что нет.

— «Пить, как пчелы, сок цветов»? Софи-моль сказала, что нет.

— В «Буре» Шекспира? — не унималась Крошка-кочамма.

Все это, конечно, главным образом для того, чтобы предъявить Маргарет-кочамме свою

визитную карточку. Чтобы отделить себя от Уборщиков.

— Хвастается, — шепнул Представитель Э. Пелвис на ухо со-Представительнице М. Дрозофиле. Рахель-Представительница прыснула, запустив в жаркий воздух аэропорта зелено-голубой (цвета джекфрутовой мухи) пузырь смеха. «Пффф!» — такой был звук.

Крошка-кочамма все видела и отметила про себя, что зачинщиком был Эста.

— Переходим к Наиважнейшим Персонам, — объявил Чакко (по-прежнему Читающим Вслух голосом). — Мой племянник Эстаппен.

— Наш Элвис Пресли, — сказала в отместку Крошка-кочамма. — Мы тут, боюсь, немного отстали от времени — Все посмотрели на Эсту и засмеялись.

Злость поползла вверх от подошв бежевых остроносых туфель Эсты-Представителя, обволокла его сердце и там остановилась.

— Здравствуй, Эстаппен, — сказала Маргарет-кочамма. — How do you do?

— Спасибохорошо, — сумрачно ответил Эста.

— Эста, — сказала Амму ласково, — когда с тобой здороваются и говорят: «How do you do?», ты должен в ответ повторить: «How do you do?» Не

«Спасибо, хорошо». Ну-ка давай, скажи: «How do you do?»

Эста-Представитель смотрел на Амму.

— Мы тебя слушаем, — сказала Амму. — «How do you do?» В сонных глазах Эсты было упрямство. Амму сказала на малаялам:

— Ты слышал, что тебе сказано?

Эста-Представитель чувствовал взгляд голубо-серо-голубых глаз и видел нос Королевского Энтомолога. Он не мог найти в себе никакого «How do you do?».

— Эстаппен! — сказала Амму. Злость поползла по ней вверх, обволокла ее сердце и там остановилась. Злость, куда более Злая, чем ей следовало быть. Амму унижало это прилюдное неповиновение в зоне ее юрисдикции. Она-то рассчитывала, что все пройдет гладко. Что ее дети не ударят в грязь лицом в Индо-Британском Конкурсе Поведения.

Чакко сказал Амму на малаялам:

— Прошу тебя. Потом. Не сейчас.

Злыми, не отпускающими Эсту глазами Амму сказала:

– *Ладно. Потом.*

И это ее Потом стало ужасным, грозным, гусино-пупырышным словом.

Потт. Томм.

Как глухой глубокий колокол в замшелом колодце. Подрагивающие, мохнатые звуки. Похожие на лапки ночной бабочки.

Спектакль не удался. Как не удаются соленья в муссонную сырость.

— И моя племянница, — сказал Чакко. — Рахель, где ты там?

Он оглянулся и не увидел ее. Рахель-Представительница, не способная совладать с качелями перемен в своей жизни, завернулась, как сосиска, в грязную занавеску зала ожидания и не хотела разворачиваться. Маленькая сосиска в сандалиях «бата».

— Не смотрите на нее, — сказала Амму. — Она просто пытается привлечь внимание.

Амму тоже ошиблась. Рахели всего-навсего хотелось не привлекать внимания, которого она заслуживала.

— Здравствуй, Рахель, — сказала Маргарет-кочамма грязной занавеске.

— How do you do? — промямлила занавеска в ответ.

— Может быть, выйдешь, дашь взглянуть на себя? — сказала Маргарет-кочамма добреньким голоском учительницы (похожим на голос мисс

Миттен до того, как она увидела в их глазах лик сатаны).

Рахель-Представительница все никак не выпутывалась из занавески, потому что не могла. А не могла потому, что не могла, и дело с концом. Потому, что Все Пошло Не Так. И скоро для них с Эстой настанет Потт Томм.

С его мохнатыми ночными бабочками и холодными мотыльками. С его глухими глубокими колоколами. С его мшистой тьмой.

Где живет Сипуха.

Грязная занавеска зала ожидания дарила великий покой и защиту.

— Не смотрите на нее, — сказала Амму и улыбнулась натянутой неулыбчатой улыбкой.

На уме у Рахели были сплошь жернова с голубо-серо-голубыми глазами. Амму любит ее еще меньше теперь. А что касается Чакко, у него уже явно Дошло До Дела.

— А вот и багаж! — бодро сказал Чакко. Довольный возможностью уйти.

— Пошли, Софи родненькая, принесем ваши чемоданы.

Софи родненькая.

Эста смотрел, как они идут вдоль заграждения и как толпа перед ними раздается в стороны,

устрашенная костюмом Чакко, его съехавшим набок галстуком и его переполненным видом. Из-за своего живота Чакко всегда ходил так, словно в гору поднимался. Оптимистически одолевал крутые, скользкие житейские склоны. Он шел по одну сторону заграждения, Маргарет-кочамма и Софи-моль — по другую.

Софи родненькая.

Сидящий Человек в фуражке и погонах, также устрашенный костюмом Чакко и его съехавшим набок галстуком, пустил его в багажную секцию.

Когда между ними уже не осталось заграждения, Чакко поцеловал Маргарет-кочамму, а потом поднял в воздух Софи-моль.

— Когда я это сделал в последний раз, я получил в награду мокрую рубашку, — со смехом сказал Чакко. Он тискал ее, и тискал, и тискал. Он целовал ее голубо-серо-голубые глаза, ее нос энтомолога, ее каштановые волосы под шляпкой.

Наконец Софи-моль сказала ему:

— Эммм… можно тебя попросить? Ты меня не опустишь? А то… эммм… я как-то не привыкла.

И Чакко опустил ее.

Эста-Представитель видел (упрямыми глазами), что костюм Чакко вдруг стал свободней, не такой переполненный.

А здесь, у окна с грязной занавеской, пока Чакко забирал багаж, Потт Томм превратилось в Сейчас.

Эста видел, как шейная бородавка Крошки-кочаммы облизнулась и бурно запульсировала, предвкушая поживу. *Раз — двaa, раз — двaa.* Она меняла окраску, как хамелеон: раз — зелень, раз — черная синь, раз — горчичная желть.

Будем из чашек
Кушать близняшек.

— Так, — сказала Амму. — Вы меня довели. Что один, что другая. А ну вылезай, Рахель!

Завернутая в занавеску, Рахель закрыла глаза, и ей примечталась зеленая река, глубоководные тихоплавающие рыбы и прозрачные крылышки стрекоз (которые могут смотреть назад) на ярком солнце. Ей примечталась самая счастливая в ее жизни удочка, которую сделал Велютта. Желтое бамбуковое удилище и поплавок, нырявший всякий раз, как глупая рыба проявляла любопытство. Рахели примечтался Велютта, и она захотела, чтобы он был сейчас здесь.

Потом Эста развернул ее. На нее глазели цементные кенгуру.

Амму посмотрела на них. В Воздухе было очень

тихо, если не считать биения шейной бородавки Крошки-кочаммы.

— Ну, — сказала Амму.

Это был вопрос, и еще какой. Ну?

Ответа на него не было.

Эста-Представитель опустил глаза и увидел свои ступни (откуда по его телу ползла вверх злость), обутые в бежевые остроносые туфли. Рахель-Представительница опустила глаза и увидела пальцы своих ног в сандалиях «бата», пытающиеся оторваться. Дергающиеся в желании пристроиться к другим каким-нибудь ступням. Она ничего не могла с ними поделать. Скоро она останется без пальцев ног и будет ходить перебинтованная, как прокаженный у железнодорожного переезда.

— Если вы когда-нибудь, — сказала Амму, — вы поняли меня? КОГДА-НИБУДЬ еще ослушаетесь меня Публично, я пошлю вас в такое место, где вы у меня как миленькие исправитесь. Это, надеюсь, ясно?

Когда Амму сердилась всерьез, она говорила: Как Миленькие. Близнецам представлялся глубокий колодец, где миловались миленькие мертвецы.

— Это. Надеюсь. Ясно? — повторила Амму.

На нее смотрели испуганные глаза и фонтанчик.

На нее смотрели сонные глаза и наивный зачес.

Две головы кивнули три раза.

Да. Это. Ясно.

Но Крошка-кочамма не хотела дать столь многообещающей ситуации выдохнуться. Она мотнула головой.

— Если бы! — сказала она.

Если бы!

Амму повернула к ней голову, и в этом повороте был вопрос.

— Без толку, — сказала Крошка-кочамма. — Они хитрые. Грубые. Лживые. Они становятся неуправляемы. Они тебя не слушаются.

Амму опять повернулась к Эсте и Рахели, и ее глаза были хмурыми алмазами.

— Все говорят: детям нужен Баба. А я отвечаю: нет. Моим детям — нет. Знаете почему?

Две головы кивнули.

— Почему? Я слушаю, — сказала Амму.

Не совсем, но почти одновременно Эстаппен и Рахель ответили:

— Потому что ты наша Амму и наш Баба, и ты любишь нас Вдвойне.

— Больше чем Вдвойне, — сказала Амму. — Поэтому запомните мои слова хорошенько. Человеческие чувства драгоценны. И когда вы Публично меня не слушаетесь, у людей создается неверное впечатление.

— Тоже мне Представители! — сказала Крошка-кочамма.

Представитель Э. Пелвис и Представитель М. Дрозофила повесили головы.

— И еще одно, Рахель, — сказала Амму. — Пора наконец усвоить разницу между ЧИСТЫМ и ГРЯЗНЫМ. Тем более в этой стране.

Рахель-Представительница опустила глаза.

— Платье у тебя — было — ЧИСТОЕ, — сказала Амму. — Эта занавеска — ГРЯЗНАЯ. Эти кенгуру — ГРЯЗНЫЕ. Руки твои — ГРЯЗНЫЕ.

Рахель испугало, как Амму повышала голос, говоря ЧИСТОЕ и ГРЯЗНОЕ. Словно она обращалась к глухому человеку.

— Теперь я хочу, чтобы вы пошли и поздоровались *как следует*, — сказала Амму. — Могу я на это рассчитывать?

Две головы кивнули два раза.

* * *

Эста-Представитель и Рахель-Представитель

двинулись к Софи-моль.

— Ты думаешь, куда людей посылают Как Миленьких исправляться? — шепотом спросил Эста у Рахели.

— К Государству, — прошептала Рахель в ответ, потому что она знала.

— How do you do? — сказал Эста, обращаясь к Софи-моль, и достаточно громко, чтобы Амму слышала.

— Как индусики в аду, — прошептала ему Софи-моль. Она узнала эту шуточку в школе от одноклассника-пакистанца.

Эста посмотрел на Амму.

Глаза Амму сказали: *Не Обращай Внимания, Делай Сам, Как Надо.*

По дороге через стоянку машин у аэропорта Жара заползла к ним под одежду и увлажнила новенькие панталончики. Отстав от взрослых, дети виляли между машинами.

— Ваша шлепает вас? — спросила Софи-моль. Рахель и Эста промолчали, не зная, к чему она гнет.

— Моя шлепает, — приглашающе сказала Софи-моль. — Моя даже Лупит.

— Наша нет, — лояльно сказал Эста.

— Везет, — сказала Софи-моль.

Везет богатенькому. Есть карманные-шарманные, и бабушка оставит фабрику в наследство. Ни забот, ни хлопот.

Они прошли мимо однодневной предупредительной голодной забастовки, организованной профсоюзом рабочих аэропорта. И мимо людей, глядящих на однодневную предупредительную голодную забастовку.

И мимо людей, глядящих на людей, глядящих на людей.

Маленькая жестяная табличка на толстом стволе баньяна гласила: «Доктор Р.А. Дост. Венерические болезни и сексуальные расстройства».

— Кого ты любишь Больше Всех На Свете? — спросила Рахель у Софи-моль.

— Джо, — ответила Софи-моль без колебаний. — Моего папу. Он умер два месяца назад. Мы сюда приехали Оправляться От Удара.

— Твой папа ведь Чакко, — сказал Эста.

— Нет, он только мой *родной* папа, — сказала Софи-моль. — А папа у меня — Джо. Он никогда не шлепает. Вообще никогда.

— Как он может шлепать, если он умер? — спросил рассудительный Эста.

— А ваш-то папа где? — поинтересовалась Софи-моль.

— Он… — Рахель беспомощно посмотрела на Эсту. — …не здесь, — сказал Эста.

— Хочешь знать мой список? — спросила Рахель.

— Давай, — сказала Софи-моль.

Этот «список» был попыткой упорядочить хаос. Рахель постоянно пересматривала его, разрываясь между любовью и долгом. Ее подлинных чувств, разумеется, он не отражал.

— Сначала Амму и Чакко, — сказала Рахель. — Потом Маммачи…

— Наша бабушка, — разъяснил Эста.

— Ее больше, чем брата? — спросила Софи-моль.

— Мы не в счет, — сказала Рахель. — К тому же он может еще заразиться. Так Амму говорит.

— Как это? Чем заразиться? — спросила Софи-моль.

— Поганым Мужским Шовинизмом, — ответила Рахель.

— Это вряд ли, — сказал Эста.

— Так, значит, после Маммачи идет Велютта, потом…

— Кто такой Велютта? — поинтересовалась Софи-моль.

— Человек, которого мы любим, — сказала Ра-

хель. — А после Велютты — ты.

— Я? За что меня-то? — спросила Софи-моль.

— За то, что мы двоюродные. Поэтому мне полагается, — благонравно ответила Рахель.

— Ты не видела меня даже, — сказала Софи-моль. — И я-то тебя не люблю.

— Полюбишь, когда мы лучше познакомимся, — уверенно сказала Рахель.

— Сомневаюсь, — сказал Эста.

— А почему? — спросила Софи-моль.

— Так, — сказал Эста. — И к тому же она почти наверняка будет лилипуткой.

Как будто любить лилипутку — дело совершенно немыслимое.

— А вот и не буду, — сказала Рахель.

— А вот и будешь, — сказал Эста.

— Не буду.

— Будешь.

— Не буду.

— Будешь. Мы с ней близнецы, — сказал Эста, чтобы Софи-моль было понятно, — и посмотри, насколько она ниже меня.

Рахель послушно сделала глубокий вдох, выпятила грудь и встала с Эстой спина к спине на стоянке машин у аэропорта, чтобы Софи-моль видела, насколько она ниже его.

— Может быть, ты будешь карлицей, — предположила Софи-моль. — Это выше, чем лилипутка, и ниже, чем… Человеческая Женщина.

Молчание было насыщено сомнениями по поводу этого компромисса.

Из дверей Зала Прибытия сумрачная красноротая фигура кенгуру помахала цементной лапой только Рахели. Цементные поцелуи, жужжа, понеслись по воздуху, как маленькие вертолетики.

— А вы умеете ходить, как манекенщицы? — поинтересовалась Софи-моль.

— Нет. Мы в Индии так не ходим, — сказал Эста-Представитель.

— А мы в Англии еще как ходим, — сказала Софи-моль. — Все модели так ходят. В телевизоре. Вот, смотрите — это проще простого.

И вся троица, возглавляемая Софи-моль, двинулась через стоянку машин у аэропорта, покачиваясь на манер лучших манекенщиц. Орлиные фляжки-термосы и английская стильная сумочка елозили по их бедрам. Влажные гномики шли, высоко задрав носы.

За ними следовали тени. Серебристые самолетики в голубом церковном небе, похожие на бабочек в луче света.

Лазурный «плимут», снабженный крылышка-

ми, приберег для Софи-моль улыбочку. Хромированно-бамперную акулью улыбочку.

Автомобильную улыбочку «Райских солений».

Увидев на крыше «плимута» нарисованные банки и список райских продуктов, Маргарет-кочамма воскликнула:

— Боже мой! Я словно в рекламу попала!

Она все время приговаривала: Боже мой!

Боже мой! Боже мой боже!

— А я и не знала, что вы делаете ананасовые кружочки! — сказала она. — Софи, ты ведь любишь ананасы, правда, скажи?

— Иногда люблю, — сказала Софи. — А иногда нет.

Маргарет-кочамма забралась в рекламу со всеми своими спинными и ручными веснушками, с цветастым платьем и гладкими ногами под ним.

Софи-моль села впереди между Чакко и Маргарет-кочаммой. Сзади из-за спинки сиденья виднелась только ее шляпка. А все потому, что она их дочь.

Рахель и Эста сели сзади.

Багаж был в багажнике.

«Багаж» — отличное слово. «Крепыш» — ужасное слово.

Около Этгуманура они проехали мимо мертво-

го храмового слона, убитого током от упавшего на дорогу высоковольтного провода. Ликвидацией туши распоряжался инженер от муниципалитета. Работать надо было аккуратно, потому что их действия должны были стать образцом для всех будущих Муниципальных Ликвидаций Туш Толстокожих Животных. Дело требовало серьезного подхода. Стояла пожарная машина, стояло несколько смущенных пожарников. Муниципальный служащий стоял с какими-то бумагами и очень много кричал. Стояла тележка с мороженым, рядом кто-то продавал арахис в узеньких бумажных конусах, хитро свернутых так, что в них помещалось не больше восьми-девяти орехов.

— Глядите, мертвый слон, — сказала Софимоль.

Чакко остановился, чтобы спросить, уж не их ли это знакомец Кочу Томбан (Маленький Бивень), слон из Айеменемского храма, которого раз в месяц приводили к Айеменемскому Дому за кокосовым орехом. Ответили, что нет.

С облегчением узнав, что это чужак, они поехали дальше.

— Слава бхогу, — сказал Эста с акцентом.

– *Слава богу,* Эста, — поправила его Крошка-

кочамма.

По дороге Софи-моль научилась чувствовать первые признаки приближающейся вони сырого каучука и держать ноздри зажатыми еще долго после того, как везущий его грузовик проезжал мимо.

Крошка-кочамма предложила запеть путевую песню.

Эсте и Рахели пришлось выводить ее по-английски старательными голосами. Живо и беззаботно. Так, словно их не заставляли репетировать ее целую неделю. Представителя Э. Пелвиса и Представителя М. Дрозофилу.

Ра-адуйтесь всегда-а в Го-осподе,
И еще говорю: ра-адуйтесь.

Их Проу Ииз Ноу Шение было превосходно.

«Плимут» несся сквозь зеленый полуденный зной, рекламируя соленья щитами на крыше и лазурное небо крылышками.

Подъезжая к Айеменему, они налетели на бабочку салатового цвета (или, может быть, она на них налетела).

Глава 7
Тетради «Грамота»

В кабинете Паппачи наколотые дневные и ночные бабочки рассыпались, оголив пронзившие их некогда злые клинки, на маленькие кучки радужной пыли, запорошившей дно стеклянных демонстрационных ящиков. Пахло грибковой гнилью и затхлой заброшенностью. На торчавшем из стены деревянном штыре висел старый ядовито-зеленый хулахуп, похожий на огромный, списанный за ненадобностью нимб. По подоконнику колонной маршировали блестящие черные муравьи, выпятив зады, как семенящий кордебалет в мюзикле Басби Беркли.[40] Эффектно подсвеченные ярким солнцем. Полированные и красивые.

Рахель (встав на табуретку, поставленную на стол) рылась в книжном шкафу с грязными, помутневшими стеклянными дверцами. На пыльном полу ясно были видны следы ее босых ног. Они вели от двери к столу (который она по-

---

[40] notes: 40
Басби Беркли — режиссер голливудских мюзиклов в 1930-е годы.

додвинула к шкафу), потом к табуретке (которую она принесла к столу и водрузила на него). Она что-то искала. Ее жизнь теперь обрела очертания. Под глазами у нее были полумесяцы, на горизонте — ватага троллей.

Кожаные переплеты стоявших на верхней полке томов «Сокровищницы насекомых Индии» отделились от самих книг и пошли волнами, сделавшись похожими на кровельный шифер. Чешуйницы прогрызали в толще страниц тоннели, переходя по своему произволу от вида к виду, превращая упорядоченную информацию в желтые кружева.

Рахель пошарила за шеренгой книг и достала спрятанные мелочи.

Две раковины: одну гладкую и одну зазубренную.

Пластмассовую коробочку из-под контактных линз. Оранжевую пипетку.

Серебряное распятие на нитке с бусинами. Четки Крошки-кочаммы.

Она подняла их на свет. Каждая жадная бусина ухватила свою дольку солнца.

На солнечный прямоугольник, протянувшийся по полу кабинета, упала тень. Рахель повернулась к двери вместе с ниткой светлячков.

— Представляешь. До сих пор тут. Я стащила. После того как тебя Отправили.

Слово выскользнуло очень легко. *Отправили.* Как будто в этом состояло предназначение близнецов. Чтобы их отправляли туда-сюда. Как бандероли.

Эста не поднял глаз. Его голова была полна поездов. Он заслонял свет, падавший в дверной проем. Дыра в мироздании, имеющая форму Эсты.

На что-то еще натолкнулись озадаченные пальцы Рахели за шеренгой книг. Еще одна сорока-воровка поступила так же, как она. Рахель вытащила находку и стерла с нее пыль рукавом блузки. Это был плоский полиэтиленовый пакет, заклеенный скотчем. Внутри виднелся листок белой бумаги с надписью: *Эстаппен и Рахель.* Почерком Амму.

В пакете лежали четыре потрепанные тетради. На обложках стояло: *ГРАМОТА. Тетрадь для письма.* Чуть ниже: *Имя..... Фамилия..... Школа..... Колледж..... Класс..... Предмет.....* На двух было написано ее имя, на двух других — имя Эсты.

В конце одной тетради на внутренней стороне обложки что-то было написано детским почерком. Вымученные очертания букв и неравные пробелы между словами были заряжены борь-

бой с норовистым и диким карандашом. Мысль как таковая была, напротив, ясна, как стекло: *Я злой на мисс Миттен и пантолоньчики у ней РВАННЫЕ.*

На передней стороне обложки Эста стер обслюнявленным пальцем свою фамилию, содрав заодно изрядный слой бумаги. Поверх получившейся грязи он написал карандашом: *Не-который.* Эстаппен Не-который. (До Поры До Времени у него не было фамилии, потому что Амму колебалась в выборе между фамилиями мужа и отца.) После слова Класс было написано: *6 лет.* После слова *Предмет* было написано: *Сочиненье.*

Рахель села на табуретку, которая стояла на столе, и положила ногу на ногу.

— Эстаппен Не-который, — сказала она. Потом открыла тетрадь и начала читать вслух.

> Когда Улис пришол домой его сын пришол и сказал отец я думал ты никогда не придешь, там было много принцев и все хотели в жены Пени Лопу, но Пени Лопа сказала выйду за того кто стрелит через двенацать колец, и никто не смох. а улис пришол во дворец одетый совсем как нищий и сказал можно я попробую, все

смеялись над ним и сказали если мы не смогли ты не сможешь, сын улиса сказал пусь попробует и он взял лук и стрелил через 12 колец.

Дальше шла работа над ошибками предыдущего урока.

Ferus Ученый Никакой Вагоны Мост Носильщик Пристегнутый

Ferus Ученый Никакой Вагоны Мост Носильщик Пристегнытуй

Ferus Ученый никакой

Ferus Учоный Никакой

Голос Рахели стал по краям подкручиваться смехом.

— «Безопасность Прежде Всего», — провозгласила она. Вдоль всей страницы Амму провела сверху вниз волнистую красную линию и написала: *Поля? И впредь, пожалуйста, слитным почерком!*

Когда мы в городе идем по улице, — писал осторожный Эста, — *мы должны всегда ити по тротуару. Кто идет по* ***тротуару****, там нет транспорта и не опасно, но на мостовой ездит много быстрых машин которые могут збить людей и ты станешь* ***дурачком*** *или* ***калекой****. Ес-*

ли ты сломал голову или позвоночник это очень ***плохо****, полиция легурирует транспорт так, что не будет очень много* ***инвалидов****, лежачих в больнице. Когда мы выходим из автобуса нам надо сначала спросить* ***кондуктора*** *а то мы получим* ***увечие*** *и врачам будет работа. Шофером быть очень* ***апасно****. Его семья всегда очень волнуется потому что шоферу лехко погибнуть.*

— Жуткий ребенок, — сказала Рахель Эсте. Когда она переворачивала страницу, что-то залезло ей в горло, вытащило ее голос, встряхнуло и вернуло на место уже без смешливых краешков. Следующее сочиненье Эсты называлось «Маленькая Амму».

Слитным почерком. С сильно закрученными хвостиками у некоторых заглавных. Тень в дверном проеме стояла очень тихо.

> В суботу мы поехали в Коттаям в книжный магазин купить подарок Амму потому что ее деньрождение 17 ноября. Мы купили ей дневник. Мы спрятали его в шкаф и потом стал вечер. Потом мы сказали хочешь посмотреть подарок она сказала да очень хочу, и мы написали на бумаге Маленькой Амму с Любовью от

Эсты и Рахели и мы дали все это Амму и она сказала что это очень славный подарок какраз какой я хотела и потом мы говорили про все и про дневник потом мы ее поцеловали и пошли спать.

Мы говорили немножко потом заснули. Нам снился маленький сон.

Потом я проснулса и хотел очень пить и пошел к Амму и сказал хочу пить. Амму дала мне воду и я пошел спать но Амму сказала поспи у меня. И я лег у Амму сзади и мы говорили а потом я заснул. А потом я проснулса и мы еще говорили а потом был у нас ночной пир. Мы ели апельсин пили кофе и ели банан. Потом пришла Рахель и мы ели еще два банана а потом поцеловали Амму потому что уже настал деньрождение и мы спели ей песенку. Утром Амму подарила нам новую одежду Рахель была махарани а я был Маленький Неру.

Амму исправила грамматические ошибки и написала внизу: *Когда я говорю с кем-то, перебить меня ты можешь, только если это очень важно. В этом случае ты должен вначале извиниться, не то ты будешь очень строго наказан. Пожалуй-*

ста, доделай все исправления.

Маленькая Амму.

Которая *своих* исправлений так и не доделала.

Которой пришлось собрать пожитки и уехать. Потому что у нее не было Места Под Солнцем. Потому что Чакко сказал, что она достаточно уже наразрушалась.

Которая потом иногда приезжала в Айеменем, мучимая астмой, издающая при вдохе и выдохе странный звук, похожий на человеческий крик издали.

Эста ее такой не видел.

Безумной. Больной. Несчастной.

Когда Амму приехала в Айеменем в последний раз, Рахель только что исключили из школы при Назаретском женском монастыре за то, что она украшала цветами коровьи лепешки и толкала старшеклассниц. Амму только что лишилась последней из своих должностей — портье в дешевой гостинице, — потому что болела и пропускала много рабочих дней. Начальство объяснило ей, что они не могут ее держать. Им нужен портье покрепче.

В последний свой приезд Амму провела утро в комнате у Рахели. На остатки жалкого жалованья она купила дочери маленькие подарочки,

которые дала ей завернутыми в грубую бумагу с наклеенными сверху цветными сердечками. Пакетик конфеток для бросающих курить, жестяной пенал «фантом» и книжку «Пол Баньян» из детской серии «Иллюстрированная классика». Все это подошло бы семилетней, а Рахели было уже почти одиннадцать. Словно Амму верила, что если она не будет мириться с ходом времени, если она всей душой будет желать, чтобы для ее близнецов оно стояло на месте, то оно не посмеет ослушаться. Словно простой силы воли было достаточно, чтобы задержать взросление ее детей до той поры, когда она сможет с ними воссоединиться. Тогда они начнут с того места, где все оборвалось. Опять с семи лет. Амму сказала Рахели, что купила Эсте такую же книжечку, но подержит ее у себя до тех пор, пока не получит новую работу и не будет получать столько, что сможет снять комнату, где они будут жить все втроем. Тогда она поедет в Калькутту и привезет оттуда Эсту, после чего он получит свою книжечку. Это время уже не за горами, сказала Амму. В сущности, это может произойти со дня на день. С жильем проблем скоро не будет. Она сказала, что подала заявление, чтобы ее взяли на работу в ООН, и они будут жить в Гааге, где за ними

будет присматривать голландская няня. С другой стороны, сказала Амму, может быть, лучше будет остаться в Индии и сделать то, о чем она давно мечтала, — открыть школу. Нелегко, конечно, выбирать между педагогической деятельностью и работой в ООН, но не надо забывать, что сама возможность выбора — это уже огромное преимущество.

Но До Поры До Времени, сказала она, пока решение еще не принято, она подержит подарки для Эсты у себя.

Все утро Амму говорила не закрывая рта. Она задавала Рахели вопросы, но не позволяла ей отвечать. Когда Рахель пыталась что-то сказать, Амму перебивала ее новым соображением или вопросом. Ее, казалось, ужасала возможность услышать от дочери что-нибудь взрослое, из-за чего Замерзшее Время растаяло бы. Страх сделал ее разговорчивой. Своей болтовней она держала его на расстоянии.

Она была опухшая от кортизона, с лунообразным лицом, совсем не та стройная мама, какую Рахель помнила. На раздавшихся щеках кожа была туго натянута и похожа на глянцевитую рубцовую ткань, какая получается на месте прививки. Когда она улыбалась, ямочки у нее на

щеках выглядели так, словно им больно. Ее курчавые волосы утратили блеск и свисали по обе стороны опухшего лица, как вялая занавеска. В потертой сумочке она носила стеклянный ингалятор, где хранилось ее дыхание. Бурые пары́. За каждый глоток воздуха ей надо было сражаться со стальной пятерней, сдавливавшей ее легкие. Рахель смотрела, как дышит мать. При каждом вдохе впадины над ее ключицами становились обрывистыми и наполнялись тенью.

Амму сплюнула в платок сгусток мокроты и показала Рахели.

— Всегда надо проверять, — хрипло прошептала она, как будто мокрота — контрольная по арифметике, которую надо проглядеть еще раз прежде, чем сдавать. — Если белая, значит, еще не созрела. Если желтая и с тухлым запахом, значит, созрела и пора было отхаркивать. Мокрота — она как плод. Бывает спелая, бывает нет. Надо уметь различать.

За обедом она рыгала, как шоферюга, и извинялась низким неестественным голосом. Рахель заметила, что из бровей у нее торчат новые, толстые волоски длинные, словно щупальца. Амму улыбнулась, почувствовав тишину за столом, когда она стала есть жареную рыбу прямо с хреб-

та. Она сказала, что чувствует себя дорожным знаком, на который гадят птицы. В глазах у нее был странный лихорадочный блеск.

Маммачи спросила, не пьяна ли она, и попросила ее впредь навещать Рахель пореже.

Амму встала из-за стола и вышла, не сказав ни слова. Даже не попрощавшись.

— Пойди проводи ее, — сказал Чакко Рахели.

Рахель прикинулась, что не слышала. Она продолжала есть рыбу. Она вспомнила про мокроту, и ее чуть не стошнило. В эту минуту она ненавидела мать. *Ненавидела.*

Больше они не встречались.

Амму умерла в грязном номере гостиницы «Бхарат» в Аллеппи, где пыталась устроиться на секретарскую работу. Она умерла в одиночестве. Все ее предсмертное общество составлял шумный потолочный вентилятор, и не было рядом Эсты, чтобы лечь сзади и говорить с ней. Ей был тридцать один год. Не старость, не молодость — Жизнесмертный возраст.

Она проснулась ночью, спасаясь от хорошо знакомого, часто повторяющегося сна, в котором, щелкая ножницами, к ней шли полицейские, чтобы остричь ей волосы. В Коттаяме так поступали с проститутками, пойманными на базаре, — ме-

тили их, чтобы все знали, кто они такие. *Вешья.* Чтобы новые полицейские, совершая обход, сразу видели добычу. Амму всегда замечала их на базаре, женщин с пустыми глазами и насильно выбритыми головами, в краю, где непременным признаком добропорядочности считаются длинные умащенные волосы.

Проснувшись той ночью в гостинице, Амму села в чужой кровати в чужой комнате в чужом городе. Она не понимала, где находится, и не узнавала ничего вокруг. Знакомым был только страх. Человек в ее груди кричал криком. Стальная пятерня на этот раз так и не ослабила хватку. В обрывистые впадины над ее ключицами слетелись летучие мыши.

Утром ее увидел уборщик. Он выключил вентилятор.

Под одним глазом у нее был большой синий мешок, раздувшийся, как пузырь. Словно этот глаз пытался дышать, помогая легким. Около полуночи человек, живший в ее груди и кричавший оттуда, умолк. Бригада муравьев степенно вынесла в щель под дверью труп таракана, показывая, как надлежит поступать с трупами.

Церковь отказалась хоронить Амму. На то был ряд причин. Поэтому Чакко нанял микроавтобус,

чтобы отвезти тело в электрокрематорий. Тело завернули в грязную простыню и положили на носилки. Рахели показалось, что Амму выглядит как римский сенатор. «Et tu, Амму!» — подумала она и улыбнулась, вспомнив Эсту.

Странно было ехать по людным солнечным улицам с мертвым римским сенатором на полу микроавтобуса. От этого синее небо сделалось еще синей. За окнами автобуса люди, словно картонные марионетки, шли по своим марионеточным делам. Настоящая жизнь была здесь, в автобусе. Потому что здесь была настоящая смерть. Из-за дорожных толчков и сотрясений тело Амму моталось и в конце концов съехало с носилок. Голова ударилась о железный болт в полу. Амму не вздрогнула и не проснулась. У Рахели шумело в голове, и до конца дня Чакко приходилось кричать, если он хотел, чтобы она его услышала.

Крематорий был такой же запущенный и обшарпанный, как железнодорожный вокзал, только тут было малолюдно. Ни поездов, ни толп. Тут сжигали нищих, одиночек и тех, кто умирал в полицейских камерах. Тех, у кого перед смертью не было рядом никого, чтобы лечь сзади и говорить. Когда подошла очередь Амму, Чакко

крепко сжал руку Рахели. Она не хотела, чтобы ее держали за руку. От жара крематория рука была потная и скользкая, и Рахель ее выдернула. Никого из родственников больше не было.

Стальная дверца печи поехала вверх, и приглушенный гул вечного огня превратился в красный раскаленный рев. Жар метнулся на них голодным зверем. Ее Амму скормили ему. Ее волосы, кожу, улыбку. Ее голос. То, как она брала в помощники Киплинга, чтобы любить своих близнецов на сон грядущий: «Мы одной крови — вы и я». Ее поцелуи перед сном. То, как она пальцами одной руки ухватывала лицо ребенка (сплюснутые щечки, рыбий ротик), а другой делала ему пробор и причесывала его. То, как она, нагнувшись, держала перед Рахелью панталончики. *Левая ножка, правая ножка.* Все это скормили зверю, и он остался доволен.

Она была их Амму и их Баба, и она любила их Вдвойне.

Дверца печи с лязгом захлопнулась. Плакать никто не плакал.

Служащий крематория отлучился выпить чаю, и его не было двадцать минут. Именно столько времени Чакко и Рахель ждали розовой квитанции, по которой им предстояло получить

останки Амму. Ее прах. Крупу ее измельченных костей. Зубы ее потухшей улыбки. Всю ее целиком, всыпанную в маленький глиняный горшок. Квитанция № Q498673.

Рахель спросила Чакко, как служащие крематория определяют, где чей пепел. Чакко сказал, что, видимо, у них есть способ.

Если бы Эста был с ними, квитанцию дали бы ему на хранение. Он ведь был прирожденный Архивариус. Хранитель автобусных билетов, банковских квитанций, магазинных чеков, корешков чековых книжек. Малыш-Морячок. Дверь открыл бум-бум.

Но Эсты с ними не было. Все решили, что так лучше. Ему просто потом написали. Маммачи сказала, чтобы Рахель тоже написала. Только вот что́ писать! *Дорогой Эста, как ты поживаешь? У меня все хорошо. Вчера умерла Амму.*

Рахель так и не написала ему. Есть вещи, которых не делают. Разве пишут письма частям своего тела? Своим ступням, волосам? Сердцу?

В кабинете Паппачи Рахель (не старая, не молодая), с пылью от пола на босых ногах, подняла глаза от тетради «Грамота» и увидела, что Эстаппен Не-который ушел.

Она встала с табуретки, слезла со стола и вы-

шла на веранду.

Она увидела спину выходящего из ворот Эсты.

Было позднее утро, и вот-вот должен был хлынуть ливень. В последние преддождевые минуты странного, контрастного, свирепого света зелень полыхала неистово.

Вдалеке прокукарекал петух, и его голос раздвоился. Как подошва, отрывающаяся от старой туфли.

Рахель стояла с потрепанными тетрадями «Грамота» в руке. На передней веранде старого дома, под бизоньей головой с глазами-пуговками, где много лет назад, в день приезда Софи-моль, был разыгран спектакль «Добро пожаловать домой».

Все может перемениться в один день.

Глава 8
Добро пожаловать домой

Дом этот, Айеменемский Дом, выглядел величественно, но отчужденно. Словно он не хотел иметь ничего общего с живущими в нем людьми. Он был похож на старика, что глядит слезящимися глазами на игру детей и видит лишь бренную быстротечность в их пронзительном возбуждении и безоглядной поглощенности жизнью.

Крутая черепичная крыша от старости и дождей потемнела и покрылась мхом. Во фронтоны были вделаны деревянные треугольники с затейливой резьбой, и свет, косо падавший сквозь них на пол, рисовал странные фигуры. Волчьи. Цветочные. Ящеричные. Дружно меняющиеся по мере движения солнца. Пунктуально гибнущие на закате.

Входная дверь имела не две, а четыре створки из обшитого панелями тикового дерева, так что в старину дама могла, оставив нижнюю половину закрытой, облокотиться на планочку посередине и вволю торговаться с продавцом мелкого товара, не показывая ему себя ниже талии. Теоретически

можно было купить ковер или браслет, стоя с одетым верхом и голым низом. Теоретически.

От подъездной дорожки к передней веранде вели девять крутых ступеней. Высота придавала веранде достоинство сценической площадки, и все, что на ней происходило, приобретало дух и значительность театрального действа. Веранда смотрела на декоративный сад Крошки-кочаммы; гравийная подъездная дорожка, огибая его, полого шла вверх от подножья небольшого пригорка, на котором стоял дом.

Это была глубокая веранда, прохладная даже в полдень, когда солнце жарило вовсю.

Когда заливали красноцементный пол, в него ушли белки примерно от девятисот яиц. Он потребовал отменной шлифовки.

Под набитой опилками бизоньей головой с глазами-пуговками, висящей между портретами прародителей, в низком плетеном кресле за плетеным столом сидела Маммачи; перед ней на столе стояла зеленая стеклянная ваза с единственной пурпурной орхидеей на изящно изогнутом стебле. День был тихий и жаркий. В Воздухе висело ожидание.

Под подбородком у Маммачи поблескивала скрипка. Оправа черных раскосых светонепрони-

цаемых очков Маммачи была по моде пятидесятых украшена по углам стразами. Одета она была в накрахмаленное и надушенное сари. Кремовое с золотом. В ушах миниатюрными люстрами сверкали бриллиантовые серьги. Кольца с рубинами были слишком широки для истончившихся пальцев. Ее бледная нежная кожа была, как пенка на остывающем молоке, подернута рябью мелких морщин и усыпана крохотными красными родинками. Она была на редкость красива. Стара, необычайна, царственна.

Слепая вдовствующая Мать Семейства со скрипкой.

В более молодые годы Маммачи, проявляя предвидение и усердие, собирала все волосы, которые у нее падали, в маленькую вышитую сумочку, которая лежала у нее на туалетном столике. Когда их накопилось много, она наполнила ими сеточку и получившийся накладной пучок держала запертым вместе со своими драгоценностями. Несколько лет тому назад, когда ее волосы начали серебриться и истончаться, она, чтобы добавить им пышности, стала пришпиливать черный как смоль пучок к своей маленькой седой голове. По ее понятиям это было вполне допустимо, раз волосы ее собственные. По вечерам, сняв пучок,

она разрешала внуку и внучке заплетать оставшиеся волосы в тугую, масленую, седую косичку, закрепляемую на конце резинкой. Один заплетал, другой считал ее неисчислимые родинки. На следующий вечер они менялись.

На коже головы у Маммачи, аккуратно прикрытые редкими волосами, имелись выпуклые полумесяцы. То были шрамы от старых побоев супружеских времен. Шрамы от латунной вазы.

Она играла медленную часть из первой сюиты «Музыки на воде» Генделя. Под защитой раскосых очков бесполезные ее глаза были закрыты, но она видела музыку, источаемую скрипкой и вьющуюся, как дым, в жарком воздухе.

Внутренность ее головы была комнатой в солнечный день с плотно задернутыми шторами на окнах.

Она играла, и ей вспоминалась ее первая промышленная партия солений. Какая это была красота! Закрытые банки она расставила на столике у изголовья своей кровати, чтобы, проснувшись утром, первым делом их потрогать. Спать она легла рано, но чуть за полночь проснулась. Ее тревожные пальцы потянулись к банкам и вернулись влажные от растительного масла. Банки стояли в масляной луже. Масло было по-

всюду. Под термосом. Под настольной Библией. Растеклось по всему туалетному столику. Соленые манго впитали в себя масло и расширились, из-за чего банки потекли.

Маммачи взялась за книгу «Домашнее консервирование», которую купил ей Чакко, но не нашла в ней ответа. Потом продиктовала письмо к родственнику Аннаммы Чанди, который был региональным управляющим фирмы «Падма пиклс» в Бомбее. Он посоветовал увеличить концентрацию консерванта и соли. Это улучшило дело, но не решило проблему полностью. Даже сейчас, спустя годы, банки с «райскими соленьями» немного подтекали. Почти незаметно, но все же подтекали, и после долгой транспортировки наклейки становились маслеными и прозрачными. Содержимое банок по-прежнему было чуть солоней, чем хотелось бы.

Маммачи задумалась, освоит ли она когда-нибудь в совершенстве искусство консервирования и понравится ли Софи-моль ее охлажденный виноградный сок. Темно-красная жидкость в стакане со льдом.

Потом пришла мысль о Маргарет-кочамме, и томные, текучие генделевские звуки вдруг сделались злыми и резкими.

Маммачи никогда не видела Маргарет-кочамму. Но презирать презирала. *Дочка лавочника* — вот по какому разряду проходила в представлении Маммачи бывшая жена ее сына. Так уж был устроен мир Маммачи. Если ее приглашали в Коттанм на свадьбу, она там только и делала, что шептала на ухо тому или той, с кем она приехала: «Дед невесты со стороны матери столярничал у моего отца. Кунджукутти Ипен? Сестра его прабабки была простой акушеркой в Тривандраме. Семья моего мужа владела всем этим холмом».

Без сомнения, Маммачи презирала бы Маргарет-кочамму, даже если бы та была наследницей английского трона. Не только ее плебейское происхождение отвращаю о от нее Маммачи. Она ненавидела Маргарет-кочамму за то, что Чакко на ней женился. За то, что она с ним разошлась. Но еще больше ненавидела бы, если бы она с ним осталась.

В тот день, когда Чакко не позволил Паппачи избить ее (и тому пришлось довольствоваться убиением кресла), Маммачи собрала свой супружеский багаж и юностью препоручила его заботам Чакко. С той поры он стал вместилищем всех женских чувств. Ее Мужчиной. Ее Единственной Любовью.

Она знала о его вольных отношениях с работницами фабрики, но с какого-то момента это перестало причинять ей боль. Когда однажды Крошка-кочамма заговорила на эту тему, Маммачи напряглась и поджала губы.

— Мужчина имеет свои Мужские Потребности, — сказала она строгим тоном. Как ни странно, Крошка-кочамма приняла это объяснение, и загадочная, подспудно волнующая категория Мужских Потребностей получила в Айеменемском доме негласное право на существование. Ни Маммачи, ни Крошка-кочамма не видели противоречия между марксистским сознанием Чакко и его феодальным либидо. Их тревожили только наксалиты: они, как было известно, заставляли мужчин из Хороших Семей жениться на служанках, которых они обрюхатили. Разумеется, им и в голову не могло прийти, с какой стороны прилетит снаряд, когда он *действительно* прилетит, чтобы навеки погубить Доброе Имя семьи.

По указанию Маммачи в комнату Чакко, расположенную в восточной части, был сделан отдельный вход, чтобы объекты его Потребностей не шастали где не надо. Она тайком совала им деньги, чтобы они не роптали. Деньги они брали, потому что нуждались. У них были маленькие

дети и престарелые родители. Или мужья, которые просаживали все деньги в тодди-барах. Эта система устраивала Маммачи, поскольку, согласно ее понятиям, плата *проясняет* ситуацию. Отделяет Секс от Любви. Потребности от Чувств.

Маргарет-кочамма, однако, была другого поля ягода. Не имея возможности узнать наверняка (хотя один раз она заставила-таки Кочу Марию исследовать простыни на предмет пятен), Маммачи могла только надеяться, что Маргарет-кочамма не намерена возобновлять интимных отношений с Чакко. Пока Маргарет-кочамма была в Айеменеме, Маммачи пыталась воздействовать на ее не поддающиеся иным воздействиям чувства, засовывая деньги в карманы платьев, которые Маргарет-кочамма бросала в ящик для грязной одежды. Маргарет-кочамма ни разу ничего не вернула — просто потому, что ни разу ничего не нашла. Дхоби Аниян аккуратно вытряхивал карманы и брал деньги себе как законный приварок. Маммачи, в общем-то, знала об этом, но предпочитала истолковывать молчание Маргарет-кочаммы как тихое согласие на плату за услуги, которые, как чудилось Маммачи, она оказывала ее сыну.

Так что Маммачи имела удовольствие считать

Маргарет-кочамму еще одной потаскушкой, дхоби Аниян был рад регулярному приварку, а Маргарет-кочамма, разумеется, пребывала обо всем этом в полнейшем неведении.

С навеса над колодцем, взмахнув ржаво-красными крыльями, подала голос лохматая кукушка.

Ворона украла кусочек мыла, и он стал пузыриться у нее в клюве.

Стоя на цыпочках в сумрачной дымной кухне, Кочу Мария покрывала глазурью высокий двухпалубный ДОБРОПОЖАЛОВАТЕЛЬНЫЙ торт. Хотя женщины, исповедовавшие сирийское православие, тогда в основном уже носили сари, на Кочу Марии была ее белая, без единого пятнышка блузка-чатта вполрукава с острым вырезом на шее и белое мунду, сзади похожее на складчатый тканевый веер. Большая часть этого веера была, правда, скрыта под нелепейшим оборчатым фартуком в бело-голубую клетку, который Кочу Мария по настоянию Маммачи должна была носить дома.

У нее были короткие и толстые предплечья, пальцы, похожие на сосиски, и широкий мясистый нос с ноздрями-раструбами. От носа к бокам подбородка спускались две глубокие складки,

создавая подобие обезьяньей мордочки, резко отделенной от остальной части лица. Голова у нее была непропорционально большая. Вся она была похожа на зародыш из биолаборатории, убежавший из банки с формалином и с годами только потолстевший и заматеревший.

Влажные денежные купюры она засовывала себе за лифчик, которым туго стягивала и уплощала свою нехристианскую грудь. В ушах у нее были тяжелые золотые серьги кунукку. Мочки сильно вытянулись и петлями болтались по бокам шеи; серьги облепили их гроздьями, как веселые дети в хороводе. Правая мочка один раз у нее порвалась, и ее сшил доктор Вергиз Вергиз. Кочу Мария и помыслить не могла о том, чтобы перестать носить свои кунукку, потому что как тогда люди узнают, что, несмотря на низкую должность кухарки (семьдесят пять рупий в месяц), она настоящая сирийская христианка, последовательница апостола Фомы? Не из парейянов-пулайянов-параванов. Нет, она прикасаемая, христианка высшей касты, из тех людей, в кого христианство просочилось, как чай из чайного пакетика. Уж лучше сшить лишний раз порванные мочки.

В ту пору Кочу Мария еще не свела знаком-

ство со спавшей внутри нее теленаркоманкой. С фанаткой Верзилы Хогана. Она еще в глаза не видела телевизора.

Она и не поверила бы, что такое существует. Если бы ее стали в этом убеждать, Кочу Мария решила бы, что над ней издеваются. К людским россказням о том, что творится на белом свете, Кочу Мария относилась с опаской. Рассказчикам, считала она, нужно только одно: выставить на посмешище ее необразованность и (в прошлом) легковерие. Последовательно идя против своей натуры, Кочу Мария теперь вообще мало чему верила. Несколько месяцев назад, в июле, когда Рахель сказала ей, что американский астронавт Нил Армстронг разгуливал по луне, она саркастически рассмеялась и заявила в ответ, что малаяльский акробат О. Мутачен ходил колесом по солнцу. С карандашами в носу. Так и быть, она готова была согласиться, что американцы *существуют*, хотя ни одного из них она живьем не видела. Она даже готова была согласиться, что кто-то может откликаться на нелепое имя Нил Армстронг. Но прогулки по луне? Нет уж, увольте. И ни капельки ее не убеждали смазанные серые фотографии в газете «Малаяла панорама», которую она не могла прочесть.

Она по-прежнему была уверена, что, сказав свое «Et tu? Кочу Мария?», Эста обругал ее по-английски. Она думала, что это значит что-нибудь вроде «Кочу Мария, черная уродина». Она затаила обиду и ждала удобного момента, чтобы на него пожаловаться.

Она кончила глазировать высокий торт. Потом запрокинула голову и выдавила остатки глазури себе на язык. Бесконечные кольца коричневой зубной пасты на розовый язык Кочу Марии. Когда Маммачи позвала ее с веранды («Кочу Мария! Я слышу машину!»), рот ее был полон глазури и она не могла ответить. Проглотив, она пробежала языком по зубам, после чего, подняв его к небу, несколько раз причмокнула, словно съела что-то кислое.

Отдаленные лазурные автомобильные звуки (мимо автобусной остановки, мимо школы, мимо желтой церкви и вверх по ухабистой красной дороге, проложенной среди каучуковых деревьев) отозвались в тусклых, закопченных помещениях «Райских солений» шепотом и шелестом.

Засолка, маринование, выжимание сока, резка, кипячение, помешивание, растирание, сушка, взвешивание, закрывание банок — все это разом прекратилось.

— Чакко саар ванну,[41] — ветерком пронеслась новость. Ножи перестали стучать. Плоды остались лежать недорезанными на огромных стальных противнях. Брошенные горькие тыквы, одинокие половинки ананасов. Напальчники из цветной резины (яркие, веселые, как толстокожие презервативы) были сняты. Просоленные, промаринованные руки были вымыты и вытерты о ярко-синие передники. Выбившиеся пряди волос были водворены обратно под белые головные платки. Мунду, подоткнутые под передники, были расправлены. Хлопнули, сами собой закрываясь на пружинах, сетчатые фабричные двери.

И у подъездной дорожки, подле старого колодца, в тени тамаринда выстроилась поглазеть из зеленого зноя молчаливая армия синих передников.

Платки и передники смотрелись как скопление праздничных бело-синих флагов.

Ачу, Джоз, Яко, Аниян, Елейян, Куттан, Виджаян, Вава, Джой, Сумати, Аммаль, Аннамма, Канакамма, Латта, Сушила, Виджаямма, Джолликутти, Молликутти, Лю-сикутти, Бина-моль (девушки с автобусными именами). Первые еле

---

[41] notes: 41
Господин Чакко приехал (малаялам).

слышные ропоты недовольства под толстым слоем лояльности.

Лазурный «плимут» повернул в ворота и захрустел по гравийной подъездной дорожке, давя мелкие ракушки и тревожа красновато-желтую гальку. Из него вывалились дети.

Пришедший в негодность фонтанчик.

Слипшийся зачес.

Мятые брючки клеш и любимая стильная сумочка. Полусонные из-за часовых поясов. Потом взрослые с распухшими щиколотками. Неповоротливые из-за долгого сидения.

— Вы здесь? — спросила Маммачи, повернув свои раскосые темные очки в сторону новых звуков — дверцехлопательных, ногоразминательных. Она опустила скрипку.

— Маммачи! — крикнула Рахель своей красивой слепой бабушке. — Эсту вырвало! Прямо во время «Звуков музыки»! И мы…

Амму мягко прикоснулась к дочери. Тронула ее плечо рукой. И это означало: «Тсс…» Рахель посмотрела вокруг и увидела, что находится посреди Спектакля. В котором ей была отведена всего лишь маленькая роль.

Она была частью ландшафта. Цветком, может быть. Или деревцем.

Персонажем из толпы. Городским Людом.

Никто с Рахелью не поздоровался. Даже Синяя Армия в зеленом зное.

— Где она? — спросила Маммачи у автомобильных звуков. — Где моя Софи-моль? Подойди сюда, дай поглядеть на тебя.

Пока она говорила, Мелодия Ожидания, висевшая над ней мерцающим балдахином храмового слона, стала тихо крошиться и осыпаться мягкой пылью.

В костюме под названием «Что это вдруг стряслось с нашим Человеком Масс?» и хорошо покушавшем галстуке Чакко триумфально взошел с Маргарет-кочаммой и Софи-моль по лестнице из девяти красных ступеней, словно это были его трофеи, которые он только что выиграл в теннис.

И вновь произносились только Мелочи. Крупное таилось внутри молчком.

— Здравствуйте, Маммачи, — сказала Маргарет-кочамма добреньким голоском учительницы (которая, впрочем, иногда шлепает). — Спасибо, что согласились нас принять. Нам очень нужно было сменить обстановку.

Маммачи уловила запах простеньких духов, подкисленный по краям самолетно-дорожным

потом (у нее-то хранился в сейфе флакончик «диора» в зеленом футлярчике из мягкой кожи).

Маргарет-кочамма взяла Маммачи за руку. Пальцы у той были мягкие, кольца с рубинами — жесткие.

— Здравствуйте, Маргарет, — сказала Маммачи (и не грубо, и не вежливо), не снимая своих темных очков. — Добро пожаловать в Айеменем. Жаль, что я вас не вижу. Вы знаете, что я практически слепа.

Она говорила неторопливо, размеренно.

— Может быть, это и к лучшему даже, — сказала Маргарет-кочамма. — Я сейчас, наверно, ужасно выгляжу.

Она неуверенно засмеялась, не зная, хорошо ли ответила.

— Глупости, — сказал Чакко. Он повернулся к Маммачи с гордой улыбкой на лице, которой она не могла видеть. — Она такая же прелестная, как была всегда.

— Я глубоко опечалена вестью о… Джо, — сказала Маммачи. Голос у нее был опечаленный, но не слишком. Чуть-чуть.

В память о Джо воцарилось короткое молчание.

— Где же моя Софи-моль? — спросила Мам-

мачи. — Подойди сюда, дай бабушке поглядеть на тебя.

Софи-моль подвели к Маммачи. Маммачи запрокинула свои темные очки вверх, на темя. Они уставились раскосыми кошачьими глазами на ветхую бизонью голову. Ветхий бизон сказал: «Нет. Вы обознались». На ветхобизоньем языке.

Даже после пересадки роговицы Маммачи различала только свет и тень. Если кто-то стоял в дверях, ей видно было, что кто-то стоит в дверях. Но кто именно — неизвестно. Она могла прочитать чек, квитанцию или купюру, только поднеся бумагу вплотную к себе, к самым ресницам. Тогда она держала ее неподвижно и перемещала только глаз, поворачивая его от слова к слову.

Рахель — Городской Люд (в фейном платьице) смотрела, как Маммачи, взявши Софи-моль за голову, приближает ее к себе, чтобы рассмотреть. Чтобы прочитать ее, как чек. Чтобы проверить ее, как денежную купюру. Лучшим своим глазом Маммачи увидела каштановые волосы (н… нпочти русые), изгиб пухловеснушчатых щек (нннн… почти румяных), голубо-серо-голубые глаза.

— Нос Паппачи, — сказала Маммачи. — Скажи мне, ты хорошенькая? — спросила она Софи-моль.

— Да, — ответила Софи-моль.

— Высокая?

— Высокая для моего возраста, — сказала Софи-моль.

— Очень высокая, — сказала Крошка-кочамма. — Гораздо выше Эсты.

— Она старше, — сказала Амму.

— И все-таки… — сказала Крошка-кочамма.

Чуть поодаль меж каучуковых деревьев шел, срезая угол, Велютта. Голый выше пояса. На плече — моток изолированного электропровода. Синее с черным ситцевое мунду нетуго поддернуто выше колен. На спине — лист удачи с дерева родимых пятен (приносящий муссонные дожди, когда наступает их время). Его осенний лист в ночи.

Не успел он выйти из рощи и ступить на дорожку, как Рахель заметила его, выскользнула из Спектакля и побежала к нему.

Амму это видела.

Она подглядела, как вне сцены они исполняют свой прихотливый Приветственный Ритуал. Велютта сделал книксен, как он был научен, взявшись за мунду, словно за юбочку, на манер английской молочницы из «Баллады о коро-

левском бутерброде».[42] Рахель поклонилась (и сказала: «Поклон»). Потом они сцепились мизинцами и потрясли руками с серьезным видом банкиров, заключающих сделку.

Амму подглядела, как в темной зелени деревьев с пятнами солнца Велютта поднял ее дочь без малейшего усилия, словно она была надувным ребенком, сделанным из воздуха. Когда он подкинул ее и вновь поймал, Амму увидела на лице Рахели высшее наслаждение летучего детства.

Она подглядела, как мышцы на животе у Велютты напряглись под кожей и сделались рельефными, как дольки на плитке шоколада. Она подивилась телесной перемене в нем — тихому превращению плоскогрудого подросткового тела в тело мужчины. Крепкое, хорошо очерченное. Тело пловца. Тело столяра и плотника. Блестящее, как дорогое полированное дерево.

У него были выпуклые скулы и белозубая, внезапная улыбка.

Именно эта улыбка заставила Амму вспомнить его в мальчишеском возрасте. Как он помогал Велья Папану считать кокосовые орехи. Как подавал ей маленькие подарки собственного

---

[42] notes: 42

Так называется детское стихотворение английского писателя А.А. Милна (1882–1956).

изготовления, держа их на раскрытой ладони, чтобы она могла брать их, не касаясь его кожи. Лодочки, шкатулки, ветряные мельнички. Как называл ее Аммукутти. Маленькая Амму. Хотя сам был гораздо меньше, чем она. Глядя на него теперь, она поймала себя на мысли, что мужчина, которым он стал, имеет очень мало общего с мальчиком, которым он был. Улыбка была чуть ли не единственным, что он взял с собой из детства в зрелость.

Вдруг Амму захотелось, чтобы человек, которого Рахель заметила в толпе демонстрантов, действительно оказался Велюттой. Чтобы это был его флаг и его гневный кулак. Чтобы в нем под безукоризненной маской приветливости жил и дышал гнев против самодовольного, упорядоченного мира, вызывавшего ее ярость.

Ей захотелось, чтобы это был он.

Она подивилась телесной непринужденности его общения с Рахелью. Подивилась тому, что ее дочь, оказывается, обладала скрытым миром, из которого *она* была исключена напрочь. Осязательным миром улыбок и смеха, в котором ей, матери, не было места. Амму смутно почувствовала, что ее мысли приобрели нежно-лиловатый оттенок зависти. Она не позволила себе задумать-

ся о том, кому же она завидует. Мужчине или девочке. Или, может быть, самому этому миру сцепленных пальцев и внезапных улыбок.

Мужчина в тени каучуковых деревьев, на котором танцевали солнечные монетки, повернул голову, не опуская ее дочь на землю, и встретился взглядом с Амму. Столетия вместились в один неуловимый миг. История дала промашку, была поймана врасплох. Сброшена, как старая змеиная кожа. Отметины, рубцы, шрамы от былых войн и от времен, когда пятились назад, — все это упало с нею на землю. Осталась некая аура, свечение, вполне доступное восприятию, столь же зримое, как вода в реке или солнце в небе. Столь же ощутимое, как зной жаркого дня или подергивание рыбы на тугой леске. До того очевидное, что никто его не заметил.

В этот миг Велютта повернул голову и увидел то, чего не видел раньше. То, что не попадало в его поле зрения, ограниченное шорами истории.

Самое простое.

Например, то, что мать Рахели — женщина.

Что, когда она улыбается, на щеках у нее возникают упругие ямочки и разглаживаются лишь много позже того, как улыбка уходит из глаз. Что ее коричневые руки округлы, крепки и пре-

красны. Что плечи ее светятся, а глаза смотрят в какую-то даль. Что, даря ей подарки, ему больше не нужно держать их на раскрытой ладони, чтобы она могла брать их, не касаясь его кожи. Лодочки и шкатулки. Ветряные мельнички. И еще он увидел, что не всегда он должен быть дарителем, а она получателем подарков. Что у нее тоже кое-что для него припасено.

Знание вошло в него мягко и коротко, как лезвие ножа. Горячее и холодное разом. Это длилось ровно один миг.

Амму увидела, что он увидел. И отвернулась. Он тоже. Демоны истории вновь пришли по их душу. Чтобы облечь их в старую, покрытую шрамами кожу и отвести туда, где им надлежит быть. Где властвуют Законы Любви, определяющие, кого следует любить. И как. И насколько сильно.

Амму двинулась к веранде, где шел Спектакль. Она дрожала внутри.

Велютта посмотрел на Представителя М. Дрозофилу в его руках. Он поставил Рахель на землю. Он тоже дрожал.

— Батюшки! — сказал он, глядя на ее нелепое пенистое платье. — Какой наряд! Замуж выходим?

Руки Рахели метнулись ему под мышки и

принялись безжалостно его шекотать. *Иккили, иккили, иккили!* Защекочу!

— А я тебя вчера видела.

— Где? — Велютта сделал удивленный голос.

— Врун, — сказала Рахель. — Врун и притворщик. Видела, видела я тебя. Ты был коммунист, у тебя рубашка была и флаг. Ты посмотрел на меня и отвернулся.

– *Айо каштам,* — сказал Велютта. — Разве я мог бы так? Ну скажи мне, разве Велютта мог бы так? Это, наверно, был мой Потерявшийся Брат-Близнец.

— Что еще за Брат-Близнец?

— Урумбан-дурачок… Который в Кочине живет.

— Какой такой Урумбан? — Потом она увидела искорку. — Врун! Никакого у тебя нет близнеца! Не Урумбан это был! Это был *ты!*

Велютта засмеялся. У него был заразительный смех, которому он отдавался весь.

— Это не я был, — сказал он. — Я лежал больной в постели.

— А сам улыбаешься! — сказала Рахель. — Значит, это был ты. Улыбка означает: «Это был я».

— По-английски только, — возразил Велютта. — А на малаялам она означает: «Это был не я».

Так меня в школе учили.

Секунду-другую Рахель это переваривала. Потом опять принялась за щекотку. *Иккили, иккили, иккили!*

Все еще смеясь, Велютта стал вглядываться в Спектакль, чтобы увидеть Софи.

— Где же наша Софи-моль? Хочется посмотреть. Вы ее привезли, не забыли?

— Не смотри туда, — настойчиво сказала Рахель.

Она влезла на цементный парапет, отделявший каучуковые деревья от подъездной дорожки, и закрыла глаза Велютты ладонями.

— Почему? — спросил Велютта.

— Потому, — сказала Рахель. — Не хочу, чтобы ты смотрел.

— А где Эста-мон? — спросил Велютта, которого оседлал Представитель (скрывающийся под личиной Мушки Дрозофилы, скрывающейся под личиной Феи Аэропорта), обхватив ногами его талию и залепив ему глаза потными ладошками. — Что-то я его не видел.

— А мы его в Кочине продали, — беззаботно сказала Рахель. — Обменяли на пакет риса. И фонарик.

Жесткие кружевные цветы немнущегося пла-

тья впечатались в спину Велютты. Кружевные цветы с листом удачи на черной спине.

Когда Рахель стала всматриваться в Спектакль, ища Эсту, она увидела, что его нет.

А там, в Спектакле, появилась Кочу Мария — низенькая позади высокого торта.

— Вот он торт, — сказала она Маммачи чуть громковато.

Кочу Мария всегда обращалась к Маммачи чуть громковато, потому что, по ее мнению, кто плохо видит, у того и с другими органами чувств не все ладно.

– *Кандо,* Кочу Мария? — спросила Маммачи. — Видишь ты нашу Софи-моль?

– *Канду,* кочамма, — сказала Кочу Мария громко-громко. — Вижу.

Она улыбнулась Софи широко-широко. Она была одного с ней роста. Ниже, чем должна быть сирийская христианка, несмотря на все усилия.

— Личико беленькое, в маму, — сказала Кочу Мария.

— У нее нос Паппачи, — настаивала Маммачи.

— Насчет этого не скажу, но красотулечка она хоть куда, — прокричала Кочу Мария. — *Сундарикутти.* Ангелочек.

У ангелочков беленькие личики цвета пляжного песка, и одеваются они в брючки клеш.

У чертенят коричневые рожицы грязного цвета, одеваются они Феями Аэропорта, а на лбу у них видны выпуклости, которые могут превратиться в рога. На макушке фонтанчики, стянутые «токийской любовью». Они имеют скверную привычку читать задом наперед.

А в глазах у них, если вглядеться, можно увидеть лик сатаны.

Кочу Мария взяла обе руки Софи в свои кверху ладонями, поднесла их к лицу и сделала глубокий вдох.

— Что это она? — спросила Софи, чьи нежные лондонские ладошки утонули в мозолистых айеменемских лапах. — Кто она такая и зачем она нюхает мои руки?

— Она кухарка, — объяснил Чакко. — Это она так тебя целует.

— Целует? — переспросила Софи недоверчиво, но с интересом.

— Изумительно! — сказала Маргарет-кочамма. — Она принюхивается к тебе. А между мужчинами и женщинами такое тоже бывает?

Она покраснела, потому что вовсе не хотела произнести двусмысленность. Смущенная дыра

в мироздании, имеющая форму учительницы.

— Сплошь и рядом! — сказала Амму, и прозвучало это не иронической ремаркой вполголоса, как она хотела, а несколько громче. — Как, по-вашему, мы делаем детей?

Чакко не стал давать ей шлепка.

И она ему поэтому тоже.

Но Ожидающий Воздух сделался Злым.

— Тебе следует извиниться перед моей женой, Амму, — сказал Чакко с покровительственным, собственническим видом (рассчитывая, что Маргарет-кочамма не возразит: «Бывшей женой, Чакко!» — и не станет махать на него розой).

— Нет-нет-нет! — сказала Маргарет-кочамма. — Это я виновата! Я не хотела, чтобы так прозвучало… я просто хотела сказать… что нам немножко в диковинку…

— Это был совершенно законный вопрос, — сказал Чакко. — И я считаю, что Амму должна попросить прощения.

— Предлагаешь изображать дерьмовое занюханное племя, которое только что сподобилось быть открытым? — спросила Амму.

— Боже мой! — воскликнула Маргарет-кочамма.

В злой тишине Спектакля (на глазах у Синей

Армии в зеленом зное) Амму вернулась к «плимуту», вынула свой чемодан, громко хлопнула дверцей и прошла к себе в комнату, сияя плечами. Заставив всех удивляться, где это она набралась такого нахальства.

Сказать по правде, удивляться было чему.

Ведь Амму не так была воспитана, и книг таких не читала, и с людьми такими не водилась, чтобы набраться этого извне.

Из такого она была теста, вот и все.

Девочкой она очень быстро потеряла интерес к историям о Папе Медведе и Маме Медведице, которые ей давали читать. В ее версии Папа Медведь бил Маму Медведицу латунной вазой. Мама Медведица терпела побои с немой покорностью.

Подрастая, Амму смотрела, как ее отец плетет свою отвратительную сеть. С гостями он был само обаяние, сама светскость, а если они были европейцами, его манеры становились почти заискивающими — именно почти. Он жертвовал деньги сиротским приютам и лепрозориям. Он шлифовал свой показной облик утонченного, щедрого, добродетельного мужчины. Но наедине с женой и детьми он превращался в грубое чудовище, полное гнусных подозрений и зловредной хитрости. Он бил их и унижал, а потом им при-

ходилось выслушивать хвалебно-завистливые речи знакомых и родственников о том, какой замечательный им достался муж и отец.

Холодными зимними вечерами в Дели Амму, бывало, пряталась в окружавшей дом живой изгороди (не дай Бог увидят люди из Хороших Семей), потому что Паппачи пришел с работы не в духе, поколотил их с Маммачи и выставил обеих из дома.

В один такой вечер девятилетняя Амму, сидя с матерью в кустах, видела в освещенных окнах опрятную фигуру отца, переходящего из комнаты в комнату. Не удовлетворенный избиением жены и дочери (Чакко учился в школе-интернате), он рвал занавески, пинал ногами мебель, разнес вдребезги настольную лампу. Через час после того, как свет везде погас, маленькая Амму, несмотря на просьбы испуганной Маммачи, проникла в дом через вентиляционный люк, чтобы спасти свои новые резиновые сапожки, которых ей было жальче всего. Положив их в бумажный пакет, она прокралась с ними обратно в гостиную, и тут свет внезапно зажегся.

Паппачи все это время сидел в своем кресле-качалке красного дерева и бесшумно раскачивался в темноте. Поймав ее, он не стал ничего говорить.

Он выпорол ее хлыстом с рукояткой из слоновой кости (тем самым, что покоился у него на коленях на фотографии в его кабинете). Амму не плакала. Кончив порку, он велел ей принести из швейного ящика Маммачи фестонные ножницы. На глазах у Амму Королевский Энтомолог изрезал материнскими фестонными ножницами ее новые резиновые сапожки. Черная резина ложилась на пол узкими полосками. Ножницы деловито щелкали по-ножничному. Амму не обращала внимания на искаженное испугом лицо матери, появившееся в окне. Чтобы располосовать до конца ее любимые сапожки, отцу понадобилось десять минут. После того как последний завиток резины оказался на полу, Паппачи смотрел на Амму холодными, пустыми глазами и раскачивался, раскачивался, раскачивался. Окруженный хаосом перекрученных резиновых змей.

Став еще старше, Амму научилась жить бок о бок с этой холодной, расчетливой жестокостью. В ней развилось надменное ощущение несправедливости и безоглядное упрямство, какими Маленькое Существо приучается отвечать на многолетние обиды со стороны Большого Существа. Она не считала нужным делать что-либо во избежание ссор и столкновений. Создавалось

впечатление, что она их ищет — может быть, даже получает от них удовольствие.

— Ушла? — спросила Маммачи обступившую ее тишину.

— Ушла, — громко сказала Кочу Мария.

— А у вас в Индии можно говорить «дерьмовое»? — спросила Софи-моль.

— Кто так сказал? — спросил Чакко.

— Она сказала, — ответила Софи-моль. — Тетя Амму. Она сказала: «дерьмовое занюханное племя».

— Разрежь торт и раздай всем по куску, — сказала Маммачи.

— А у нас в Англии нельзя, — сказала Софи-моль, обращаясь к Чакко.

— Что нельзя? — спросил Чакко.

— Говорить слово на букву «д», — сказала Софи-моль.

Маммачи слепо вперилась в сияющий день.

— Все здесь? — спросила она.

– *Уувер,* кочамма, — отозвалась из зеленого зноя Синяя Армия. — Мы все здесь.

Вне Спектакля Рахель сказала Велютте:

— А мы-то не здесь, правда? Мы не Участвуем.

— Истинная Правда, — сказал Велютта. — Мы

не Участвуем. Но вот что я хочу знать: где наш Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон?

И от этих слов родился восторженный, задыхающийся танец, танец Румпельштильцхена[43] среди каучуковых деревьев:

О Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон!

Куда исчез, куда делся он?

Потом Румпельштильцхен уступил место Багряному Цветку:[44]

Ищут его на земле и в воде,

Французики ищут его везде.

Где он скрылся, куда он залег,

Наш Эстаппен – Багряный Цветок?

Кочу Мария вырезала из торта пробный кусок и дала Маммачи.

— Всем по такому, — распорядилась Маммачи, легонько ощупав кусок пальцами в рубиновых

---

[43] notes: 43

Румпельштильцхен — гном из немецких народных сказок.

[44] notes: 44

«Багряный цветок» («The Scarlet Pimpernel») — в одноименном романе английской писательницы баронессы Оркси (1865–1947) тайный союз неуловимых англичан, спасавших невинных людей от террора во время Великой французской революции.

кольцах, чтобы проверить, не слишком ли он велик.

Кочу Мария напилила торт дальше с великой возней и мазней, громко дыша ртом, словно резала жареного барашка. Куски она выкладывала на большой серебряный поднос. Маммачи заиграла на скрипке добропожаловательную мелодию. Приторную, шоколадную мелодию. Липко-сладкую, тягуче-коричневую. Шоколадные волны, лижущие шоколадный берег.

Посреди мелодии Чакко возвысил голос над шоколадными звуками.

— Мама! — сказал он (Читающим Вслух голосом). — Мама! Достаточно! Больше не надо!

Маммачи прекратила игру и повернула голову в сторону Чакко, держа в руке застывший смычок.

— Достаточно? Ты считаешь, достаточно, Чакко?

— Более чем достаточно, — сказал Чакко.

— Достаточно так достаточно, — пробормотала Маммачи сама себе. — Я, пожалуй, закончу. — Как будто это вдруг пришло в голову ей самой.

Она убрала инструмент в черный футляр, имеющий форму скрипки. Он закрылся, как чемодан. Замкнув в себе музыку.

Щелк. И щелк.

Маммачи опустила на место свои темные очки. Вновь плотно задернула шторы от светлого дня.

Амму вышла из дома и позвала Рахель.

— Рахель! У тебя мертвый час! Ешь быстрее свой торт и приходи!

Сердце Рахели упало. Она ненавидела Мертвый Час.

Амму вернулась в дом.

Велютта спустил Рахель на землю, и теперь она потерянно стояла у подъездной дорожки, на границе Спектакля, а на горизонте разрастался противный Мертвый Час.

— И перестань фамильярничать с этим человеком! — сказала Рахели Крошка-кочамма.

— Фамильярничать? — переспросила Маммачи. — Это о ком, Чакко? Кто фамильярничает?

— Рахель, — сказала Крошка-кочамма.

— Кому она фамильярничает?

— Не кому, а с кем, — поправил мать Чакко.

— Хорошо, с кем она фамильярничает? — спросила Маммачи.

— С твоим любимчиком Велюттой, с кем же еще, — сказала Крошка-кочамма, а потом, обращаясь к Чакко: — Спроси-ка его, где он вчера был. Хватит ходить вокруг да около.

— Не сейчас, — сказал Чакко.

— Что это значит — фамильярничает? — спросила Софи-моль свою мать, но та не ответила.

— Велютта? Он здесь? Велютта, ты здесь? — обратилась Маммачи к Дневному Пространству.

– *Уувер,* кочамма. — Он выступил из тени деревьев и вошел внутрь Спектакля.

— Ты выяснил, в чем дело? — спросила Маммачи.

— Прокладка нижнего клапана, — ответил Велютта. — Я заменил. Теперь все в исправности.

— Тогда запускай, — сказала Маммачи. — Бак совсем опустел.

— Этот человек нас погубит, — сказала Крошка-кочамма. Не потому, что была ясновидящей и ее вдруг посетило пророческое видение. Нет, просто из неприязни к нему. Все пропустили ее предсказание мимо ушей.

— Попомните мои слова, — сказала она с горечью.

— Видала какая? — сказала Кочу Мария, подойдя к Рахели с тортом на подносе. Это она про Софи-моль. — Будет взрослая, она будет наша кочамма, она нам жалованье повысит и всем

подарит нейлоновые сари для Онама.[45]

Кочу Мария коллекционировала сари, хотя никогда их не надевала и, скорее всего, не собиралась.

— Ну и что? — сказала Рахель. — Меня уже тут не будет, я в Африку уеду.

— В Африку? — фыркнула Кочу Мария. — В Африке сплошь комары и черномазые уроды.

— Это ты уродина, — сказала Рахель и добавила (по-английски): — Глупая коротышка!

— Что ты сказала? — с угрозой спросила Кочу Мария. — А молчи, не говори. Я и так знаю. Я слышала. Все скажу Маммачи. Погоди у меня!

Рахель повернулась и пошла к старому колодцу, где, если поискать, всегда можно было найти муравьев для расправы. Красные муравьи, когда она их давила, портили воздух, как люди. Кочу Мария двинулась за ней с тортом на подносе.

Рахель сказала, что не хочет этого дурацкого торта.

– *Кушумби,* — сказала Кочу Мария. — Завистница. Такие прямо в ад попадают.

— Это кто завистница?

— А не знаю. Сама себе ответь, — сказала Кочу

---

[45] notes: 45
Онам — праздник сбора урожая.

Мария: оборчатый фартук, ядовитое сердце.

Рахель надела свои солнечные очочки и посмотрела сквозь них на Спектакль. Все окрасилось в Злой цвет. Софи-моль, стоявшая между Маргарет-кочаммой и Чакко, выглядела так, словно напрашивалась на шлепок. Рахель обнаружила целую вереницу жирных муравьев. Они направлялись в церковь. Все до одного в красном. Их следовало убить прежде, чем они туда доберутся. Раздавить и размазать камнем. Вонючим муравьям в церковь хода нет.

Расставаясь с жизнью, муравьи слабо похрустывали. Словно эльф кушал поджаренный хлеб или сухое печенье.

Муравьиная Церковь будет стоять пустая, и Муравьиный Епископ напрасно будет ждать в смешном своем Муравьино-Епископском облачении, махая серебряным кадилом. Никто к нему не придет.

Прождав достаточно долго по Муравьиным часам, он смешно нахмурит свой Муравьино-Епископский лоб и печально покачает головой. Он поглядит на яркие Муравьиные витражи, а когда кончит на них глядеть, запрет церковь огромным ключом, и там станет темно. Потом пойдет домой к жене, и у них будет Муравьиный

Мертвый Час.

Софи-моль в шляпке и брючках клеш. Любимая с самого Начала, пошла наружу из Спектакля посмотреть, что Рахель делает позади колодца. Но Спектакль пошел вместе с ней. Она двигалась — он двигался. Она стояла — он стоял. За ней следовали умиленные улыбки. Кочу Мария убрала поднос с наклонного пути своей обожающей улыбки, когда Софи присела на корточки, ступив в приколодезную слякоть (желтые раструбы ее брючек стали при этом мокрыми и грязными).

Софи-моль обследовала вонючее побоище с врачебной отрешенностью. По каменной кладке была размазана красная плоть, две-три ножки еще слабо шевелились.

Кочу Мария смотрела крошками торта.

Умиленные Улыбки смотрели Умиленно.

Двоюродные Сестрички Вместе Играются.

Милые такие.

Одна пляжно-песчаная.

Другая коричневая.

Одна Любимая.

Другая Любимая Чуть Меньше.

— Давай одного в живых оставим, чтобы ему было одиноко, — предложила Софи-моль.

Рахель проигнорировала ее предложение и

убила всех. Потом — в своем пенистом Платье Для Аэропорта, панталончиках в тон (уже, правда, не абсолютно новеньких) и солнечных очочках не в тон — повернулась и убежала. Исчезла в зеленом зное.

Умиленные Улыбки не выпустили Софи-моль из своего прожекторного пятна, решив, видимо, что милые двоюродные сестрички играют в прятки, как часто делают милые двоюродные сестрички.

Глава 9
Госпожа Пиллей, госпожа Ипен, госпожа Раджагопалан

От древесной листвы вечер настоялся, как чай. Длинные гребенки пальмовых листьев темнели, понуро клонясь, на фоне муссонного неба. Оранжевое солнце скользило сквозь их неровные, бессильно цепляющие зубья.

Эскадрилья летучих мышей стремительно прочертила сумерки.

В заброшенном декоративном саду Рахель под взглядами ленивых гномиков и неприкаянного херувима присела на корточки у заросшего пруда и смотрела, как жабы прыгают с одного тинистого камня на другой. Прекрасно-Безобразные Жабы.

Склизкие. Бородавчатые. Горластые.

В них томятся несчастные нецелованные принцы. Пожива для змей, затаившихся в длинной июньской траве. Шуршание. Бросок. И некому больше прыгать с одного тинистого камня на другой. И некому больше ждать заветного поцелуя.

С того дня, как она приехала, это был первый вечер без дождя.

В Вашингтоне, думала Рахель, *я бы ехала сейчас на работу. Автобус. Уличные огни. Автомобильные выхлопы. Беглые пятна людского дыхания на пуленепробиваемом стекле моей кабинки. Звон монет, толкаемых ко мне на металлическом подносике. Денежный запах от моих пальцев. Пунктуальный пьяница с трезвыми глазами, появляющийся ровно в десять вечера: «Эй, ты! Чернявочка! Как насчет отсосать?»*

У нее было семьсот долларов денег. И золотой змеиноголовый браслет. Но Крошка-кочамма уже поинтересовалась, какие у нее планы. Сколько она еще пробудет, что собирается делать с Эстой.

Планов у нее не было никаких.

Ровно никаких.

И никакого Места Под Солнцем.

Она оглянулась на большую, темную, двускатную дыру в мироздании, имеющую форму дома, и вообразила, что живет в серебристой тарелке, которую установила на крыше Крошка-кочамма. На вид в тарелке должно было хватить места, чтобы устроить там жилье. Несомненно, она была больше, чем многие людские обиталища. Больше, к примеру, чем каморка Кочу Марии.

Если они с Эстой улягутся там спать, свернувшись вместе калачиками, как два зародыша в

неглубокой стальной матке, что будут делать Верзила Хоган и Вам Вам Бигелоу? Куда они подадутся, если тарелка будет занята? Скользнут ли через трубу в дом, на экран телевизора и в жизнь Крошки-кочаммы? Вылезут ли из старой печи с возгласом «Йеэээ!», во всей красе своих мышц и полосатых костюмов? А Тощие Люди — беженцы и жертвы голода — протиснутся ли они сквозь щели под дверьми? Просочится ли Геноцид между черепицами крыши?

Небо кишело телевидением. Надень специальные очки — и увидишь, как все это, кружась, опускается с неба среди летучих мышей и перелетных птиц: блондинки, войны, голод, деликатесы, государственные перевороты, фиксированные лаком прически. Новые образцы нагрудных украшений. Как все это, скользя, снижается над Айеменемом парашютным десантом. Образуя в небе подвижные фигуры. Колеса. Ветряные мельницы. Раскрывающиеся и закрывающиеся цветы.

Йеэээ!

Рахель опять стала смотреть на жаб.

Толстые. Желтые. С одного тинистого камня на другой. Она мягко тронула одну рукой. Та подняла веки. Со смешным самоуверенным видом.

Мигательная перепонка, вдруг вспомнила Рахель. Они с Эстой целый день однажды это твердили. Она, Эста и Софи-моль.

Перепонка
ерепонка
репонка
епонка
понка
онка
нка
ка
а

В тот день они были, все трое, одеты в сари (старые, разорванные напополам), и Эста был главным костюмером-гримером. Он сделал для Софи-моль складочки веером. Расправил как положено паллу — конец сари, перекидывающийся через плечо, — сначала Рахели, потом себе. У каждого был прилеплен бинди — налобный кружок. Стараясь смыть взятую у Амму без спроса краску для век, они только размазали ее вокруг глаз и в целом выглядели как три енотика, пытающихся выдать себя за индусских дам. Это было примерно через неделю после приезда Софи-моль. И примерно за неделю до ее смерти. Пока что она последовательно вела свою линию под неусып-

ным наблюдением близнецов и опрокинула все их ожидания.

Она:

а) сообщила Чакко, что, хотя он ее Биологический Отец, она любит его меньше, чем Джо (что оставляло его свободным для роли подставного отца некой пары жаждущих его внимания двуяйцевых персон, хоть он к этой роли и не стремился);

б) отвергла предложение Маммачи о том, чтобы ей заменить Эсту и Рахель на обоих привилегированных постах и стать заплетательницей ночной косички Маммачи и счетчицей ее родинок;

в) самое важное: проницательно уловила преобладающее настроение и не просто отвергла, а отвергла решительно и крайне грубо все заигрывания Крошки-кочаммы и все ее мелкие соблазнения.

Мало того — ей, как выяснилось, не были чужды человеческие слабости. Вернувшись однажды домой после тайной вылазки на берег реки (куда они Софи-моль не взяли), они обнаружили ее горько плачущей на самом верху Травяного Завитка в саду Крошки-кочаммы — ей, как она сама призналась, «было одиноко». На следующий день Эста и Рахель взяли ее с собой к Велютте.

Они пошли к нему, одетые в сари, неуклюже ковыляя по красной глине и высокой траве (*Перепонка ерепонка понка онка нка ка а*) и, придя, представились госпожой Пиллей, госпожой Ипен и госпожой Раджагопалан. Велютта представился сам и представил своего парализованного брата Куттаппена (который, правда, крепко спал). Он приветствовал их со всем возможным почтением. Он называл каждую из них кочаммой и угощал свежим кокосовым молоком. Он поговорил с ними о погоде. О реке. О том, что, по его мнению, кокосовые пальмы год от года становятся все более низкорослыми. Как и айеменемские дамы. Он представил их своей сердитой курице. Он показал им свой столярный инструмент и вырезал им из дерева три маленькие ложки.

Только теперь — много лет спустя — Рахель задним умом взрослого человека распознала изящество этого жеста. Зрелый мужчина принимает у себя дома троих енотиков, обращается с ними как с настоящими дамами. Инстинктивно подыгрывает им в их детском заговоре, боясь разрушить его взрослой беспечностью. Или слащавостью.

Ведь ничего не стоит погубить игру. Порвать ниточку мысли. Разбить фрагмент сновидения,

бережно носимый повсюду, как фарфоровая вещица.

Позволить этому быть, уберечь это, как Велютта, — дело куда более трудное.

За три дня до Ужаса он позволил им покрасить ему ногти красным лаком «кьютекс», который Амму купила и забраковала. В таком виде застала его История, когда явилась к ним на заднюю веранду. Столяр с лакированными ногтями. Отряд Прикасаемых Полицейских расхохотался от этого зрелища.

— Ну и ну, — сказал один. — Из этих, из бисексов, что ли?

Другой поднял башмак с забившейся в бороздку подошвы многоножкой. Темно-ржаво-коричневой. Многоногой.

С плеча херувима соскользнула последняя полоска света. Ночь проглотила сад. Целиком, не жуя. Как питон. В доме зажглось электричество.

Рахели виден был Эста, сидящий у себя в комнате на опрятной кровати. Он смотрел в темноту сквозь зарешеченное окно. Он не мог видеть Рахель, сидящую за окном во мраке, вглядывающуюся в свет.

Актер и актриса, безвыходно запертые в

невнятной пьесе без всякого намека на сюжет и содержание. Кое-как бредущие сквозь назначенные роли, баюкающие чью-то чужую печаль. Горюющие чьим-то чужим горем.

И почему-то неспособные сменить пьесу. Или купить по сходной цене какое-нибудь обычное успокоение у профессионального заклинателя бесов, который усадил бы обоих перед собой и сказал на один из многих ладов: «На вас нет греха. Грех — на других. Вы были малые дети. Вы не могли ни на что повлиять. Вы жертвы, а не преступники».

Это помогло бы, если бы они были способны на эту переправу. Если бы они могли, пусть на время, облечься в трагические одежды жертвенности. Если бы они сумели подобрать себе маску и проникнуться гневом из-за случившегося. Потребовать возмещения. Тогда, наверно, в конце концов им удалось бы заклясть мучившие их воспоминания.

Но гнев был им недоступен, и никакую маску нельзя было надеть на То, что каждый из них держал в липкой Той Руке, как воображаемый апельсин. Который некуда было положить. Который никому нельзя было передать, потому что он и так был не их. Им оставалось только его

держать. Бережно и вечно.

Эстаппен и Рахель знали, что преступников в тот день (не считая их самих) было несколько. Но жертва только одна. С ногтями кроваво-красного цвета и коричневым листом на спине, приносящим муссонные дожди, когда наступает их время.

Этот человек оставил по себе дыру в мироздании, сквозь которую расплавленным варом полился мрак. Сквозь которую за ним последовала их мать, даже не обернувшись помахать на прощание. Она оставила их кружиться сорванными с якоря кораблями во тьме, лишенной тверди.

Прошли часы, и взошедшая луна заставила угрюмого питона отрыгнуть проглоченное. Вновь возник сад. Вернулся целиком. И сидящая в нем Рахель.

Ветер подул с другой стороны и принес ей стук барабанов. Как дар. Как обещание сказки. *Когда-то в стародавние времена,* говорили они, *жили-были…*

Рахель подняла голову и вслушалась.

Тихими ночами звук ченды — большого барабана, — возвещавший представление катхакали, был слышен за километр от Айеменемского

храма.

Рахель пошла. Ее потянуло воспоминание о крутой крыше и белых стенах. О медных светильниках и темной, просмоленной древесине. Она пошла в надежде повидать старого слона, которого не убило током на шоссе Коттаям — Кочин. Завернув на кухню, она взяла там кокосовый орех.

Выходя, она заметила, что одна из сетчатых дверей фабрики сорвалась с петель и стояла, прислоненная к дверному косяку. Она отодвинула ее и вошла внутрь. Воздух был тяжелый от влаги, сырой настолько, что в нем впору было плавать рыбам.

Пол под ногами был скользким от муссонной плесени. Маленький летучий мышонок в тревоге метался между стропилами крыши.

Смутно видневшиеся во тьме приземистые цементные чаны для солений придавали фабрике вид склепа для цилиндрических мертвецов.

Бренные останки Райских солений и сладостей.

Здесь много лет назад, в день приезда Софимоль, Представитель Э. Пелвис мешал в котле алый джем и думал Две Думы. Здесь красный секрет, похожий на молодой плод манго, был

законсервирован, закрыт крышкой и убран.

Что верно, то верно. Все может перемениться в один день.

Глава 10
Река в лодке

Пока на передней веранде шел Спектакль под названием «Добро пожаловать домой» и Кочу Мария раздавала куски торта Синей Армии в зеленом зное, Представитель Э. Пелвис / Б. Цветок (с зачесом, в бежевых остроносых туфлях) толкнул сетчатую дверь и вошел в сырое, остро пахнущее помещение «Райских солений». Он двинулся мимо больших цементных чанов, желая найти место, чтобы там Подумать Думу. Сипуха Уза, которая жила на почерневшей балке около слухового окна (и время от времени вносила лепту в букет некоторых видов Райской продукции), смотрела, как он идет.

Мимо плавающих в рассоле желтых лаймов, которые время от времени надо прокалывать (а также мимо черных грибковых островов, похожих на оборчатые шампиньонные шляпки в прозрачном бульоне).

Мимо зеленых манго — вскрытых, начиненных куркумой с молотым перцем и связанных в гроздья бечевкой (их можно не трогать какое-то

время).

Мимо стеклянных, закупоренных пробками емкостей с уксусом.

Мимо полок с пектином и консервантами.

Мимо противней с горькой тыквой, на которых лежали ножи и цветные напальчники.

Мимо джутовых мешков, до отказа набитых чесноком и мелкими луковицами.

Мимо холмиков свежего зеленого зернистого перца.

Мимо кучи банановой кожуры на полу (свиньям на обед).

Мимо шкафа с наклейками.

Мимо клея.

Мимо клеевой кисточки.

Мимо железного корыта с пустыми банками, плавающими в мыльных пузырях.

Мимо лимонного сока.

Мимо виноградного сока.

И обратно.

В помещении было темно, свет попадал туда только сквозь мятую сетку дверей и — узким пыльным лучом, которого Уза не любила, — сквозь слуховое окно. От запаха уксуса и асафетиды у Эсты засвербело в носу, но это было привычное ощущение, оно ему даже нравилось.

Для Думы он выбрал себе место между стеной и закопченным железным котлом, где потихоньку остывал только что (незаконно) сваренный банановый джем.

Он был еще горячий, и на его клейкой алой поверхности медленно умирала пышная розовая пена. Маленькие банановые пузырьки тонули в джеме, и некому было прийти им на помощь.

В любую минуту мог войти Апельсиново-Лимонный Газировщик. Сядет на кочинско-коттаямский автобус — и вот вам, пожалуйста. Амму предложит ему чашку чаю. Или ананасовый сок. Со льдом. Желтый, в стакане.

Длинной железной мешалкой Эста принялся мешать густой свежеприготовленный джем.

Умирающая пена образовывала умирающие пенные фигуры.

Вот ворона с раздавленным крылом.

Вот скрюченная куриная лапа.

Вот Сипуха (не Уза) захлебывается в трясине джема.

Безысходное кружение.

И некому прийти на помощь.

Мешая густой джем, Эста думал Две Думы, и Думы эти были такие:

а) *С Кем Угодно может случиться Что Угодно;*

и поэтому нужно по-скаутски

б) *Быть Готовым.*

Подумав эти думы, Эста Один обрадовался своей смышлености.

Крутя горячий пурпурный джем, Эста сделался Волшебником Мешалки с испорченным зачесом и неровными зубками, а потом он сделался Ведьмами из «Макбета».

Пламя, прядай, клокочи! Прей, банан! Котел, урчи![46]

Амму разрешила Эсте переписать рецепт бананового джема Маммачи в новую тетрадь для рецептов, черную с белым корешком.

Остро сознавая ответственность задачи, Эста употребил оба своих лучших почерка.

Джем банановый

(его *старым* лучшим почерком)

> Размять спелые банананы. Залить водой до ровной поверхности и кипятить на очень сильном огне, пока плоды не станут мягкими.
>
> Отжать сок через крупноячеистую мар-

---

[46] notes: 46

Видоизмененная цитата из шекспировского «Макбета» (акт IV, сцена 1; перевод Ю. Корнеева).

лю.

Взвесить равное количество сахара и держать **наготове.**

Кипятить сок, пока он не станет ярко-красным и примерно половина не выпарится.

Подготовить желатин (пектин).

Пропорция 1:5.

Например: 4 чайные ложки пектина на 20 чайных ложек сахара.

Эста всегда представлял себе Пектин младшим из троих братьев с молотками. Пектин, Гектин и Авденаго. Он воображал, как они под дождем, в густеющих сумерках строят деревянный корабль. Словно сыновья Ноя. Он ясно видел их внутренним взором. Они спешили изо всех сил. Стук молотков отдавался глухим эхом под нависающим предгрозовым небом. А чуть поодаль, в джунглях, подсвеченные зловещим предгрозовым светом, выстроились парами животные:

Он-она.

Он-она.

Он-она.

Он-она.

А близнецам вход воспрещен.

Остаток рецепта был написан новым лучшим почерком Эсты. Угловатым, остреньким. С наклоном назад, словно буквам не хотелось соединяться в слова, а словам не хотелось составлять фразы:

Добавить пектин к концентрированному соку.

Кипятить в течении нескольких (5) минут на сильном равномерном огне.

Всыпать сахар. Кипятить до начала загустевания.

Медленно охладить.

Надеюс вам понравится этот рецепт.

Помимо ошибок в правописании, последняя строчка — *Надеюс вам понравится этот рецепт* — была единственным личным вкладом Эсты в первоначальный текст.

Постепенно, пока Эста мешал, банановый джем густел и остывал — и вдруг от его бежевых остроносых туфель сама собой поднялась Дума Номер Три.

Дума Номер Три была такая:

в) *Лодка.*

Лодка, чтобы переправиться через реку. На

Аккара — на Тот Берег. Лодка, чтобы перевезти Провизию. Спички. Одежду. Кастрюли и сковородки. Все нужное, чего не переправишь просто так, вплавь.

Пушок на руках у Эсты встал дыбом. Помешивание джема превратилось в лодочную греблю. Круг за кругом превратился во вперед-назад. Через клейкую алую реку. Фабрика наполнилась песней онамских лодочных гонок:[47] *Тай-тай-така-тай-тай-томе!*

Энда да корангача, чанди итра тенджаду?

(Эй, Обезьян, чего приуныл, чего такой красный зад?)

Пандиилъ тооран пояпполь нераккамуттири неранги няан.

(Я по Мадрасским сортирам ходил и жизни теперь не рад.)

Поверх не слишком учтивых вопросов и ответов лодочной песни в фабричное помещение влетел голос Рахели:

— Эста! Эста! Эста!

Эста не отвечал. Он шепотом вмешивал в густой джем припев лодочной песни:

---

[47] notes: 47

Во время праздника Онам проходят состязания по гребле на очень длинных лодках.

Тейоме
Титоме
Тарака
Титоме
Тем

Сетчатая дверь скрипнула, и вместе с солнцем внутрь заглянула Фея Аэропорта с зачатками рогов и в пластмассовых солнечных очочках с желтой оправой. Фабрика была окрашена в Злой цвет. Соленые лаймы были красны. Молодые манго были красны. Шкаф с наклейками был красен. Узкий пыльный луч, которого Уза не любила, был красен.

Сетчатая дверь закрылась.

Рахель стояла в пустом фабричном помещении со своим Фонтанчиком, стянутым «токийской любовью». До нее доносился голос монашенки, поющей лодочную песню. Чистое сопрано, плывущее над уксусными парами и чанами для солений.

Она увидела Эсту, склонившегося над алым варевом в черном котле.

— Чего тебе? — спросил Эста, не поднимая головы.

— Ничего, — сказала Рахель.

— Тогда зачем пришла?

Рахель ничего не ответила. Наступила короткая, враждебная тишина.

— Почему ты гребешь джем? — спросила Рахель.

— Индия — Свободная Страна, — ответил Эста. С этим не поспоришь.

Индия — Свободная Страна. Хочешь — делай соль.[48] Хочешь — греби джем.

В любую минуту в сетчатую дверь может войти Апельсиново-Лимонный Газировщик.

Запросто.

И Амму угостит его ананасовым соком. Со льдом.

Рахель села на бортик цементного чана (оборки пенистых, подшитых клеенкой кружев нежно окунулись в манговый рассол) и стала примерять резиновые напальчники. Три большие мухи яростно атаковали сетчатые двери, желая попасть внутрь. Сипуха Уза смотрела на пахнущую соленьями тишину, которая растекалась между близнецами, как синяк.

Пальцы у Рахели были: Желтый, Зеленый, Си-

[48] notes: 48

Намек на «Соляной марш», организованный Махатмой Ганди в 1930 г. в знак протеста против монополии английских колониальных властей на соль.

ний, Красный, Желтый.

Эста мешал джем.

Рахель встала, чтобы идти. Ей был положен Мертвый Час.

— Ты куда собралась?

— Так, кой-куда.

Рахель сняла новые пальцы и вернула себе свои старые, пальчного цвета. Не желтые, не зеленые, не синие, не красные. Не желтые.

— А я собираюсь на Аккара, — сказал Эста. Не поднимая головы. — В Исторический Дом.

Рахель остановилась и повернулась к нему, и на сердце у нее блеклая ночная бабочка с необычно густыми спинными волосками повела хищными крылышками.

Медленно расправила.

Медленно сложила.

— Почему? — спросила Рахель.

— Потому что с Кем Угодно может случиться Что Угодно, — ответил Эста. — И нужно Быть Готовым.

С этим не поспоришь.

К дому Кари Саибу никто теперь не ходил. Велья Папан говорил, что он был последним, кто к нему приближался. Он утверждал, что в доме нечисто. Он рассказал близнецам о своей встрече

с призраком Кари Саибу. Это случилось два года назад. Он переплыл реку, чтобы найти на той стороне мускатное дерево, набрать с него орехов и растолочь их со свежим чесноком в пасту для жены Челлы, умиравшей от туберкулеза. Вдруг он почуял сигарный дымок (запах он узнал мгновенно, потому что Паппачи курил тот же самый сорт). Велья Папан обернулся и метнул в запах серпом. Серп пригвоздил призрака к стволу каучукового дерева, и, если верить Велья Папану, он так там и стоит. Пригвожденный запах, сочащийся прозрачной янтарной кровью и молящий о сигаре.

Велья Папан не нашел там мускатного дерева, и ему пришлось купить себе новый серп. Но зато он мог гордиться тем, что его молниеносная реакция (хотя один глаз у него был заемный) и самообладание положили конец злобным шатаниям призрака-педофила.

Лишь бы только никто не поддался на его уловки и не освободил его, дав ему сигару.

О чем Велья Папан (знавший почти все на свете) не догадывался — это что дом Кари Саибу есть не что иное, как Исторический Дом (двери которого заперты, а окна открыты). Что в нем предки с запахом старых географических карт изо рта

и жесткими безжизненными ногтями на ногах шепчутся с ящерицами на стене. Что на задней веранде этого дома История будет диктовать свои условия и взыскивать долги. Что неплатеж поведет к тяжелым последствиям. Что в тот день, который История изберет для сведения счетов, Эста получит на хранение квитанцию за уплаченный Велюттой долг.

Велья Папан не имел понятия о том, что Кари Саибу и есть тот самый, кто берет в плен мечты и перекраивает их. Что он выковыривает их из душ у людей, случающихся поблизости, как дети выковыривают ягодки из пирога. Что самые лакомые для него мечты, которые ему слаще всего будет перекроить, — это нежные юные мечты одной двуяйцевой парочки.

Если бы только знал он, несчастный старый Велья Папан, что Исторический Дом сделает его своим посланцем, что именно *его* слезы запустят колеса Ужаса, — не расхаживал бы он тогда гоголем по айеменемскому базару, не хвастался бы тем, как переплыл реку, держа во рту серп (кислый вкус металла на языке). Как на секунду положил его на землю, встав на колени, чтобы смыть речной песок с заемного глаза (река иногда, особенно в дождливые месяцы, несла много

песчаной мути), — и вдруг почуял сигарный дымок. Как схватил серп, мгновенно обернулся и проткнул запах, навеки пригвоздив призрака к дереву. И все это — одним плавным, мощным движением.

А когда он наконец понял свою роль в Планах Истории, поздно было уже идти обратно по собственным следам. Он сам стер их с лица земли. Пятясь назад с веником в руке.

Тишина вновь облегла близнецов, заполонив помещение фабрики. Но на сей раз это была другая тишина. Тишина старой реки. Тишина Рыболовного Люда и русалок с восковыми лицами.

— Но коммунисты в призраков не верят, — сказал Эста, как будто не было никакой паузы, как будто все это время они обсуждали возможные решения проблемы призраков. Их разговоры были как горные ручейки: они то журчали поверху, то уходили под камни. Иногда они были слышны со стороны. А иногда нет.

— Мы что, коммунистами станем? — спросила Рахель.

— Может быть, и придется.

Практичный наш Эста.

Дожевывающие торт голоса и приближающиеся шаги Синей Армии заставили товарищей

закрыть секрет крышкой.

Он был законсервирован, закрыт крышкой и убран. Красный, похожий на молодой плод манго секрет в чане. Под контролем Сипухи.

Была выработана и утверждена Красная Программа Действий:

Товарищу Рахели — идти на Мертвый Час и лежать, бодрствуя, до тех пор, пока Амму не заснет.

Товарищу Эсте — разыскать флаг (которым заставили помахать Крошку-кочамму) и дожидаться товарища Рахель у реки, где им обоим надлежит быть

б) *готовыми к тому, чтобы быть готовыми к тому, чтобы быть готовыми.*

Детское немнущееся фейное платьице (частично просоленное) одиноко стояло само собой посреди сумрачной спальни Амму.

Снаружи Воздух был Чуток, Ярок и Жарок. Рахель лежала рядом с Амму в панталончиках для аэропорта в тон платью и напряженно бодрствовала. Ей виден был отпечатавшийся на щеке Амму цветочный узор с вышитого синим крестиком покрывала. Ей слышен был вышитый синим крестиком день.

Медленный потолочный вентилятор. Солнце за шторами.

Желтая оса, зло бьющаяся в стекло с желтым своим осиным дзззз.

Недоверчиво смаргивающая ящерица.

Высоко ступающие цыплята во дворе.

Потрескиванье солнца, сушащего белье. Жестко морщащего белые простыни. Прожаривающего накрахмаленные сари. Кремовые с золотом.

Красные муравьи на желтых камнях.

Жаркая корова, которой жарко. *Ммууу*. Вдалеке.

И запах хитрого английского призрака, пригвожденного серпом к стволу каучукового дерева и вежливенько выпрашивающего сигару.

— Эммм… можно вас на минуточку? Не найдется ли у вас случайно… эммм… одной сигарки, всего одной?

Добреньким учительским голоском.

Боже мой!

И дожидающийся ее Эста. У реки. Под мангустаном, который привез из Мандалая и посадил преподобный И. Джон Айп.

А на чем же там Эста сидит?

На чем они всегда там сидят под мангустаном. На чем-то сером и старом. Покрытом лишайником и мхом, обросшем по кругу папоротником. На том, что хочет присвоить земля. Не на бревне.

Не на камне…

Еще не додумав мысль, Рахель уже встала и побежала.

Через кухню, мимо крепко спящей Кочу Марии. Толстоморщинистой, похожей на случайно завалившегося здесь носорога в оборчатом фартуке.

Мимо фабрики.

Босиком неуклюже сквозь зеленый зной, а следом — желтая оса.

Товарищ Эста был на месте. Под мангустаном. Перед ним был красный флаг, воткнутый в землю. Передвижная Республика. Близнецовая Революция с Зачесом.

А на чем же он там сидел?

На чем-то замшелом, обросшем папоротником.

Постучать — отзовется гулко, как пустое внутри.

Тишина пикировала, и взмывала, и ныряла, и петляла восьмерками.

Зависшие на солнце стрекозы в брильянтах были похожи на пронзительные детские голоса.

Пальцы палечного цвета сражались с папоротниками, отодвигали камни, расчищали край. Потом потная борьба за щель, чтобы подлезть рукой, ухватиться. Потом Три, Четыре и…

Все может перемениться в один день.

Да, это была лодка. Маленькое деревянное суденышко — *валлом.*

Лодка, на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель.

Лодка, на которой Амму стала плавать на ту сторону реки. Чтобы любить по ночам человека, которого ее дети любили днем.

Лодка была такая старая, что еще чуть-чуть — и пустила бы корни.

Старое серое лодочное растение с лодочными цветами и лодочными плодами. А под ним — пятно увядшей травы в форме лодки. И подлодочный мирок — семенящий, разбегающийся по сторонам.

Темный, сухой и прохладный. Лишенный крова теперь. И слепой.

Белые термиты по пути на работу.

Белые божьи коровки по пути домой.

Белые жуки, зарывающиеся в землю от света.

Белые кузнечики со скрипочками белого дерева.

Белая печальная музыка.

Белая оса. Неживая.

Белохрупкая змеиная кожа, сохранившаяся в темноте, рассыпалась на солнце.

Но сгодится ли он им, этот маленький валлом?

Не слишком ли он старый? Не слишком ли мертвый? Одолеет ли он путь до Аккара?

Двуяйцевые близнецы посмотрели на свою реку.

Миначал.

Серо-зеленая. В ней рыбы. В ней деревья и небо. А ночами в ней расколотая желтая луна.

Когда Паппачи был еще мальчиком, в грозу туда рухнул старый тамаринд. Он был в реке и сейчас. Гладкий ствол без коры, до черноты напитавшийся зеленой водой. Неплавучий плавник.

На первую треть своей ширины река была их другом. Пока не начиналась Самая Глубина. Близнецам были привычны скользкие каменные ступени (числом тринадцать), после которых начинался вязкий ил. Им были привычны водоросли, которые во второй половине дня пригоняло из комаракомских лагун. Им была привычна мелкая рыбешка. Плоская бестолковая паллати, серебристый параль, хитрый усатый кури, изредка каримин — «черная рыба».

Здесь Чакко научил их плавать (плескаться без поддержки вокруг обширного дядиного живота). Здесь им открылось вольное блаженство подводного выпускания газов.

Здесь они научились удить рыбу. Насаживать

свивающихся кольцами лиловых земляных червей на крючки удочек, которые Велютта делал им из гибких стеблей желтого бамбука.

Здесь они усвоили науку Молчания (подобно детям Рыболовного Люда) и овладели сверкающим языком стрекоз.

Здесь они научились Ждать. И Смотреть. И думать думы, не говоря о них вслух. И молниеносно двигаться, когда дольчатое желтое удилище вдруг выгнется пружинистой дугой.

Так что первую треть русла они знали хорошо. Остальные две трети — хуже.

На второй трети была Самая Глубина. Течение там было быстрое и отчетливое (в сторону океана во время отлива, в обратную сторону во время прилива, когда подпирала вода из лагун).

Последняя треть снова была мелкая. С мутной, бурой водой. Сплошь водоросли, стремительные угри и медленный ил, ползущий между пальцами ног, как зубная паста.

Близнецы плавали теперь, как утки, и под надзором Чакко несколько раз уже переплывали реку туда и обратно — возвращались полузадохшиеся и косоглазые от напряжения, сжимая в руках камешки или веточки с Того Берега как вещественные доказательства победы. Но, как

бы то ни было, середина почтенной реки и Тот ее Берег — это были не те места, где детям можно Болтаться, Плескаться и Учиться Новому. Эста и Рахель относились ко второй трети и третьей трети Миначала с уважением, которого эта река заслуживала. Тем не менее переплыть ее труда не составляло. Переправиться на лодке с Вещами (нужными для того, чтобы быть б) *готовыми к тому, чтобы быть готовыми к тому, чтобы быть готовыми)* — дело другое.

Они посмотрели через реку глазами Старой Лодки. С того места, где они стояли, Исторический Дом не был виден. Это был всего лишь сгусток тьмы за болотом, в сердце заброшенной каучуковой плантации, откуда, то взбухая, то опадая, шел стрекот сверчков.

Эста и Рахель подняли нетяжелую лодку и снесли к воде. Вид у нее был удивленный, как у седой рыбы, всплывшей из глубины. Много лет жившей без солнца. Лодку надо было отскоблить и почистить, и, может быть, ничего больше.

Два счастливых сердца взвились в лазурное небо цветными воздушными змеями. Но тут же с медленным зеленым шепотом река (в которой рыбы, в которой деревья и небо) заструилась внутрь.

Старая лодка тихо затонула и легла на шестую ступеньку.

И двуяйцовые сердца затонули следом и легли ступенькой выше.

Глубоководные рыбы прикрыли рты плавниками и бесшумно засмеялись, глядя на потеху.

Белая лодочная паучиха всплыла вместе с рекой в лодке, недолго поборолась и утонула. Ее белая яйцевая камера преждевременно лопнула, и сотня крохотных паучков (слишком легких, чтобы утонуть, слишком маленьких, чтобы плыть) усеяла зеленую речную гладь прежде, чем отправиться с водой к океану. А там — на Мадагаскар, чтобы основать новый род Малаяльских Плавучих Пауков.

Чуть погодя близнецы одновременно, будто сговорившись (хотя они не сговаривались), начали мыть лодку в реке. Счищать паутину, землю, мох и лишайник. Покончив с этим, они перевернули суденышко и водрузили себе на головы. Как общую шляпу, с которой капало. Эста выдрал из земли красный флаг.

Маленькая процессия (флаг, оса и лодка-на-ножках) двинулась через кусты привычной тропинкой. Минуя крапивные заросли, обходя стороной знакомые рытвины и муравейники.

Она обогнула глубокий обрывистый карьер, где раньше добывали латерит, а теперь был застойный пруд с отвесными оранжевыми берегами и густой, вязкой водой, покрытой слоем ярко-зеленой тины. Предательская изумрудная лужайка, где плодились комары и жирели рыбы, которых невозможно было поймать.

Тропинка, шедшая вдоль реки, выводила к небольшой травянистой поляне, плотно окруженной деревьями — кокосовыми пальмами, орехом кешью, манго, билимби. На краю поляны, спиной к реке, стояла низенькая хижина с обмазанными глиной стенами из оранжевого латерита и крышей из пальмовых листьев, которая свисала чуть не до самой земли, словно прислушиваясь к ее тайному шепоту. Приземистые стены хижины были одного цвета с почвой, на которой она стояла, и, казалось, выросли из посаженного в эту почву строительного семени — сначала вертикальные земляные ребра, потом все остальное. В маленьком переднем дворике, обнесенном плетнем из пальмовых листьев, росли три лохматых банана.

Лодка-на-ножках подошла к хижине. На стене у двери висела незажженная масляная лампа, и позади нее кусок стены был черный от сажи. Дверь

была приоткрыта. Внутри было темно. На пороге показалась черная курица. Потом вернулась в хижину, совершенно безразличная к лодочным посещениям.

Велютты дома не было. Велья Папана тоже. Но кто-то все-таки был.

Из хижины вылетал мужской голос и отдавался одиноким эхом в кругу поляны.

Голос все время выкрикивал одно и то же, от раза к разу переходя в более высокий, более истерический регистр. Это было обращение к гуайяве, грозившей уронить свой переспелый плод и перепачкать землю:

Па пера-пера-пера-перакка

(Госпожа гугга-гуг-гуг-гуайява,)

Энда парамбиль тоораллей.

(Не надо гадить здесь у меня.)

Четенде парамбиль тоорикко,

(Можешь гадить по соседству, у моего брата,)

Па пера-пера-пера-перакка.

(Госпожа гугга-гуг-гуг-гуайява.)

Кричал Куттаппен, старший брат Велютты. Ниже пояса он был парализован. День за днем,

месяц за месяцем, пока брат был в отлучке, а отец работал, Куттаппен лежал на спине и смотрел, как его молодость, фланируя, идет себе мимо, даже не останавливаясь, чтобы поздороваться с ним. Дни напролет он лежал, слушая тишину плотно стоящих деревьев, в обществе одной лишь высокомерной черной курицы. Он тосковал по Челле, своей матери, которая умерла в том же углу комнаты, где лежал теперь он. Она умерла кашляющей, харкающей, мучительной, мокротной смертью. Куттаппен помнил, что ступни ее умерли задолго до того, как она умерла вся. Он видел тогда, что кожа на них сделалась серой и безжизненной. В страхе он смотрел, как смерть медленно поднимается по ее телу. Теперь Куттаппен бдительно, с возрастающим ужасом следил за своими собственными онемелыми ногами. Время от времени он с надеждой тыкал в них палкой, которая стояла у него в углу на случай, если в дом заползет змея. Ноги у него совсем ничего не чувствовали, и только зрение убеждало его в том, что они по-прежнему соединены с телом и по-прежнему принадлежат ему.

После смерти Челлы его переместили в ее угол, бывший в представлении Куттаппена тем углом, который Смерть облюбовала для своих

смертных дел. Один угол для стряпни, один для одежды, один для скатанных постелей, один для умирания.

Он размышлял о том, долго ли ему предстоит умирать и что делают с остальными углами люди, у которых в доме их больше, чем четыре. Значит, у них есть выбор, в каком углу умирать?

Он предполагал — и не без основания, — что после смерти матери он теперь первый на очереди. Он увидит, что ошибся. Скоро увидит. Очень скоро.

Иногда (по привычке, от тоски по Челле) Куттаппен кашлял, подражая материнскому кашлю, и верхняя часть его тела дергалась, как только что пойманная рыба. Нижняя часть его тела лежала как свинцовая, словно она принадлежала кому-то другому. Какому-то мертвецу, чей дух был уловлен и не мог высвободиться.

В отличие от Велютты, Куттаппен был хороший, спокойный параван. Он не умел ни читать, ни писать. Он лежал на своей жесткой постели, и сыпавшаяся сверху труха смешивалась с его потом. Иногда вместе с ней падали муравьи и другие насекомые. В скверные дни оранжевые стены брались за руки, наклонялись над ним, вглядывались в него, как зловредные врачи, и

неспешно, неумолимо выдавливали воздух у него из груди, заставляя его кричать. Порой они вдруг отпускали его по своей прихоти, и комната, где он лежал в ничтожестве, раздавалась во все стороны, становилась устрашающе огромной. Тогда он тоже кричал.

Безумие маячило совсем рядом, как услужливый официант в дорогом ресторане (зажечь сигаретку, наполнить бокал). Куттаппен с завистью думал о сумасшедших, которые могут ходить. У него не было сомнений в выгодности сделки: душевное здоровье в обмен на ходячие ноги.

Близнецы со стуком опустили лодку на землю, и голос в хижине мигом умолк.

Куттаппен никого не ждал.

Эста и Рахель толкнули дверь и вошли. Даже им, таким маленьким, пришлось немножко нагнуться, чтобы не удариться о притолоку. Оса осталась ждать снаружи и села на лампу.

— Это мы.

В комнате было темно и чисто. Она пахла рыбным карри и древесным дымом. Ко всем предметам, как легкая лихорадка, прилип зной. Но глиняный пол под босыми ногами Рахели был прохладен. Постели Велютты и Велья Папана

были скатаны и прислонены к стене. На веревке сохло белье. На низко повешенной деревянной кухонной полке теснились терракотовые горшки с крышками, половники из кокосовой скорлупы и три обколотые глазированные тарелки с темно-синими ободками. Взрослый человек мог стоять выпрямившись посреди комнаты, но ближе к стенам — уже нет. Другая низенькая дверь вела на задний двор, где тоже росли бананы, а за ними сквозь листву поблескивала река. На заднем дворе была столярная мастерская.

Здесь не было ни ключей, ни запирающихся шкафчиков.

Черная курица вышла в заднюю дверь и принялась бесцельно скрести землю двора, где ветер шелестел светлыми кудрями стружек. Если судить по ее виду, ее тут держали на железной диете — крючки, гвозди, шурупы и старые гайки.

– *Айо!*[49] *Мон! Моль!* Вы что думаете? Что Куттаппен уже не человек, а чурка? — произнес затрудненный, обескровленный голос.

Глаза близнецов не сразу привыкли к темноте. Постепенно она рассеялась, и возник Куттаппен на своем ложе — блестящий от пота джинн

---

[49] notes: 49
Эй! (малаялам).

полумрака. Белки его глаз были темно-желтые. Подошвы его ступней (мягкие от долгого лежания) торчали из-под простыни, укрывавшей ноги. Даже и теперь они были бледно-оранжевые из-за многолетнего хождения по красной глине. На щиколотках у него были серые мозоли от канатов, которыми параваны обвязывают ноги, когда залезают на кокосовые пальмы.

На стене за его головой висел календарь с благостным Иисусом, у которого были волосы мышиного цвета, помада на губах, румяна на щеках и яркое, украшенное драгоценными камнями сердце, пылающее сквозь одежду. Нижняя часть календаря (где были дни) походила на многослойную юбку. Иисус в мини. Двенадцать юбочек на двенадцать месяцев в году. Ни один не оторван.

Были здесь и другие вещи из Айеменемского Дома — одни подаренные, другие извлеченные из мусорного ящика. Богатые вещи в бедной лачуге. Неработающие часы, жестяное ведро с цветочным рисунком для ненужных бумаг. Старые сапоги Паппачи для верховой езды (коричневые, с зеленой плесенью), из которых так и не были вынуты сапожные колодки. Жестянки из-под печенья с роскошными изображениями английских замков и дам с турнюрами и пышны-

ми прическами.

Рядом с Иисусом висела цветная картинка, которую Крошка-кочамма забраковала из-за масляного пятна. Она изображала пишущую письмо светловолосую девочку со слезами на щечках. Подпись гласила: «Пишу, чтобы сказать: тоскую о тебе». Казалось, что ее только постригли и это ее срезанные кудряшки шелестят у Велютты на заднем дворе.

Прозрачная пластиковая трубка опускалась из-под застиранной простыни, прикрывавшей Куттаппена, к бутылке с желтой жидкостью, в которой играл свет, проникавший в дверь узким лучом, и которая дала ответ на возникший было у Рахели вопрос. Стальным стаканчиком она зачерпнула воды из глиняного кувшина и принесла ему. Она неплохо тут ориентировалась. Куттаппен поднял голову и стал пить. Часть воды стекла по его подбородку.

Близнецы сели на корточки, как заядлые взрослые сплетники с айеменемского базара.

Какое-то время все молчали. Куттаппен погрузился в неподвижность, близнецы — в лодочные мысли.

— Приехала дочка Чакко-саара? — спросил наконец Куттаппен.

— Наверно, — лаконично ответила Рахель.

— Где она?

— Не знаю. Мало ли где? Нам-то какое дело?

— А поглядеть приведете?

— Не получится, — сказала Рахель.

— Почему?

— Ей велено дома сидеть. Она очень нежная. Испачкается — умрет.

— Вот оно что.

— Сюда ее не отпустят… да и ничего такого в ней нет, — заверила Рахель Куттаппена. — Волосы, ноги, зубы — ну, как у всех… только вот довольно высокая. — Это была единственная уступка, на которую она пошла.

— И все? — спросил Куттаппен, быстро сообразив что к чему. — Тогда зачем она нам тут нужна?

— Низачем, — сказала Рахель.

— Куттаппа, если валлом течет, его очень трудно починить? — спросил Эста.

— Навряд ли очень, — сказал Куттаппен. — Смотря как там и что. А чей это валлом течет?

— Наш, мы его нашли. Хочешь посмотреть?

Они вышли и принесли лежачему седую лодку на обследование. Подняли и стали держать над ним, как крышу. С лодки на него немножко

капало.

— Сперва найти, где течет, — сказал Куттаппен. — Потом подконопатить.

— Потом шкуркой, — сказал Эста. — Потом лоск навести.

— Потом весла, — сказала Рахель.

— Потом весла, — согласился Эста.

— Потом в путь-дорогу, — сказала Рахель.

— Куда это? — спросил Куттаппен.

— Так, покататься просто, — непринужденно ответил Эста.

— Только без баловства, — сказал Куттаппен. — Эта река, она притворщица.

— Кем она притворяется? — спросила Рахель.

— Кем? Да маленькой такой богомольной *аммума*, бабусей, тихонькой да чистенькой… На завтрак рисовые лепешки, на обед рыбка да жиденькая кашка. Я, мол, по сторонам не гляжу, в чужие дела не лезу.

— А на самом деле?

— А на самом деле дикая она, вот какая… Мне по ночам слышно — шумит — бежит под луной, торопится куда-то. С ней шутки плохи.

— А что она на самом деле ест?

— Что ест? Э… Мясо кусками… и… — Он задумался, подыскивая для зловредной реки какую-

нибудь английскую пищу.

— Ананасы кружочками, — подсказала Рахель.

— Вот-вот! Ананасы кружочками и мясо кусками. И виски хлещет вовсю.

— И бренди.

— Да, и бренди.

— И по сторонам глядит.

— Еще как.

— И в чужие дела лезет…

Эстаппен принес из мастерской Велютты несколько деревянных чурбаков, и они подложили их под днище лодки, которая иначе раскачивалась на неровном глиняном полу. Он дал Рахели кухонный половник из отшлифованной кокосовой скорлупы, в которую была продета деревянная ручка.

Близнецы забрались в валлом и погребли через неспокойные воды.

С залихватским *тай-тай-така-тай-тай-томе.* Под взглядом Иисуса, украшенного драгоценными камнями.

Он ходил по водам. Хорошо. Но мог ли Он плыть по суше?

В панталончиках в тон и темных очочках? С Божьим фонтанчиком, стянутым «токийской любовью»? В остроносых туфлях, с зачесом? Хватило

бы Ему воображения?

* * *

Велютта вернулся посмотреть, не нужно ли Куттаппену чего-нибудь. Он был еще довольно далеко, когда до него донеслось громкое пение. Детские голоса, восторженно напирающие на физиологию:

Эй, Обезьян, чего приуныл,
Чего такой красный ЗАД?
Я по Мадрасским СОРТИРАМ ходил
И жизни теперь не рад!

На несколько счастливых мгновений Апельсиново-Лимонный Газировщик убрал свою желтую ухмылку и убрался сам. Страх пошел ко дну и утих под толщей воды. Уснул чутким собачьим сном. Готовый, чуть что, встрепенуться и все омрачить.

Велютта улыбнулся, увидев у двери хижины марксистский флаг, яркий, как дерево в цвету. Чтобы войти внутрь, он должен был сильно пригнуться. Эскимос тропиков. Когда он увидел детей, внутри у него что-то стиснулось. Он не мог понять, в чем дело. Он видел их каждый день.

Он любил их, не сознавая этого. Но вдруг все стало по-другому. Именно теперь. После того, как История дала такую промашку. Никогда раньше кулак не стискивался у него внутри.

Ее дети, шепнулось ему сумасшедше.

Ее глаза, *ее* рот. *Ее* зубы

Ее светящаяся мягкая кожа.

Он с досадой выдворил эту мысль. Она вернулась и села у самого его черепа. Как собака.

— Ха! — сказал он юным гостям. — И что это, позвольте спросить, за Рыболовный Люд здесь собрался?

— Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон. Мистер и миссис Радывидетьвас. Рахель, словно руку для пожатия, протянула ему половник. Он пожал его. Потом таким же манером поздоровался с Эстой.

— А куда, позвольте спросить, направляется это судно?

— В Африку! — закричала Рахель.

— Не голоси так, — сказал Эста.

Велютта обошел вокруг лодки. Они объяснили ему, где ее нашли.

— Это значит, она ничья, — сказала Рахель с некоторым сомнением: ей вдруг подумалось, что, может быть, она чья-то. — Нам сообщить в

полицию или не надо?

— Не будь дурочкой, — сказал Эста.

Велютта постучал по борту лодки, потом поскоблил его ногтем.

— Хорошее дерево, — сказал он.

— Тонет, — сказал Эста. — Протекает.

— Почините ее нам, пожалуйста, Велюттапаппичачен Питер-мон, — попросила Рахель.

— Посмотрим, — сказал Велютта. — Я не хочу, чтобы вы играли на воде в глупые игры.

— Мы не будем. Честно, не будем. Мы без тебя никуда не поплывем.

— Сначала надо течь найти… — сказал Велютта.

— Потом законопатить! — крикнули близнецы, как будто это была вторая строчка всем известного стишка.

— А долго это? — спросил Эста.

— Дня хватит, — ответил Велютта.

— Дня?! Я думал, ты скажешь — месяц!

Ошалев от радости, Эста вспрыгнул на Велютту, обхватил его талию ногами и расцеловал его.

Шкурка была разорвана на две равные части, и близнецы взялись за работу с жуткой сосредоточенностью, забыв обо всем на свете.

Лодочная пыль поднялась в комнате столбом,

запорошила брови и волосы. Куттаппена она осенила облаком, Иисуса — фимиамом. Велютте пришлось забрать у них шкурку.

— Не здесь, — сказал он твердо. — Снаружи.

Он подхватил лодку и вынес ее за дверь. Близнецы двинулись следом, не спуская со своей лодки сосредоточенных глаз, похожие на голодных щенков, ожидающих кормежки.

Велютта поставил лодку на чурбаки. Лодку, на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель. Он научил их двигаться вдоль волокон дерева. Они стали шкурить. Когда он пошел в хижину, черная курица последовала за ним, не намеренная находиться там, где находилась лодка.

Велютта намочил тонкое хлопчатобумажное полотенце в глиняном горшке с водой. Потом выжал из него воду (яростно, как будто это была не вода, а непрошеная мысль) и дал Куттаппену, чтобы тот обтер себе лицо и шею.

— Сказали они что-нибудь? — спросил Куттаппен. — Про демонстрацию.

— Нет, — сказал Велютта. — Пока нет. Еще скажут. Они все знают.

— Точно?

Велютта пожал плечами, взял у него полотенце

и выстирал. Отполоскал. Выколотил. Отжал. Как будто это был его дурацкий непослушный мозг.

Он попытался возненавидеть ее.

Одна из них, сказал он себе. *Одна из них, больше ничего.*

Без толку.

Когда она улыбается, у нее упругие ямочки на щеках. Ее глаза всегда смотрят в какую-то даль.

Безумие проскользнуло сквозь щелочку в Истории. Хватило одного мгновения.

Через сорок минут самозабвенной работы Рахель вспомнила про Мертвый Час. Вспомнила и побежала. Сквозь зной зеленого дня, спотыкаясь. Следом за ней — брат, следом — желтая оса.

Она молилась о том, чтобы Амму еще поспала и не узнала, что ее не было на месте.

Глава 11
Бог Мелочей

В тот день Амму, когда она всплывала из глубин дневного сна, пригрезился однорукий приветливый человек, державший ее близко к себе при свете масляной лампы. У него не было второй руки, чтобы отгонять тени, плясавшие вокруг него на полу.

Тени, которые он один мог видеть.

Мышцы у него на животе были напряжены и рельефны, как дольки на плитке шоколада.

Он держал ее близко к себе при свете масляной лампы, и кожа его блестела, как дорогое полированное дерево.

Он мог делать только что-то одно.

Держал ее — целовать не мог. Целовал ее — видеть не мог. Видел ее — осязать не мог.

Она могла бы легонько потрогать пальцами его гладкую кожу и почувствовать, как по ней бегут мурашки. Она могла бы позволить пальцам скользнуть вниз по его худощавому животу. Беспечно вниз по рельефным шоколадным кряжам. Ведя по его телу линии пупырчатой гусиной кожи

— как мелом плашмя по школьной доске, как порывом ветра по рисовому полю, как реактивным самолетиком по голубому церковному небу. Она могла бы с легкостью это сделать, но не стала. Он тоже мог бы ее потрогать. Но и он не стал, потому что во мраке, среди теней, куда почти не доходил свет масляной лампы, по кругу стояли складные металлические стулья, а на стульях сидели люди в раскосых темных очках со стразами, сидели и смотрели. У всех под подбородками были полированные скрипки, и все смычки замерли под одинаковым углом. Все закинули ногу на ногу, левую на правую, и все трясли левой ногой.

У одних были газеты. У других нет. Одни выдували слюну пузырями. Другие нет. Но у всех на стеклах очков мерцали отражения масляной лампы.

А дальше, за кругом складных стульев, был морской берег, заваленный осколками бутылок голубого стекла. Молчаливые волны выбрасывали и разбивали все новые голубые бутылки, а куски старых уволакивали обратным потоком. Слышалось зазубренное звяканье стекла о стекло. На скале, выхваченной из моря лиловым клином света, лежало плетеное кресло-качалка красного дерева. Разнесенное в щепу.

Море было черное, пена — рвотно-зеленая.

Рыбы глотали битое стекло.

Ночь облокотилась на воду; падающие звезды отскакивали от ломких водяных чешуек.

Небо освещали ночные бабочки. Луны не было.

Он мог плыть, гребя одной рукой. Она — двумя.

Кожа у него была солоноватая. У нее — тоже.

Он не оставлял ни следов на песке, ни ряби на воде, ни отражений в зеркалах.

Она могла бы потрогать его пальцами, но не стала. Они просто стояли близко, вплотную.

Неподвижно.

Соприкасаясь кожей.

Цветной рассыпчатый ветерок взметнул ей волосы и окутал ими, словно волнистой шалью, его безрукое плечо, кончавшееся внезапно, как утес.

Вдруг возникла тощая красная корова с костлявым тазом и поплыла прямо в море, не окуная рогов и не оглядываясь назад.

* * *

Амму поднималась вверх сквозь толщу сна на тяжелых, подрагивающих крыльях и остановилась передохнуть у самой поверхности.

На щеке у нее отпечатались розочки от вышитого синим крестиком покрывала.

Она ощущала нависшие над ее сном детские лица — две темные озабоченные луны ждали, когда их впустят.

— Ты правда думаешь, что она умирает? — услышала она шепот Рахели.

— Нет, это дневной кошмар, — ответил рассудительный Эста. — Ей много очень снов снится.

Трогал ее — говорить не мог, любил ее — отступиться не мог, говорил — слушать не мог, боролся — победить не мог.

Кто он был, этот однорукий человек? Кем он мог быть? Богом Утраты? Богом Мелочей? Богом Гусиной Кожи и Внезапных Улыбок? Богом Кислометаллических Запахов — как от стальных автобусных поручней и от ладоней кондуктора, который только что за них держался?

— Разбудим или не стоит? — спросил Эста.

Предвечерний свет, проникая сквозь щели в шторах тонкими ломтиками, падал на мандариновый транзистор Амму, который она всегда брала с собой на реку. (Такой же примерно формы была Вещь, которую Эста внес в «Звуки музыки», держа ее в липкой Той Руке.)

Солнце яркими полосками освещало спутанные волосы Амму. Она медлила под самой поверхностью сна, не желая впускать в него детей.

— Она говорила, если человеку снится сон, нельзя его резко будить, — сказала Рахель. — А то у него может быть Инфаркт.

Они решили не будить ее резко, а бережно *потревожить*. Поэтому стали выдвигать и задвигать ящики, покашливать, громко шептаться, мурлыкать песенку. Шаркать ногами. Потом обнаружили, что у одного платяного шкафа скрипучая дверца.

Амму, держась под поверхностью сна, видела их, и сердце у нее болело от любви к ним.

Однорукий человек задул свою лампу и пошел по зазубренному берегу, удаляясь среди теней, которые он один мог видеть.

Он не оставлял следов на песке.

Складные стулья были сложены. Черная морская вода разглажена. Морщины волн отутюжены. Пена возвращена в бутылку. Бутылка заткнута пробкой.

Ночь отложена до следующего раза.

Амму открыла глаза.

Далекий это был путь — из объятий однору-

кого человека к ее неодинаковым двуяйцовым близнецам.

— У тебя был дневной кошмар, — сообщила ей дочь.

— Не кошмар, — сказала Амму. — Это был сон.

— Эста решил, что ты умираешь.

— Ты была такая печальная, — сказал Эста.

— Я была счастлива, — сказала Амму и поняла, что действительно была.

— Амму, если ты была счастлива во сне, это считается? — спросил Эста.

— Что считается?

— Ну, счастье твое — считается?

Она очень хорошо его поняла, своего сына с испорченным зачесом.

Потому что, если по правде, считается только то, что *считается.*

Простая, непоколебимая мудрость детей.

Если ты во сне ела рыбу, считается это или нет? Значит ли это, что ты ела рыбу?

Приветливый, не оставляющий следов человек — считается он или нет?

Амму нащупала свой транзистор-мандарин и включила его. Передавали песню из фильма, который назывался «Креветки».

Это была история девушки из бедной семьи,

которую насильно выдают замуж за рыбака с ближайшего берега, хотя она любит другого. Когда рыбак узнает, что у его молодой жены есть возлюбленный, он отправляется в море в своей утлой лодчонке, хотя видит, что надвигается шторм. Сгущается тьма, поднимается ветер. Океан закручивается водоворотом. Звучит бурная музыка, и рыбак тонет, вихрь засасывает его в морскую пучину.

Влюбленные решают вместе покончить с собой, и на следующее утро их крепко обнявшиеся тела находят выброшенными на берег. То есть умирают все. Рыбак, его жена, ее возлюбленный и акула, которая не играет важной роли в сюжете, но тем не менее гибнет. Море не щадит никого.

В синем сумраке, вышитом крестиком и отороченном полосками света, Амму с отпечатками розочек на сонной щеке и ее близнецы (прижавшиеся к ней с обеих сторон) мягко подпевали мандариновому радио. Это была песня, которую жены рыбаков пели печальной невесте, заплетая ей косы и готовя ее к свадьбе с человеком, которого она не любила.

Пандору муккуван мутину пойи,
(Однажды вышел в море рыбак,)

Падинджаран каттаду мунги пойи.

(Подул Западный Ветер и проглотил его лодку.)

Платьице Феи Аэропорта стояло на полу само собой, не падая из-за жесткой своей пышности. Снаружи, во дворе, рядами лежали и прожаривались на солнце свежевыстиранные сари. Кремовые с золотом. В их крахмальные складки забились крохотные камешки, которые надо будет вытрясти до того, как сари будут сложены и внесены в дом для утюжки.

Араяти пенну пижачу пойи.

(Его жена на берегу сбилась с пути.)

В Эттуманур был кремирован убитый током слон (не Кочу Томбан). У обочины шоссе сложили гигантский погребальный костер. Инженеры муниципалитета отпилили бивни и негласно поделили кость между собой. Не поровну, а как надо. Чтобы лучше горело, на слона вылили восемьдесят банок чистого топленого масла. Дым поднимался плотными клубами и рисовал в небе прихотливые фигуры. Люди, столпившиеся на безопасном расстоянии, пытались их истолковать.

Было множество мух.

Аваней кадаламма конду пойи.

(Мать-Океан восстала и забрала его.)

На деревьях поблизости расселись хищные птицы для надзора за надзором за последними почестями, отдаваемыми мертвому слону. Они надеялись — и не без оснований — поживиться гигантскими внутренностями. Скажем, колоссальным желчным пузырем. Или огромной обугленной селезенкой.

Они не были разочарованы. И не были вполне удовлетворены.

Амму заметила, что оба ее близнеца покрыты мельчайшей пылью. Словно два неодинаковых куска торта, слегка присыпанных сахарной пудрой. У Рахели среди черных кудрей забился один светлый завиток. Локон с заднего двора Велютты. Амму вынула его.

— Говорила ведь уже, — сказала она. — Нечего вам к нему ходить. Нарываетесь на неприятности.

На какие неприятности, она не сказала. Потому что не знала.

Что-то — скорей всего, то, что она не произнесла его имени, — дало ей почувствовать, что она вовлекла его во взъерошенную интимность

вышитого синим крестиком дня и песни из мандаринового транзистора. То, что она не произнесла его имени, подсказало ей, что между Сном и Явью было заключено соглашение. И посредниками в нем, акушерами ее сновидения стали — или станут еще — ее покрытые древесной пылью двуяйцовые близнецы.

Она знала, кто он — этот Бог Утраты, Бог Мелочей. Разумеется, знала.

Она выключила мандариновый приемник. В предвечерней тишине, отороченной полосками света, дети ластились к ее теплу. К ее запаху. Они укутывали головы в ее волосы. Что-то подсказало им, что во сне она была от них далека. Теперь они звали ее назад, прикладывая маленькие ладошки к ее обнаженному животу. Между блузкой и нижней юбкой. Им нравилось, что кожа на тыльной стороне их ладоней имеет тот же оттенок коричневого цвета, что и кожа на животе у матери.

— Эста, смотри, — сказала Рахель, играя с нежной линией волосков, спускавшейся вниз от пупка Амму.

— Здесь мы в тебе брыкались. — Эста потрогал пальцем ускользающую серебристую полоску-растяжку, оставшуюся после беременности.

— В автобусе, да, Амму?

— На извилистой дороге?

— Там Баба держал твой животик?

— А билеты вы покупали?

— Больно тебе было?

А потом, как бы невзначай, вопрос Рахели:

— Как ты думаешь, может быть, он наш адрес потерял?

Даже не перебой, а намек на перебой в ритме дыхания Амму заставил Эсту дотронуться средним пальцем до среднего пальца Рахели. И, соединив средние пальцы на прекрасном животе матери, они оставили эту тему.

— Здесь Эста брыкнул, а здесь я, — сказала Рахель. — Здесь Эста, а здесь я.

Они поделили между собой все семь серебристых растяжек матери. Потом Рахель приложила губы к животу Амму и присосалась к нему, вобрав в рот мягкую плоть, после чего откинула голову, чтобы полюбоваться блестящим овалом слюны и розовым отпечатком зубов на материнской коже.

Амму поразила прозрачность этого поцелуя. Не поцелуй, а чистое стекло. Не отуманенное страстью и желанием, что, как пара псов, крепко спят в детях, покуда они не вырастут. Этот поцелуй не требовал ответного поцелуя.

Не то что мглистые поцелуи, полные вопросов, на которые нужно отвечать. Не то что поцелуи приветливых одноруких людей во сне.

Амму ощутила усталость от собственнического обращения детей. Ей захотелось вернуть свое тело себе. Это было ее тело. Она сбросила с себя детей, как лежащая сука сбрасывает щенков, когда они ей надоели. Она села на кровати и собрала волосы в пучок на затылке. Потом спустила ноги на пол, подошла к окну и отдернула шторы.

Косой предвечерний свет затопил комнату и осветил близнецов на постели.

Они услышали, как за Амму щелкнул замок в двери ванной.

Щелк.

Амму посмотрела в длинное зеркало, висевшее на двери ванной, и ей привиделся в нем призрак будущего, явившийся насмехаться над ней. Морщинистая кожа. Седина. Слезящиеся глаза. Вышитые крестиком розочки на вялой, дряблой щеке. Вислые, иссохшие груди, похожие на утяжеленные носки. Внизу, между ног, застарелая сушь, белизна безжизненных волос. Реденьких. Ломких, как прессованный папоротник.

Отслаивающаяся чешуйками, осыпающаяся, как снег, кожа.

Амму содрогнулась.

В жаркий предвечерний час — с леденящим чувством, что Жизнь Прожита. Что ее чаша доверху полна пылью. Что воздух, небо, деревья, солнце, дождь, свет и темнота — все это медленно превращается в песок. Что песок забьет ее ноздри, рот, легкие. Что он затянет ее вниз, оставив на поверхности лишь круговую воронку, похожую на те, что делают крабы, зарываясь в песчаный берег.

Амму разделась и подсунула красную зубную щетку под одну из грудей, чтобы посмотреть, удержится она или нет. Не удержалась. На ощупь ее кожа была тугая и гладкая. Под пальцами соски наморщились, потом затвердели, как темные орешки, натягивая мягкую кожу грудей. Тонкая линия волосков шла нежным изгибом от пупочной лунки к темному треугольнику лобка. Как стрелка, указывающая направление заблудившемуся путнику. Неопытному любовнику.

Она распустила волосы и повернула голову, чтобы увидеть, на какую длину они выросли. Они струились вниз волнами, завитками и непослушными курчавыми прядями — внутри мягкие, снаружи пожестче — к тому месту, где ее узкая, сильная талия начинала расширяться, переходя в

бедра. В ванной было жарко. Ее кожу усеяли алмазики пота. Они постепенно росли и стали стекать вниз. Пот струился по впадине ее позвоночника. Она окинула критическим взглядом свои округлые, полные ягодицы. Не слишком крупные сами по себе. Не слишком крупные per se (как, без сомнения, выразился бы оксфордский выпускник Чакко). Казавшиеся крупными только потому, что вся она была очень стройная. Они принадлежали другому, более чувственному телу.

Под каждой из них, бесспорно, зубная щетка удержалась бы. А то и две. Она громко засмеялась, представив себя идущей по Айеменему в чем мать родила с торчащими из-под обеих ягодиц пучками разноцветных зубных щеток. Но быстро оборвала себя. Она увидела, как струйка безумия вырвалась из бутылки и, вне себя от восторга, начала с кривляниями носиться по всей ванной.

Безумие тревожило Амму.

Маммачи говорила, что оно нет-нет да и проявлялось в их семье. Что оно налетало на людей неожиданно, беря их врасплох. Что была такая Патиль-аммей — матушка Патиль, — которая в шестьдесят пять лет принялась раздеваться и бегать нагишом по берегу реки, распевая песни рыбам. Что был такой Тамби-чачен — братец

Тамби, — который каждое утро копался в своем кале вязальной спицей в надежде найти золотой зуб, который он не один год уже как проглотил. Что был такой доктор Мутачен, которого забрали с его собственной свадьбы в смирительной рубашке. Чего доброго, потом будут рассказывать: «А была еще такая Амму — Амму Айп. Вышла за бенгальца. Потом совсем спятила. Умерла молодой. В какой-то паршивой дыре».

Чакко говорил, что большое количество психических болезней среди сирийских христиан — это плата за Инбридинг. Маммачи говорила, что ничего подобного.

Амму взяла руками свои тяжелые волосы, обмотала ими лицо и принялась смотреть в щели между прядями на лежащую впереди дорогу к Старению и Смерти. Как средневековый палач, глядящий на жертву сквозь раскосые глазные прорези черного остроконечного капюшона. Стройный обнаженный палач с темными сосками и возникающими от улыбки упругими ямочками. С семью серебристыми растяжками от пары двуяйцевых близнецов, рожденных ею при свете свечей среди сообщений о проигранной войне.

Не столько то, что лежало в конце дороги, стра-

шило Амму, сколько сама эта дорога. Ни столбов, отмеряющих путь, пройденный по ней. Ни деревьев, высаженных вдоль нее. Ни крапчатых лиственных теней, осеняющих ее. Ни туманов, окутывающих ее. Ни птиц, парящих над ней. Ни поворотов, ни изгибов, ни виражей, способных хотя бы отсрочить ясное видение конца. Это наводило на Амму ужас, ведь она была не из тех, кто стремится знать будущее. Слишком уж она его боялась. Поэтому если бы ей даровали исполнение одного маленького желания, это желание было бы — Не Знать. Не знать, что сулит завтрашний день. Не знать, где она будет через месяц, через год. Десять лет подряд. Не знать, куда повернет дорога и что окажется за поворотом. А между тем Амму знала. Или *думала*, что знает, и это было ничем не лучше (потому что если ты во сне ела рыбу, это значит, что ты ела рыбу). И то, что Амму знала (или думала, что знает), пахло едко-пресными уксусными парами, поднимавшимися из цементных чанов «Райских солений». Парами, что губят молодость и травят будущее.

Окутанная собственными волосами, Амму приникла к своему отражению в зеркале ванной и попыталась заплакать.

Жалея себя.

Жалея Бога Мелочей. Жалея присыпанных сахарной пудрой близнецов-акушеров.

В тот предвечерний час — пока в ванной комнате шушукались судьбы, намереваясь роковым образом изменить путь непостижимой женщины, матери близнецов; пока на заднем дворе у Велютты их ждала старая лодка; пока в желтой церкви собирался родиться летучий мышонок — в материнской спальне Эста стоял на голове, утвердив ее на заднице у Рахели.

В спальне с синими шторами и бьющимися в оконные стекла желтыми осами. В спальне, чьи стены скоро станут поверенными мучительных секретов.

В спальне, где сначала Амму запрут, а потом она запрется сама. В спальне, дверь которой обезумевший от горя Чакко вышибет через четыре дня после похорон Софи-моль.

— Вон из моего дома, пока я все кости тебе не переломал!

Мой дом, *мои* ананасы, *мои* соленья.

Не один год после этого Рахели будет сниться одно и то же: толстяк без лица стоит на коленях рядом с трупом женщины. Выдирает волосы. Крошит все кости тела. Вплоть до самых маленьких. Пальцы и все прочее. Слуховые косточки

трескаются, как хворост. *Крак-крак* — мягкий звук ломающихся костей. Пианист, убивающий фортепьянные клавиши. И белые, и черные. Рахель (хотя потом в Электрокрематории она воспользуется потной скользкостью, чтобы выкрутить ладонь из руки Чакко) любила обоих. И пианиста, и пианино.

И убийцу, и труп.

Пока он крушил дверь, Амму, чтобы унять дрожь в пальцах, подшивала концы ленточек Рахели, которые вовсе в этом не нуждались.

— Обещайте, что всегда будете любить друг друга, — сказала она, прижимая к себе детей.

— Обещаю, — сказали Эста и Рахель. Не найдя слов, чтобы объяснить ей, что для них нет никакого Друг Друга.

Два жерновка и мама. Два онемелых жерновка. То, что они сделали, еще вернется и вычерпает их до дна. Но это будет Потом.

Потт. Томм. Глухой глубокий колокол в замшелом колодце. Подрагивающие, мохнатые звуки, похожие на лапки ночной бабочки.

А в ту минуту — только бессвязность, ничего больше. Отовсюду разом улетучился смысл, и остались одни фрагменты. Обособленные. Блеск иглы в руке Амму. Цвет ленты. Фактура выши-

того крестиком покрывала. Медленно, с треском ломаемая дверь. Изолированные явления, переставшие что-либо *значить*. Как будто вдруг отказала служба дешифровки, истолковывающая сокровенные узоры жизни, сопрягающая отражение с образом, блеск со светом, фактуру с тканью, иглу с ниткой, стены с комнатой, любовь со страхом-гневом-сожалением.

— Собирай пожитки и уезжай, — сказал Чакко, переступая через обломки. Возвышаясь над матерью и детьми. В руке — хромированная дверная ручка. Вдруг странно спокойный. Сам удивляясь своей силе. Своей огромности. Своей грозной мощи. Чудовищности своего горя.

Красный цвет дверных щепок на полу.

Амму, спокойная внешне, дрожащая внутри, не поднимала глаз от бессмысленного шитья. Открытая коробка с разноцветными ленточками лежала у нее на коленях в комнате, где она потеряла свое Место Под Солнцем.

В комнате, где после того, как придет ответ от хайдарабадской Специалистки по Близнецам, Амму будет укладывать пожитки Эсты в сундучок и в маленький рюкзачок защитного цвета: двенадцать хлопчатобумажных маек без рукавов, столько же с короткими рукавами. *Эста,*

здесь на них чернилами проставлено твое имя. Его носки. Его брючки в обтяжку. Его рубашки с остроконечными воротничками. Его бежевые остроносые туфли (откуда ползла вверх Злость). Его записи Элвиса. Его глюконат кальция и видалиновый сироп. Его Бесплатного Жирафа (прилагаемого к видалину). Его Детскую Энциклопедию, т. 1–4. *Нет, родненький, там нет реки и негде будет рыбачить.* Его белую кожаную Библию с застежкой-молнией и аметистовой запонкой Королевского Энтомолога на застежке. Его кружку. Его мыло. Его Подарок на Будущий День Рождения, который он *не должен* пока разворачивать. Сорок зеленых бланков писем. *Смотри, Эста, я всюду написала наш адрес. Тебе нужно будет только правильно сложить. На, попробуй сложить сам.* И Эста аккуратно сложит зеленый бланк письма по пунктирной линии с надписью «линия сгиба» и взглянет на Амму с улыбкой, которая разобьет ей сердце.

Обещай, что будешь писать. Даже если не будет новостей.

Обещаю, скажет Эста. Не вполне понимая, что происходит. Его восприятие будет притуплено внезапно свалившимся на него ворохом имущества. Все эти вещи — Его. На них чернилами

проставлено его имя. Сейчас они будут уложены в сундучок, который стоит раскрытый на полу спальни.

В доме, куда Рахель вернется много лет спустя и где она увидит моющегося молчаливого чужака. Стирающего свою одежду ярко-синим крошащимся мылом.

Стройно-мускулистого, с кожей медового цвета. С морскими тайнами в глазах. С серебристой дождевой каплей на мочке уха.

Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон.

Глава 12
Кочу Томбан

Звук ченды стоял над храмом, как огромный гриб, подчеркивая тишину окружающей ночи. Тишину безлюдной мокрой дороги. Тишину вглядывающихся деревьев. Рахель, затаив дыхание, с кокосовым орехом в руке, вошла на храмовый двор через деревянные ворота в высокой белой ограде.

Внутри ограды — белые стены, замшелая черепица и лунный свет. Отовсюду пахло недавним дождем. На приподнятой каменной веранде спал на подстилке тощий священник. Латунное блюдо с монетами лежало у его изголовья, напоминая деталь комикса, изображающую то, что снится персонажу. Двор был забрызган лунами, по одной в каждой дождевой луже. Кочу Томбан кончил свое церемониальное хождение по кругу и лежал привязанный к деревянному столбу около дымящейся кучи его же фекалий. Он спал, исполнив обязанности, опорожнив кишечник, один бивень положив на землю, другим указывая на звездное небо. Рахель тихонько приблизилась к нему. Она

увидела, что кожа у него более складчатая, чем была раньше. И теперь его нельзя было назвать Кочу Томбан — Маленький Бивень. Его бивни выросли. Теперь он был Велья Томбан. Большой Бивень. Она положила кокосовый орех на землю с ним рядом. Кожистая складка разомкнулась, и под ней жидким блеском блеснул слоновий глаз. Блеснул и закрылся вновь с ленивым сонным махом длинных ресниц. Один бивень указывал на звездное небо.

В июне мало дается представлений катхакали. Есть, конечно, храмы, мимо которых труппа не пройдет, не сыграв. Айеменемский храм раньше не входил в их число, но в последнее время из-за его расположения роль его выросла.

В Айеменеме актеры танцевали, чтобы смыть унижение, которому они подверглись в Сердце Тьмы. Унижение усеченных представлений у бассейна, даваемых туристам ради пропитания.

На обратном пути из Сердца Тьмы они заворачивали в храм повиниться перед своими богами. Попросить прощения за профанацию священных преданий. За разбазаривание самих себя. За осквернение своих жизней.

В подобных случаях присутствие зрителей не возбранялось, но было совершенно необяза-

тельно.

В кутамбаламе — широком крытом коридоре с колоннами, примыкающем к сердцу храма, где обитает Синий Бог[50] со своей свирелью, — барабанили барабанщики и танцевали танцоры, и лица их с течением ночи медленно меняли цвет. Рахель села, скрестив ноги и прислонившись спиной к белой круглой колонне. Длинная жестянка с кокосовым маслом поблескивала от мерцающего огня медного светильника. Масло питало огонь. Огонь освещал жестянку.

Что представление уже началось, было не важно, ведь культура катхакали давным-давно знает, что секрет Великих Историй заключается в *отсутствии* секретов. Тем и замечательны Великие Истории, что ты их уже слышал и хочешь услышать опять. Что ты можешь войти в них где угодно и расположиться с удобствами. Что они не морочат тебя и не щекочут тебе нервы. Что они не удивляют тебя непредвиденными поворотами. Что они привычны тебе, как дом, в котором ты живешь. Как запах кожи любимого человека. Ты знаешь, чем все кончится, и все же слушаешь так, словно не знаешь. Подобно тому,

---

[50] notes: 50
Синий Бог — Кришна.

как, зная, что когда-нибудь умрешь, ты живешь так, словно не знаешь. В Великих Историях тебе заранее известно, кто будет жить, кто умрет, кто обретет любовь, а кто нет. И все же ты хочешь услышать опять.

В этом-то и кроется их тайна и волшебство.

Для Человека Катхакали эти истории — его дети и его детство. Внутри них он вырос. Они — его родительский дом, лужайки, на которых он резвился. Они — его окна и его взгляд на мир. Поэтому, рассказывая историю, он обращается с ней как со своим ребенком. Поддразнивает ее. Наказывает ее. Пускает ее лететь мыльным пузырем. В шутку валит ее на землю, потом опять отпускает. Смеется над ней, потому что любит ее. Может в считанные минуты развернуть перед тобою миры, может медлить часами, рассматривая вянущий лист. Или играть с хвостом спящей обезьяны. Может с легкостью перейти от смертоубийства войны к дивной неге женщины, моющей волосы в горном ручье. От злокозненного восторга демона-ракшасы, замыслившего недоброе, к возбуждению малаяльской сплетницы со скандальной новостью на языке. От нежной чувственности кормящей матери к озорной и соблазнительной улыбке Кришны. Из мякоти

счастья он может извлечь зернышко печали. Из океана славы — выдернуть тайную рыбину срама.

Он повествует о богах, но нить повести тянется из неочищенного человеческого сердца.

Он, Человек Катхакали, — прекраснейший из мужчин. Потому что его тело *и есть* его душа. Оно — его единственный инструмент. С трехлетнего возраста оно обтесывается и обстругивается, укрощается и шлифуется единственно ради выразительности рассказа. Под раскрашенной маской и развевающимися одеждами в Человеке Катхакали живет волшебство.

Но в наши дни он стал нежизнеспособен. Не нужен. Бракованный, негодный товар. Его дети смеются над ним. Они хотят быть всем тем, чем он не является. У него на глазах они вырастают и становятся канцеляристами или автобусными кондукторами. Служащими низшего ранга. Но со своими профсоюзами.

А он, оставшийся висеть между небом и землей, не может идти по их стопам. Не может протискиваться по салонам автобусов, раздавая билеты и считая сдачу. Не может бегать туда-сюда по звоночкам. Не может с легким наклоном туловища подавать на подносе чай и бисквиты «Мария».

В отчаянии он обращается к туризму. Выходит на рынок. Начинает торговать своим единственным достоянием. Историями, которые способно рассказать его тело.

Он становится частью Местного Колорита.

В Сердце Тьмы туристы бесят его своей праздной наготой и короткоживущим вниманием. Он обуздывает бешенство и танцует перед ними. Получает заработанное. Напивается. Или курит травку. Не привозную, а свою, керальскую. От нее ему делается весело. На обратном пути он заворачивает в Айеменемский храм, он и товарищи по труппе, и они танцуют, прося у богов прощения.

Рахель (без Планов, без Места Под Солнцем) смотрела, прислонившись к колонне, на Карну, молящегося на берегу Ганга. На Карну, облеченного в сияющий панцирь. На Карну, задумчивого сына Сурьи, бога Солнца. На щедрого, безотказного Карну. На Карну, брошенного в младенчестве на произвол судьбы. На Карну — славнейшего из всех воителей.

В ту ночь Карна был под кайфом. На нем была ветхая штопаная юбка. В его короне на месте драгоценных камней зияли дыры. Его бархатная куртка облысела от старости. Пятки у него были потрескавшиеся. Твердые. Он гасил о них

косяки.

Но пусть его ждала бы за кулисами армия гримеров, пусть у него был бы агент, контракт, оговоренная доля доходов — кто бы он тогда был? Самозванец, вот кто. Богатый обманщик. Актер, играющий роль. Разве он смог бы тогда стать Карной? Или ему было бы слишком *безопасно* в коконе богатства? И деньги стали бы оболочкой, отделяющей его от повести? Разве он смог бы тогда коснуться ее сердца, ее сокровенных тайн, как он делает сейчас?

Вряд ли.

Сегодня ночью этот человек опасен. Его отчаяние велико. Эта повесть — его страховочная сеть, над которой он летает и крутит сальто, как акробат-виртуоз в обанкротившемся цирке. Она одна удержит его, не даст сорваться и рухнуть на арену тяжелым камнем. Она — его цвет и его свет. Она — сосуд, который он наполняет собой. Она сообщает ему форму. Структуру. Ограничивает его. Обуздывает. В ней — его Любовь. Безумие. Надежда. Бесконечная Радость. Любопытно, что его усилия противоположны усилиям обычного актера: не *войти* в роль стремится он, а высвободиться из нее. Но этого-то он как раз и не может. Его сокрушительное поражение становится его

высшим торжеством. Он *и есть* Карна, брошенный всеми на произвол судьбы. Карна Один. Бракованный, негодный товар. Принц, выросший в нищете. Которому суждено умереть в одиночку, безоружным, от бесчестной стрелы, пущенной рукою брата. Величественный в своем беспредельном отчаянии. Молящийся на берегу Ганга. Под тяжелым, дурным кайфом.

Потом появилась Кунти. Она тоже была мужчиной, но мужчиной мягким и женственным, мужчиной с грудями, который стал таким оттого, что много лет перевоплощался в женщин. Ее движения были плавными. Истинно женскими. Кунти тоже была под кайфом. От того же самого курева. Она пришла рассказать Карне историю.

Карна наклонил красивую голову и стал слушать.

Красноглазая Кунти начала танец-рассказ. Она поведала ему о молодой женщине, которой было даровано необычайное заклинание. Тайная мантра, позволявшая ей кого угодно из богов выбирать себе в любовники. Она рассказала ему, как безрассудство юности толкнуло эту женщину проверить действенность заклинания. Как она пришла одна в безлюдное поле, обратила лицо к небесам и произнесла мантру. Едва успели

слова слететь с ее глупых губ — так сказала Кунти, — как перед ней предстал Сурья, бог Солнца. Молодая женщина, обвороженная красотой сияющего юного бога, отдалась ему. Девять месяцев спустя она родила сына. Младенец родился облеченный в свет, с золотыми серьгами, продетыми в уши, и в золотом панцире с изображением солнца на груди.

Молодая мать горячо любила своего первенца — так сказала Кунти, — но она была незамужняя и не могла оставить его при себе. Она положила его в тростниковую корзину и пустила по реке. Ниже по течению младенца нашел возничий Адхиратха. И назвал его Карной.

Карна поднял глаза на Кунти. *Кто она? Кто моя мать? Скажи мне, где она. Отведи меня к ней.*

Кунти поникла головой. *Она здесь, сказала Кунти. Она стоит перед тобой.*

Радость Карны и его гнев из-за открывшегося. Его танец замешательства и отчаяния. *Где ты была, вопрошал он, когда я так нуждался в тебе? Держала ли ты меня в руках хотя бы раз? Кормила ли ты меня? Искала ли меня? Думала ли, где я могу быть?*

В ответ Кунти взяла его царственное лицо в свои ладони — зеленое лицо с красными глаза-

ми — и поцеловала в лоб. Карна содрогнулся от блаженства. Воитель, преобразившийся в дитя. Восторг этого поцелуя. Он отправил его к самым дальним уголкам своего тела. К мизинцам. К пальцам ног. Поцелуй его милой матери. *Зналали ты, как я по тебе тосковал?* Рахель ясно видела, как поцелуй движется по его жилам, подобно яйцу в пищеводе страуса.

Перекатывающийся поцелуй, остановленный смятением, когда Карна понял, что мать открылась ему только ради спасения пяти других своих, более любимых сыновей — пандавов, — которым предстояла великая битва с сотней двоюродных братьев. Именно их, этих пятерых, желала Кунти защитить, когда объявляла Карне о том, что он — ее сын. Ей нужно было взять с него обещание.

Она обратилась к Законам Любви.

Они — братья твои. Твоя плоть и кровь. Обещай мне, что не выступишь против них. Обещай мне это.

Но Карна-Воитель не мог дать такого обещания, ибо оно противоречило обещанию, данному им раньше. Завтра ему идти на бой с пандавами. Ведь они, и в особенности Арджуна, при всех осмеяли его за то, что он сын жалкого возничего. Напротив, Дурьодхана, старший из ста братьев-

кауравов, приблизил его к себе и даровал ему царство. Карна в ответ дал Дурьодхане клятву верности.

Но щедрый, безотказный Карна не мог ответить на просьбу матери простым «нет». Он дал ей обещание, слегка изменив его. Примирив с тем, прежним. Сделав небольшую оговорку в клятве.

Клянусь тебе в том, сказал он Кунти, *что у тебя как было, так и останется пять сыновей. Юдхиштхирея не причиню вреда. Бхима не умрет от моей руки. Близнецы — Накула и Сахадева — останутся невредимы. Но что касается Арджуны — тут я ничего не могу обещать. Либо я убью его, либо он меня. Один из нас умрет.*

Что-то изменилось в составе воздуха. Рахель поняла, что пришел Эста.

Ей не нужно было для этого поворачивать голову. Внутри у нее разлился жар. *Он пришел,* подумала она. *Он здесь. Со мной.*

Эста устроился у дальней колонны, и так они просидели все представление, разделенные пространством кутамбалама, но объединенные повестью. И памятью об иной матери.

В воздухе стало теплее. Не так сыро.

По всей вероятности, прошедший вечер в Серд-

це Тьмы был особенно нехорошим. В Айеменеме люди танцевали так, словно не могли остановиться. Точно дети, укрывшиеся от бури в теплом доме. Не желающие выйти и оказаться лицом к лицу с непогодой. С ветром и молнией. С долларовыми знаками в глазах крыс, шныряющих в окрестных руинах. С рушащимся вокруг них миром.

Они вынырнули из одной истории только для того, чтобы погрузиться в другую. Из *Карна Шабадам* — «Клятвы Карны» — в *Дурьодхана Вадхам,* рассказывающую о смерти Дурьодханы и его брата Духшасаны.

Было уже почти четыре утра, когда Бхима добрался до мерзкого Духшасаны. До человека, пытавшегося при всех обнажить Драупади, жену пандава, после того как кауравы выиграли ее в кости. Драупади (странным образом разгневанная только на тех, кто выиграл ее, но отнюдь не на тех, кто поставил ее на кон) поклялась, что будет ходить с распущенными волосами до тех пор, пока не омоет их в крови Духшасаны. Бхима поклялся отомстить за ее поруганную честь.

Бхима принудил Духшасану сражаться на поле битвы, уже заваленном трупами. Они бились целый час. Обменивались оскорблениями. Пе-

речисляли зло, которое каждому из них сделал другой. Когда медный светильник начал мигать и гаснуть, они объявили перемирие. Бхима подлил масла, Духшасана снял нагар с фитиля. Потом они опять принялись биться. Отчаянная схватка выплеснулась из кутамбалама и завертелась вокруг храма. Они носились друг за другом по всему двору, размахивая булавами из папье-маше. Двое мужчин в развевающихся пузырем юбках и облысевших бархатных куртках прыгали через разбрызганные луны и кучи испражнений, обегали громаду спящего слона. Духшасана то бахвалился, то, минуту спустя, просил пощады. Бхима играл с ним в кошки-мышки. Оба были под кайфом.

Небо стало розовой чашей. Серая слоновья дыра в мироздании пошевелилась во сне и опять замерла без движения. Занималась заря, когда в теле Бхимы пробудился зверь. Барабаны забили громче, но воздух, полный угрозы, был тих.

В слабом свете раннего утра Эстаппен и Рахель увидели, как Бхима исполнил клятву, данную им Драупади. Он свалил Духшасану на пол. Он обрушивал булаву на любое содрогание умирающего тела, добиваясь от него неподвижности. Кузнец, уплощающий кусок неподатливого металла.

Последовательно разглаживающий каждую ямку и выпуклость. Он все убивал и убивал врага, хотя тот давно уже был мертв. Потом голыми руками он разодрал оболочку его тела. Вывалив оттуда внутренности, он наклонился и стал пить кровь прямо из чаши выпотрошенного трупа, глядя поверх ее края безумными глазами, горящими яростью, ненавистью и сумасшедшим удовлетворением. Булькая промеж зубов бледно-розовыми пузырями кровавой слюны. Кровь стекала по его раскрашенному лицу, подбородку, шее. Когда он вволю напился, он встал, обмотав шею, как шарфом, окровавленными кишками, и пошел искать Драупади, чтобы омыть ее волосы в свежей крови. Весь его облик дышал яростью, которой даже убийство не смогло утолить.

Безумием было то, что они увидели на рассвете. Под розовой чашей неба. Не представлением, нет. Эстаппен и Рахель поняли, что это такое. Они видели это раньше. Другое утро. Другая сцена. Другой род безумия (с многоножками на подошвах башмаков). Зверская избыточность нынешнего дополняла бережливую жестокость прежнего.

Они сидели там, Немота и Опустелость, замороженные двуяйцовые ископаемые с выпуклостями

на лбу, которые так и не превратились в рога. Разделенные пространством кутамбалама. Увязшие в трясине повести, которая была и не была их повестью. Которая сохраняла какое-то время подобие структуры и порядка, но потом понесла, как испуганная лошадь.

Кочу Томбан проснулся и деликатно разгрыз свой утренний кокосовый орех.

Люди Катхакали смыли грим и отправились по домам лупить жен. Даже мягкая Кунти с женскими грудями.

За оградой храма городок, маскирующийся под деревню, зашевелился и начал оживать. Пожилой человек проснулся и заковылял к плите греть свое приперченное кокосовое масло.

Товарищ Пиллей. Профессиональный айеменемский лесоруб.

Как ни странно, именно он познакомил близнецов с катхакали. Вопреки возражениям Крошки-кочаммы он брал их с собой, когда водил Ленина в храм на ночные действа; сидя там с ними до рассвета, он разъяснял им язык и жестикуляцию катхакали. В шесть лет они смотрели с ним представление именно на этот сюжет. Не кто иной, как он, познакомил их с *Раудра Бхима* — с обезумевшим, кровожадным Бхимой, алчущим

убийства и отмщения. «Он ищет зверя, который в нем живет», — сказал товарищ Пиллей детям, вылупившим глаза от испуга, когда добродушный доселе Бхима принялся лаять и рычать.

Какого именно зверя, товарищ Пиллей не уточнил. Ищет *человека,* который в нем живет, — вот что, возможно, он имел в виду, потому что ни одному зверю не сравниться с человеком в многообразном, бесконечно богатом на выдумки искусстве ненависти. Ни один зверь не достигнет в нем такой мощи и широты.

Розовая чаша потускнела, и из нее закапала теплая серая морось. Когда Эста и Рахель выходили из ворот храмовой ограды, товарищ Пиллей как раз входил в них, скользкий от масла. На лбу у него была сандаловая паста. Дождевые капли стояли шариками на его масленой коже. В сложенных чашечкой ладонях он маленькой кучкой нес свежие цветки жасмина.[51]

— О! — сказал он своим пронзительным голосом. — Вы здесь! Значит, не забыли свою индийскую культуру? Хорошо-хорошо. Очень хорошо.

Близнецы — и не грубые, и не вежливые — ни-

---

[51] notes: 51

Приношение богу в виде цветов, кокосовых орехов и т. п. — традиционный элемент индуисткой обрядности.

чего ему не ответили. Они пошли домой вместе. Он и Она. Мы и Нас.

Глава 13
Пессимист и оптимист

Чакко переселился в кабинет Паппачи, отдав Софи-моль и Маргарет-кочамме свою спальню. Это была маленькая комната, окно которой глядело на запущенную и плохо используемую каучуковую плантацию, купленную преподобным И. Джоном Айпом у соседа. Одна дверь соединяла спальню с остальными комнатами дома, другая (тот самый отдельный вход, который Маммачи соорудила для того, чтобы Чакко мог, не беспокоя других, удовлетворять свои Мужские Потребности) вела прямо в боковой дворик.

Софи-моль спала на маленькой раскладушке, которую поставили для нее рядом с большой кроватью. Ее голова была полна стрекотания медленного потолочного вентилятора. Голубо-серо-голубые глаза вдруг открылись.

Не Спящие

Не Мертвые

Не Спокойные

Сон был отброшен напрочь.

В первый раз с тех пор, как умер Джо, первая ее

мысль после пробуждения была не о нем.

Она оглядела комнату. Не двигаясь, просто поводя глазами. Разведчица, плененная на вражеской территории, замышляющая эффектный побег.

На столе у Чакко стояла ваза с неумело расположенными цветами гибискуса, уже поникшими. Вдоль стен стояли ряды книг. Застекленный шкаф был набит сломанными самолетиками из бальзового дерева. Искалеченными бабочками с глазами, полными мольбы. Деревянными женами злого короля, томящимися под действием его злых деревянных чар.

В ловушке.

Только одной — Маргарет, ее матери, — удалось спастись и бежать в Англию.

В спокойной хромированной сердцевине серебристого потолочного вентилятора вращалась комната. Бежевая ящерица геккон, цветом напоминающая недопеченный бисквит, разглядывала девочку с интересом. Софи-моль подумала о Джо. Что-то дрогнуло у нее внутри. Она закрыла глаза.

Спокойная хромированная сердцевина серебристого потолочного вентилятора стала вращаться у нее в голове.

Джо умел ходить на руках. А когда ехал на

велосипеде под гору, умел наполнить рубашку ветром.

Около нее на кровати по-прежнему спала Маргарет-кочамма. Она лежала на спине, сцепив руки на солнечном сплетении. Пальцы у нее распухли от жары, и обручальное кольцо, казалось, слишком давило на один из них. Плоть обеих щек чуть осела, заставляя скулы выдаваться резче и оттягивая вниз углы рта в некой безрадостной улыбке, обнажавшей зубы лишь узенькой блестящей полоской. Свои в прошлом пышные брови она выщипала, превратив их в модные теперь тонкие графические дуги, даже во сне придававшие ее лицу слегка удивленное выражение. Прочие его выражения отрастали по мере роста новых волосков по обочинам дуг. Ее лицо разрумянилось. Лоб блестел от пота. Под румянцем, однако, затаилась бледность. Отсроченная печаль.

Тонкая ткань ее темно-синего с белым цветастого платья из хлопка с синтетикой обвисла и бессильно льнула к телу, повторяя его контуры, вздымаясь на груди и опадая меж ее длинных, сильных ног, словно она, эта ткань, тоже была непривычна к жаре и нуждалась в отдыхе.

На тумбочке рядом с кроватью стояла в сереб-

ряной рамке черно-белая свадебная фотография Чакко и Маргарет-кочаммы, сделанная у церкви в Оксфорде. Шел легкий снежок. Мостовую и тротуар чуть присыпало. Чакко был одет, как Неру: белые брючки — чуридар — и длинная черная рубашка — шервани. Его плечи были припорошены снегом. В петлице у него красовалась роза, из грудного кармана выглядывал сложенный треугольничком платок. Обут он был в блестящие черные полуботинки — «оксфорды». Казалось, ему самому смешно, как он одет. Словно ряженый на маскараде.

На Маргарет-кочамме было длинное платье с кружевами; ее курчавые стриженые волосы украшала дешевая диадема. Фата была откинута с лица. Видно было, какая она высокая. Они оба выглядели счастливыми. Молодые, стройные, прищурившиеся от солнца, которое било им в глаза. Она нахмурила лоб и сдвинула густые темные брови, мило контрастировавшие с белизной подвенечных кружев. Прищуренное облачко с бровями. Позади них стояла дородная представительная женщина с массивными лодыжками, одетая в длинное пальто, застегнутое на все пуговицы. Мать Маргарет-кочаммы. Слева и справа от нее стояли две внучки в клетчатых

плиссированных юбочках и носочках, с одинаковыми челками. Обе хихикали, прикрывая рты ладошками. Мать Маргарет-кочаммы смотрела в сторону, за пределы снимка, словно пришла на бракосочетание против своей воли.

Отец Маргарет-кочаммы прийти отказался. Он не любил индийцев — считал их нечестными, жуликоватыми. Он не мог смириться с тем, что его дочь выходит за одного из них замуж.

В правом углу фотографии мужчина, едущий вдоль тротуара на велосипеде, оглянулся, чтобы получше рассмотреть диковинную чету.

Маргарет-кочамма познакомилась с Чакко, когда работала официанткой в оксфордском кафе. Ее семья жила в Лондоне. Отец был владельцем булочной. Мать работала в шляпном ателье. За год до встречи с Чакко Маргарет-кочамма уехала из родительского дома единственно из юношеского стремления к независимости. Она намеревалась работать, копить деньги на педагогические курсы, а потом поступить на работу в школу. В Оксфорде она снимала маленькую квартирку на паях с подругой. С другой официанткой в другом кафе.

Расставшись с родителями, Маргарет-кочамма вскоре обнаружила, что чем дальше, тем больше

становится именно такой, какой они хотели ее видеть. Столкнувшись лицом к лицу с Действительностью, она нервно цеплялась за старые заученные правила и бунтовать могла при желании лишь против самой себя. Поэтому в Оксфорде она жила все той же строгой, неяркой жизнью, из которой думала вырваться, — разве что, слушая пластинки, делала громкость чуть больше, чем ей позволяли дома.

И вот однажды утром в кафе вошел Чакко.

Дело было летом в последний год его учебы. Он был один. Его мятая рубашка была застегнута не на те пуговицы. Шнурки ботинок волочились по полу. Его волосы, спереди аккуратно причесанные и приглаженные, сзади топорщились колючим нимбом. Он был похож на безалаберного дикобраза, почему-то причисленного к лику блаженных. Он был высок ростом, и даже невообразимая одежда (дурацкий галстук, потертый пиджак) не скрыла от Маргарет-кочаммы, что он хорошо сложен. Вид у него был веселый, и он часто щурил глаза, как будто хотел прочесть что-то вдали без очков, которые забыл дома. Уши у него оттопыривались, как ручки сахарницы. Его неопрятная внешность как-то не вязалась с атлетической фигурой. Единственным указанием на

то, что в нем таится толстяк, были лоснящиеся, счастливые щеки.

В нем не было той неуверенности, той смущенной неловкости, что, как считается, свойственна неряшливым и рассеянным людям. У него был очень приветливый вид, словно он наслаждался обществом какого-то невидимого приятеля. Он уселся у окна, поставил руку локтем на стол, оперся щекой на чашу ладони и стал с улыбкой оглядывать пустое кафе, как будто хотел завязать беседу с мебелью. Он заказал кофе все с той же располагающей улыбкой, при этом словно бы не замечая высокую темнобровую официантку, которая приняла у него заказ.

Она вздрогнула, когда он положил в кофе, где было очень много молока, две полные ложки сахара.

Потом он попросил яичницу-глазунью и тост. Еще одну чашку кофе и клубничное варенье.

Когда она принесла заказанное, он спросил, словно продолжая прерванный разговор:

— Слыхали вы про отца, у которого было двое близнецов?

— Нет, — ответила она, ставя перед ним завтрак. Почему-то (вероятно, из естественной скромности и инстинктивной сдержанности

в обращении с иностранцем) она не выказала острого интереса к истории об Отце Двоих Близнецов, которого он, по-видимому, от нее ожидал. Но Чакко не обиделся.

— У одного человека было двое близнецов, — сказал он Маргарет-кочамме. — Пит и Стюарт. Пит был Оптимист, а Стюарт — Пессимист.

Он выковырял из варенья клубничины и разложил их по краю тарелки. Сироп намазал толстым слоем на промасленный тост.

— На их тринадцатый день рождения отец подарил Стюарту — Пессимисту — дорогие часы, столярный набор и велосипед.

Чакко поднял глаза на Маргарет-кочамму, чтобы проверить, слушает ли она.

— А Питу — Оптимисту — он всю спальню завалил конским навозом.

Чакко положил яичницу на тост, раздавил яркие подрагивающие желтки и размазал их поверх клубничного сиропа тыльной стороной чайной ложки.

— Увидев подарки, Стюарт ворчал все утро. Столярный набор ему был не нужен часы ему не нравились, у велосипеда были не те шины.

Маргарет-кочамма перестала слушать, потому что ее заворожил диковинный ритуал, развер-

тывающийся на его тарелке. Тост, покрытый сиропом и желтком, был разрезан на аккуратные маленькие квадратики. Извлеченные из варенья клубничины Чакко одну за другой изящно рассек на части.

— А когда отец зашел в комнату Пита — то бишь Оптимиста, — он не увидел сына а только услышал, что кто-то яростно работает лопатой и тяжко отдувается. Конский навоз летал по всей комнате.

Чакко уже трясся от беззвучного смеха, предвкушая концовку анекдота. Смеющимися руками он украсил каждый яркий желто-красный квадратик тоста клубничным кусочком, отчего весь его завтрак стал похож на красочное угощение, какое может приготовить старушка, пригласившая гостей посидеть за бриджем.

— «Что ты делаешь, черт тебя побери?» — заорал отец на Пита.

Ломтики тоста были посолены и поперчены. Чакко помедлил перед эффектным финалом, со смехом устремив взгляд на Маргарет-кочамму, которая улыбалась, глядя на его тарелку.

— Из глубины навозной кучи прозвучал ответ. «Меня не проведешь, папа, — сказа. Пит. — Ведь если так много дерьма, где-то здесь и пони дол-

жен быть!»

Чакко, держа в одной руке нож, в другой вилку, откинулся на спинку стула в пустом кафе и стал смеяться визгливым, икающим, заразительным смехом толстяка — смехом от которого по его щекам заструились слезы. Маргарет-кочамма, мало что уловившая улыбалась. Потом она стала смеяться над его смехом. Хохоты их подпитывали друг друг и наконец дошли до настоящей истерики. Когда в зал заглянул хозяин кафе, он увидел посетителя (не слишком респектабельного) и официантку (так, серединка на половинку) беспомощно втянутых в спираль оглушительного смеха.

Тем временем другой посетитель (постоянный) пришел незамеченным и ждал, пока его обслужат.

Хозяин стал с нарочито громким звяканьем протирать и без того чистые стаканы многозначительно стучать на прилавке посудой. Идя принимать следующий заказ, Маргарет-кочамма попыталась взять себя в руки. Но все равно в глазах у нее стояли слезы, ей пришлось придушить новую смеховую очередь, отчего голодный человек, заказывавший ей завтрак, поднял глаза от меню и поджал тонкие губы, выражая молчаливо

неодобрение.

Она украдкой бросила взгляд на Чакко, который смотрел на нее и улыбался. Это был безумно теплая улыбка.

Он покончил с завтраком, расплатился и ушел.

Хозяин сделал Маргарет-кочамме строгое замечание и прочел ей лекцию по Этике Обслуживания. Она извинилась перед ним. Она искренне сожалела о своем поведении

Вечером, после работы, она думала о случившемся, и ей было немного не по себе. Вообще-то она не была легкомысленна и не видела ничего хорошего в том, чтобы так отчаянно хохотать с совершенно незнакомым человеком. Это казалось ей излишней фамильярностью, неоправданной близостью. Она не понимала, что именно заставило ее так смеяться. Явно не сам анекдот.

Ей вспомнился смех Чакко, и улыбка долго еще не уходила у нее из глаз.

Чакко зачастил в это кафе.

Он всегда являлся со своим невидимым приятелем и с приветливой улыбкой. Даже если его обслуживала не Маргарет-кочамма, он все равно искал ее глазами, и они обменивались тайными улыбками, вызывавшими к жизни их общее воспоминание о Смехе.

Маргарет-кочамма почувствовала, что всякий раз ждет прихода Неопрятного Дикобраза. Без нетерпения, но с некой подспудной теплотой. Она узнала, что он родсовский стипендиат из Индии. Что он изучает античную литературу. Что он гребет за Бэллиол-колледж.

До самого дня свадьбы она не думала всерьез, что когда-нибудь согласится за него выйти.

Через несколько месяцев после того, как они начали встречаться вне кафе, она стала бывать у него на квартире, где он жил как беспомощный принц в изгнании. Несмотря на все усилия служителя и уборщицы, в комнате у него всегда было грязно. На полу валялись книги, пустые винные бутылки, грязное белье и окурки. Шкафы было опасно открывать, потому что одежда, обувь и книги начинали сыпаться оттуда лавиной вниз, а иные из книг были увесистые и могли всерьез ушибить. Маргарет-кочамма с ее маленькой упорядоченной жизнью сдалась на милость этого поистине барочного бедлама с тихим вздохом теплокровного существа, окунающегося в холодное море.

Она обнаружила, что под внешностью Неопрятного Дикобраза воюют между собой изломанный Марксист и невозможный, неизлечимый Роман-

тик, который забывал гасить свечи, ронял на пол винные бокалы, потерял кольцо. Который любил ее в постели с такой бешеной страстью, что у нее перехватывало дыхание. До него она считала себя малоинтересной — толстоватая талия, массивные лодыжки. Не уродиной, конечно. Обыкновенной девушкой. Но когда она была с Чакко, прежние представления отступали. Открывались новые горизонты.

Никогда раньше она не встречала человека, который говорил бы о мире — о том, что он такое есть, как он таким стал и что из него может получиться, — так, как другие, кого она знала, говорили о работе, друзьях и выходных на побережье.

Когда она была с Чакко, ее душа словно бы устремлялась из узких пределов ее родного острова в необозримые, диковинные просторы его страны. С ним ей казалось, что им принадлежит весь мир, что он распластался перед ними, готовый для изучения, как разрезанная лягушка на анатомическом столе.

За год, пока они были знакомы, но еще не поженились, она открыла в себе некое волшебство и до поры до времени чувствовала себя вольным джинном, вызволенным из лампы. По молодости

своей она думала, что любит Чакко, — на самом же деле просто она робко, на ощупь осваивалась в самой себе.

А что касается Чакко, Маргарет-кочамма была первой близкой ему женщиной. Не то чтобы первой женщиной, с которой он спал, но первой по-настоящему близкой. Больше всего ему в ней нравилась ее самодостаточность. Это ее качество, в общем-то обычное для англичанки, было в глазах Чакко чем-то исключительным.

Ему нравилось, что Маргарет-кочамма не цеплялась за него. Что она не была уверена в своих чувствах к нему. Что до последнего дня он не знал, выйдет она за него или нет. Ему нравилось, как она, проснувшись утром, садилась на кровати, резким винтовым движением поворачивалась к нему длинной белой обнаженной спиной, смотрела на часы и деловито говорила: «Вот разоспалась, пора ноги в руки». Ему нравилось, как она садилась на велосипед и уезжала на работу. Ему нравилось, что она с ним спорила, и в глубине души его радовали изредка случавшиеся с ней взрывы негодования по поводу его упадочничества.

Он был внутренне благодарен ей за то, что она не стремилась за ним ухаживать. За то, что не

порывалась прибирать его комнату. За то, что не хотела быть его квохчущей мамашей. Он сделался зависим от Маргарет-кочаммы именно потому, что она не была от него зависима. Он боготворил ее за то, что она не боготворила его.

О его родных Маргарет-кочамма знала очень мало. Он редко о них говорил.

По правде сказать, в оксфордские годы Чакко редко о них вспоминал. Слишком много событий происходило в его жизни, и Айеменем казался очень далеким. Река — узенькой. Рыба в ней — мелкой.

Настоятельной нужды в общении с родителями у него не было. Родсовской стипендии на жизнь вполне хватало. Без их денежной помощи он мог обойтись. Он очень сильно любил Маргарет-кочамму, и для других в сердце у него места не было.

Маммачи писала ему регулярно, давая подробные отчеты о своих неаппетитных ссорах с мужем и тревогах за будущее Амму. Он редко дочитывал письмо до конца. Иногда просто выбрасывал не читая. Сам никогда не писал домой.

В единственный свой приезд (когда он не позволил Паппачи ударить Маммачи латунной вазой, когда при лунном свете было казнено кресло-

качалка) он все равно мало что почувствовал, и ему было невдомек, что он уязвил отца до глубины души, что мать воспылала к нему двойной страстью, что младшая сестра вдруг расцвела. Он приехал и уехал в каком-то трансе, беспрестанно томясь по девушке с длинной белой спиной, которая ждала его в Англии.

Зимой, окончив Бэллиол-колледж (экзамены он сдал неважно), Чакко женился на Маргарет-кочамме. Без согласия ее родителей. Без ведома его родителей.

Они решили, что, пока он не найдет себе работу, он будет жить в квартире Маргарет-кочаммы, заменив собой Другую официантку из Другого кафе.

Момент для свадьбы был выбран крайне неудачно.

К заботам совместной жизни добавилось безденежье. Стипендия ему уже не полагалась, а квартиру нужно было теперь оплачивать полностью.

Перестав грести, он начал неожиданно преждевременно раздаваться вширь. Чакко сделался Толстяком, чье тело было под стать смеху, каким он смеялся.

За год супружества очарование студенческой

праздности сошло в ее глазах на нет. Ее больше не забавляло то, что, придя с работы, она заставала в квартире ту же грязь и беспорядок, какие были до ее ухода. Что он даже мысли не допускал о том, чтобы застелить постель, постирать, вымыть посуду. Что его нимало не смущали сигаретные подпалины на новой софе. Что он был не способен, идя на собеседование по поводу приема на работу, правильно застегнуть рубашку, завязать галстук и зашнуровать ботинки. После первого года она уже готова была променять анатомический стол и лягушку на что-нибудь попроще и попрактичней. Как, например, мужнина работа и чистое жилье.

В конце концов Чакко нашел временную, плохо оплачиваемую должность в заграничном отделе Индийского управления по производству и продаже чая. В надежде, что это поведет к другим назначениям, они с Маргарет переехали в Лондон. В еще более тесную, еще более мрачную квартиру. Родители Маргарет-кочаммы встретиться с ней отказались.

С Джо она познакомилась, когда только-только узнала, что беременна. Он был старый школьный приятель ее брата. Маргарет-кочамма была тогда на вершине своей физической привлека-

тельности. Беременность румянила ее щеки и заставляла блестеть ее густые темные волосы. Несмотря на трудности замужества, в ней, как во многих беременных, ощущалась затаенная радость, благоговение перед собственным телом.

Джо был биологом. Он готовил для маленького издательства третье издание «Биологического словаря». Джо обладал всеми качествами, каких Чакко был лишен.

Он был надежен. Платежеспособен. Худощав.

Маргарет-кочамма потянулась к нему, как растение в зашторенной комнате к световому лучу.

Временная работа Чакко закончилась, и, не сумев найти другую, он написал Маммачи — сообщил ей о своей женитьбе и попросил денег. Маммачи, хоть и была сражена известиями, тайком заложила свои драгоценности и выслала деньги ему в Англию. Их оказалось мало. Их всегда оказывалось мало.

Когда пришло время родов, Маргарет уже было ясно, что ради себя и своей дочери она *должна* оставить Чакко. Она попросила его о разводе.

Вернувшись в Индию, Чакко легко нашел там работу. Несколько лет преподавал в Мадрасском христианском колледже, а после смерти Паппачи вернулся в Айеменем с машиной «бхарат» для

закрывания банок, с веслом из Бэллиол-колледжа и с разбитым сердцем.

Маммачи с радостью приняла его обратно в свою жизнь. Она кормила его, обшивала, заботилась о том, чтобы каждый день у него в комнате были свежие цветы. Чакко нуждался в материнском восхищении. Он, можно сказать, *требовал* его, но платил за него матери презрением и потаенно наказывал ее. Он принялся пестовать свою полноту и общий телесный упадок. Он носил дешевые териленовые рубашки с набивным рисунком, белые мунду и самые уродливые пластиковые сандалии, какие мог найти. Если Маммачи принимала родственников, знакомых или приехавшую из Дели старую подругу, Чакко выходил к изысканно накрытому обеденному столу — великолепный фарфор, красивейшие букеты из орхидей, — садился и начинал колупать старую болячку или чесать большие, темные, продолговатые мозоли, которые не сходили у него с локтей.

Его излюбленной мишенью были гости Крошки-кочаммы — католические епископы и священники, которые часто заходили на огонек. В их присутствии Чакко снимал сандалии и проветривал отвратительные, полные гноя диабетические

фурункулы на ступнях.

— Смилуйся, Господи, над бедным прокаженным, — говорил он, пока Крошка-кочамма изо всех сил отвлекала гостей от этого зрелища, вынимая из их длинных бород застрявшие там крошки печенья или кусочки банановых чипсов.

Но самыми мучительными из потаенных наказаний, которыми Чакко изводил Маммачи, были разговоры о Маргарет-кочамме. Он затевал их часто, и в них звучала странная гордость. Как будто он восхищался ею за то, что она бросила его.

— Она променяла меня на лучшего мужчину, — говорил он Маммачи, и она вздрагивала, словно уничижительный отзыв касался ее, а не его.

Маргарет-кочамма регулярно писала, сообщая Чакко о Софи-моль. Она заверяла его, что Джо стал для девочки чудесным, заботливым отцом и что Софи-моль души в нем не чает: это радовало и печалило Чакко в равной мере.

Маргарет-кочамма была счастлива с Джо. Счастливей, пожалуй, чем была бы, не будь этих шатких, беспорядочных лет с Чакко. Она вспоминала о Чакко с нежностью, но без сожаления. Она не понимала, насколько сильно ранила его: ведь она по-прежнему считала себя обыкновенной женщиной, а его — необыкновенным мужчиной.

И поскольку Чакко ни вначале, ни потом не выказал обычных признаков горя и сердечной муки, Маргарет-кочамма решила, что он в такой же степени считает их связь своей ошибкой, в какой она — своей. Когда она рассказала ему про Джо, он оставил ее печально, но тихо. Со своим невидимым приятелем и с приветливой улыбкой.

Они часто писали друг другу, и с годами их отношения крепли. Для Маргарет-кочаммы это была уютная, добрая дружба. Для Чакко это был способ, *единственный* способ оставаться связанным с матерью своего ребенка и единственной женщиной, которую он когда-либо любил.

Когда Софи-моль пришло время идти в школу, Маргарет-кочамма поступила на педагогические курсы и, окончив их, устроилась учительницей начальных классов в Клапеме. Когда пришла весть о гибели Джо, она была в учительской. Новость сообщил молодой полицейский, сделавший скорбное лицо и державший каску в руке. У него был странно-комический вид, как у плохого актера, проходящего пробу на трагическую роль. Маргарет-кочамма хорошо запомнила, что первым ее побуждением, когда он вошел, было улыбнуться.

Если не ради себя, то ради Софи-моль Маргарет-

кочамма приложила все силы, чтобы перенести случившееся спокойно. Чтобы *сделать вид,* что переносит его спокойно. Она не взяла отпуска на службе. Она настояла на том, чтобы распорядок дня Софи-моль остался неизменным. *Доделай домашнюю работу. Доешь яйцо. Нет, мы с тобой не имеем права пропускать школу.*

Она скрыла боль под деловитой бодростью педагога. Непреклонная дыра в мироздании в форме учительницы (иногда шлепающей).

Но когда Чакко написал ей и пригласил в Айеменем, что-то в ней вдруг вздохнуло и просело. Несмотря на все, что случилось между ней и Чакко, он был единственным человеком на свете, с кем ей хотелось провести Рождество. Чем больше она думала, тем сильней к этому склонялась. Она убедила себя, что и для Софи-моль поездка в Индию будет очень полезна.

И в конце концов, понимая, насколько странным это покажется знакомым и сослуживцам — бегство к первому мужу почти сразу после смерти второго, — Маргарет-кочамма сняла деньги со срочного вклада и купила два авиабилета. Лондон — Бомбей — Кочин.

Это решение терзало ее до конца дней.

* * *

Она забрала с собою в могилу фотографию бездыханной дочери, лежащей на шезлонге в гостиной Айеменемского Дома. Даже на расстоянии видно было, что девочка мертва. Не болеет, не спит. Дело было в том, как она лежала. Как располагались конечности, под каким углом. Дело было во всевластности Смерти. В ее ужасном спокойствии.

Речная тина и водоросли были вплетены в красивые каштановые волосы. Веки запавших глаз были изранены, покусаны рыбами. (Уж таковы они, эти глубоководные тихоплавающие рыбы. Все им надо попробовать на вкус.) На ее розовато-лиловом вельветовом передничке косым развеселым шрифтом было написано: *Каникулы!* Кожа у нее была сморщенная, как палец дхоби, который долго не вынимал рук из воды.

Губчатая русалочка, разучившаяся плавать.

В кулачке на счастье зажат серебряный наперсток. У Софи-моль.

Которая из наперстка пила.

Которая в гробу крутилась.

Маргарет-кочамма до конца жизни не простила себя за то, что взяла Софи-моль в Айеменем. И

за то, что оставила ее там одну на два выходных, когда поехала с Чакко в Кочин подтвердить дату их обратного вылета.

Было около девяти утра, когда Маммачи и Крошка-кочамма узнали о том, что ниже по реке, где Миначал расширяется, приближаясь к лагунам, в воде найден труп белокожей девочки. Эсты и Рахели по-прежнему нигде не было видно.

В то утро никто из детей — ни один из троих — не пришел пить молоко. Крошка-кочамма и Маммачи решили, что они, наверно, пошли на реку купаться, что вызывало тревогу, потому что весь предыдущий день и большую часть ночи шел сильный дождь. Они знали, что река иногда бывает опасной. Крошка-кочамма отправила на поиски Кочу Марию, но та вернулась ни с чем. В хаосе после прихода Велья Папана никто не мог вспомнить, когда детей, собственно, видели в последний раз. Все это время на уме у людей было другое. Вполне возможно, что детей не было дома всю ночь.

Амму по-прежнему была заперта в своей спальне. Ключи были у Крошки-кочаммы. Через дверь она спросила Амму, имеет ли она представление о том, где могут быть дети. Крошка-

кочамма постаралась изгнать из голоса панику, сделать вид, что интересуется просто так, между делом. В ответ что-то с грохотом ударило в дверь. Амму была вне себя от ярости, она никак не могла поверить, что это взаправду, что ее действительно заперли, как родня запирала сумасшедших в средние века. Только потом, когда мир вокруг них окончательно рухнул, когда в Айеменем доставили тело Софи-моль и Крошка-кочамма отперла Амму, — только тогда она начала глядеть дальше своего гнева и попыталась сообразить, что же произошло. Страх и тревога прояснили ее мысли, и только тогда она вспомнила, что́ она сказала своим близнецам, когда они подошли к двери ее спальни и спросили, из-за чего ее заперли. Какие слова бросила бездумно, не имея ничего подобного в мыслях.

— Из-за вас! — крикнула им Амму. — Если бы не вы, сидела бы я здесь, как же! Ничего бы этого не было! Меня бы здесь не было! Я была бы свободна! Мне вас в приют надо было сдать, как только вы родились! Вы жернова у меня на шее!

Прильнувшие к двери с той стороны, они не были видны ей. Наивный Зачес и стянутый «токийской любовью» Фонтанчик. Озадаченные двуяйцовые Представители Неизвестно Чего. Их

Превосходительства Э. Пелвис и М. Дрозофила.

— Уходите отсюда! — сказала Амму. — Почему вы не уйдете и не оставите меня в покое?

Так они и сделали.

Когда единственным ответом, который Крошка-кочамма получила на свой вопрос о детях, оказался грохочущий удар в дверь спальни, она молча отошла. Ощущая внутри медленно вздымающийся страх, она принялась устанавливать очевидную, логическую и притом совершенно ложную связь между событиями прошлого вечера и исчезновением детей.

Дождь начался накануне вскоре после полудня. Вдруг жаркий день помрачнел, в небе послышались глухие раскаты. Кочу Мария, которая неизвестно по какой причине была не в настроении, стояла в кухне на своей низенькой скамеечке и яростно чистила большую рыбину, взметая пахучую пургу чешуи. Ее золотые серьги бешено раскачивались. Серебряные чешуйки летели по всей кухне, оседая на чайниках, стенах, приспособлениях для чистки овощей, ручке холодильника. Когда у дверей кухни появился Велья Папан, вымокший и дрожащий, она не повернула головы в его сторону. Вид у него был такой, словно он сильно выпил, и его живой

глаз был красен. Он стоял минут десять, ожидая, пока его заметят. Когда Кочу Мария покончила с рыбой и принялась за лук, он кашлянул и спросил, нельзя ли видеть Маммачи. Кочу Мария прикрикнула на него, желая шугануть, но он не ушел. Каждый раз, когда он открывал рот, в ноздри Кочу Марии бил, словно молотком, запах арака. Она никогда раньше его таким не видела и маленько струхнула. Не сказать, что ей было невдомек, из-за чего он пришел, и поэтому она наконец решила позвать Маммачи. Она закрыла дверь кухни, оставив Велья Папана снаружи, на заднем дворе, ждать и пьяно покачиваться под проливным дождем. Хотя стоял декабрь, лило, как в июне. *Циклоническая аномалия*, писали газеты на следующий день. Правда, тогда всем здесь уже было не до газет.

Может быть, именно этот дождь побудил Велья Папана отправиться к двери кухни. Суеверному человеку, каким он был, странное для этого времени года буйство небес могло показаться знамением Божьего гнева. Пьяному суеверному человеку оно могло показаться началом конца света. Чем, в каком-то смысле, оно и было.

Когда Маммачи вошла в кухню в отделанном волнистой тесьмой светло-розовом халате по-

верх нижней юбки, Велья Папан поднялся по ступенькам кухонного крыльца и протянул ей заемный глаз. Он держал его на раскрытой ладони. Он сказал, что недостоин его иметь и хочет, чтобы она забрала его обратно. Его левое веко, дрябло прикрывавшее пустую глазницу, застыло в каком-то чудовищном подмигиванье. Как будто все, что рвалось у него с языка, было частью замысловатого розыгрыша.

— Что там у тебя? — спросила Маммачи, вытянув вперед руку; возможно, она решила, что Велья Папан почему-то хочет вернуть килограммовый пакет красного риса, который она дала ему утром.

— Это его глаз, — громко сказала ей Кочу Мария, у которой у самой глаза слезились от лука. Но Маммачи и без того уже дотронулась до стеклянного глаза. Она отдернула руку от этой слизистой твердости. От этой маслянистой мраморности.

— Ты нализался, что ли? — сердито сказала Маммачи под стук дождевых капель. — Как ты смеешь являться в таком виде?

Она ощупью нашла дорогу к раковине и, намылив руки, смыла с них глазную жижу пьяного паравана. Кончив, понюхала пальцы. Кочу Мария кинула Велья Папану старое кухонное полотенце

и молчала, позволяя ему стоять и вытираться на верхней ступеньке крыльца, почти что в ее прикасаемой кухне, под наклонным свесом крыши, защищавшим его от дождя.

Немного успокоившись, Велья Папан возвратил глаз на место и заговорил. Он начал с перечисления благодеяний, оказанных его семье семьей Маммачи. От поколения к поколению. Он вспомнил, как задолго до того, как это пришло в голову коммунистам, преподобный И. Джон Айп дал в собственность его отцу Келану землю, на которой теперь стояла их хижина. Как Маммачи заплатила за его глаз. Как она помогла Велютте получить образование и дала ему работу…

Маммачи, хоть и сердилась, что он пьян, была даже не прочь послушать эпические истории о христианской щедрости ее родных и ее лично. Ничто не предвещало того, что за ними последовало.

Велья Папан заплакал. Плакала правая его половина. Слезы затопляли его живой глаз и скатывались по черной щеке. Другим своим глазом он каменно смотрел прямо перед собой. Старый параван, помнящий Время, Когда Пятились Назад, разрывающийся между Долгом и Любовью.

Потом Ужас взял над ним власть и вытряс из

него слова. Он рассказал Маммачи о том, что видел. О маленькой лодчонке, пересекавшей реку ночь за ночью, и о тех, кто в ней сидел. О мужчине и женщине, что стояли в лунном свете вплотную. Соприкасаясь кожей.

Они ходили к дому Кари Саибу, сказал Велья Папан. В них вселился демон белого человека. Это была месть Кари Саибу за то, что сделал ему он, Велья Папан. Лодку (на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель) они привязывали к сухому стволу дерева у начала крутой тропки, которая вела через болото к заброшенной каучуковой плантации. Он видел ее там, эту лодку. Каждую ночь видел. Она покачивалась на воде. Пустая. В ожидании любовников. Она ждала часами. Иногда они появлялись среди высокой травы только на рассвете. Велья Папан видел их живым своим глазом. И другие их видели. Вся деревня уже знает. Пройдет немного времени — и Маммачи будет знать, так или иначе. Поэтому Велья Папан решил рассказать ей сам. Как параван и как человек, не полностью обладающий своим телом, он счел это своим долгом.

Любовники. Его порожденье и ее порожденье. Его сын и ее дочь. Сделавшие немыслимое мыслимым и заставившие невозможное произойти

наяву.

Велья Папан говорил и говорил. Плакал. Рыгал. Шевелил губами. Маммачи не слышала его слов. Дождь забарабанил громче, капли начали взрываться у нее в голове. Она не слышала собственного крика.

Вдруг старая слепая женщина в отделанном волнистой тесьмой халате, с заплетенными в косичку седыми жидкими волосами шагнула вперед и со всей силы толкнула Велья Папана в грудь. Он покачнулся и, не найдя ногой ступеньку, полетел с крыльца вниз и растянулся в жидкой грязи. К этому он совершенно не был готов. Неприкасаемость, помимо прочего, означала и то, что можно было не ожидать прикосновений. По крайней мере в таких обстоятельствах. Человек ходил в физически непроницаемом коконе.

Крошка-кочамма, проходя мимо кухни, услыхала шум. Она увидела, что Маммачи плюет в стену дождя — ТЬФУ! ТЬФУ! ТЬФУ! — а под крыльцом в грязи простерся мокрый и плачущий Велья Папан. Он обещал пойти и убить сына. Разорвать его на части собственными руками.

Маммачи кричала:

— Пьяная скотина! Врешь, параванская сволочь!

Поверх шума и гама Кочу Мария прокричала Крошке-кочамме то, что рассказал Велья Папан. Крошка-кочамма сразу увидела неисчерпаемый потенциал ситуации и в тот же миг умастила свои мысли благоуханным елеем. Она расцвела. Она узрела здесь Руку Господню, наказывающую Амму за ее грехи и одновременно мстящую за унижение, которое она (Крошка-кочамма) претерпела от Велютты и демонстрантов, — за «Модаляли Мариякутти», за вынужденное маханье флагом. Она мигом подняла парус. Корабль благочестия, идущий твердым курсом сквозь море греха.

Пухлой рукой Крошка-кочамма обняла Маммачи за плечи.

— Похоже на правду, — сказала она тихим голосом. — Она на это способна, и еще как. Он тоже. Велья Папан не стал бы врать о таких вещах.

Она велела Кочу Марии дать Маммачи стакан воды и принести ей стул. Потом заставила Велья Папана повторить свой рассказ, то и дело прерывая его уточняющими вопросами: Чья лодка? Как часто? Когда это началось?

Когда Велья Папан кончил, Крошка-кочамма повернулась к Маммачи.

— Он должен убраться, — сказала она. — Се-

годня же. Пока это не пошло дальше. Пока мы не погибли окончательно.

Потом она содрогнулась, как школьница. Тогда-то она и произнесла эти слова: *Как она запах-то могла терпеть? Ты ведь чувствовала? Они все до одного пахнут, параваны эти.*

Именно это обонятельное замечание, эта маленькая специфическая черточка раскрутила маховик Ужаса.

Гнев Маммачи на старого одноглазого паравана, пьяного, покрытого грязью и промокшего до нитки, изменил русло и превратился в холодное презрение к дочери и тому, что она сделала. Маммачи представила себе ее голой, совокупляющейся в грязи с человеком, который был поганым кули, больше никем. Воображение нарисовало ей это во всех деталях. Грубая черная параванская ладонь лежит на груди дочери. Его губы присосались к ее губам. Его черные бедра дергаются промеж ее расставленных ног. Их пыхтенье. Его особенный параванский запах. *Как зверье,* подумала Маммачи, и ее чуть не вырвало. *Как сука в течке.* Ее снисходительность к Мужским Потребностям сына стала топливом для непреодолимой ярости по отношению к дочери. Она запятнала то, что создавалось поколениями

(во что внесли лепту и Благословенный Малыш, удостоенный личного благословения Антиохийского патриарха, и Королевский Энтомолог, и Родсовский Стипендиат, окончивший Оксфорд); она низвергла семью в пропасть. На протяжении многих будущих поколений, *всегда* отныне люди будут показывать на них пальцами на свадьбах и похоронах. На крестинах и днях рождения. Будут шептаться и подталкивать друг друга локтями. Все пропало, конец.

Маммачи потеряла контроль над собой.

Они сделали то, что должны были сделать, — две старые женщины. Маммачи предоставила топливо. Крошка-кочамма предоставила План. Кочу Мария была их малорослым сержантом. Они заперли Амму в ее спальне, заманив ее туда хитростью, и послали за Велюттой. Они понимали, что надо заставить его убраться из Айеменема до возвращения Чакко. Они не могли предсказать реакцию Чакко и не могли на него полагаться.

Не только они, однако, виновны в том, что события вышли из-под контроля и понеслись безумным волчком, бешено кружась и петляя. Круша все, что попадалось на пути. Не только они виновны в том, что, когда Чакко и Маргарет-кочамма вернулись из Кочина, было уже поздно.

Рыбак уже нашел Софи-моль.

Бросим на него взгляд.

В лодке с самого рассвета, близ устья реки, знакомой ему с детства. Все еще вздувшейся и быстрой после вчерашнего дождя. Что-то там качается на воде, и цвета привлекают его внимание. Розовато-лиловый. Каштановый. Пляжно-песчаный. Что-то там движется вместе с течением, торопится к морю. Он протягивает бамбуковый шест и подталкивает это к своей лодке. Сморщенная русалка. Нет, русалочка. Русалчонок. С каштановыми волосами. С носом Королевского Энтомолога и серебряным наперстком, зажатым в кулачке на счастье. Он вытаскивает ее из воды и кладет в лодку. Она лежит на тонком хлопчатобумажном полотенце среди серебристой рыбной мелочи, составившей его улов. Он гребет домой — *тай-тай-така-тай-тай-томе,* — думая о том, что никакой рыбак не может быть уверен, что хорошо знает свою реку. *Никто* не знает Миначал до конца. Никто не знает, что он может утащить или внезапно явить. Что и когда. Вот почему рыбаки так много молятся.

В коттаямской полиции дрожащую Крошку-кочамму провели в кабинет начальника отделения.

Она рассказала инспектору Томасу Мэтью, какими обстоятельствами вызвано непредвиденное увольнение одного рабочего их фабрики. Паравана. Несколько дней назад, сказала она, он пытался… пытался силой взять ее племянницу. Разведенную, с двумя детьми.

Крошка-кочамма превратно представила отношения между Амму и Велюттой не ради Амму, а для того, чтобы избежать скандала и сохранить репутацию семьи в глазах инспектора Томаса Мэтью. Она и подумать не могла, что Амму потом сама навлечет позор на свою голову, что она отправится в полицию с тем, чтобы рассказать все как было. Говоря, Крошка-кочамма сама начинала верить в свои слова.

Инспектор хотел знать, почему об этом сразу не было заявлено в полицию.

— Мы уважаемая семья, — ответила Крошка-кочамма. — Мы не хотели, чтобы о нас судачили…

Инспектору Томасу Мэтью, укрывшемуся за своими встопорщенными, как на рекламе компании «Эйр Индия», усами, это было более чем понятно. У него была прикасаемая жена и две прикасаемые дочки, из чьих прикасаемых утроб выйдут еще поколения и поколения прикасаемых…

— Где сейчас потерпевшая?

— Дома. Она не знает, что я здесь. Она бы не позволила мне пойти. Это естественно — она с ума сходит из-за детей. Она в истерике.

Позже, когда инспектору Томасу Мэтью стала ясна подлинная картина событий, тот факт, что добро, взятое параваном из Царства Прикасаемых, было не отнято им, а *даровано ему*, глубоко взволновал начальника отделения. Поэтому после похорон Софи-моль, когда Амму явилась к нему с близнецами, чтобы объяснить, какая ошибка произошла, а он дотронулся до ее грудей дубинкой, это не было спонтанной выходкой грубого полицейского. Он знал, что делает. Это был заготовленный заранее жест, имевший целью унизить и запугать ее. Восстановить порядок там, где он был нарушен.

Еще позже, когда пыль улеглась и бумажная часть была оформлена чин чином, инспектор Томас Мэтью поздравил себя с тем, как все обернулось.

Но теперь он внимательно и почтительно слушал рассказ, выстраиваемый Крошкой-кочаммой.

— Вчера около семи вечера — уже темнеть начинало — он пришел к нам с угрозами. Был

очень сильный дождь. Электричество погасло, и мы как раз зажигали лампы, когда он пришел. Он знал, что единственный мужчина в нашем доме, мой племянник Чакко Айп, уехал в Кочин, он до сих пор еще не вернулся. Дома только и было взрослых, что мы, три женщины.

Она сделала паузу, чтобы инспектор получше вообразил ужас, который мог нагнать обезумевший от похоти параван на трех беззащитных женщин.

— Мы сказали ему, — продолжала она, — чтобы он тихо убирался из Айеменема, иначе мы обратимся в полицию. Он начал говорить, что моя племянница была *согласна,* представляете? Он спросил, как мы можем доказать наше обвинение. Он сказал, что по трудовому законодательству у нас нет оснований для его увольнения. Он очень спокоен был. Мол, прошло то время, когда вы могли с нами, как с собаками…

Пока что рассказ Крошки-кочаммы звучал вполне убедительно. Ее боль. Ее негодование.

А потом воображение схватило ее и понесло. Она не стала говорить о том, как Маммачи потеряла контроль над собой. О том, как она подошла к Велютте и плюнула ему в лицо. О том, какие слова она ему говорила. Какими именами его

награждала.

Вместо этого Крошка-кочамма объяснила инспектору Томасу Мэтью, что прийти в полицию ее заставило не столько то, *что* говорил Велютта, сколько то, *как* он это говорил. Больше всего, сказала она, ее поразило полное отсутствие раскаяния. Он словно бы даже *гордился* тем, что сделал. Бессознательно она наделила Велютту повадками человеке который оскорбил ее во время демонстрации. Она описала инспектору лицо, в котором сквозили ярость и издевка. Наглый, глумливый голос, который так ее испугал. Лицо и голос говорившие ей о том, что его увольнение и исчезновение детей связаны между собой непременно связаны.

Она помнит этого паравана еще ребенком, сказала Крошка-кочамма. Он учился за счет ее семьи в школе для неприкасаемых, которую основал Пуньян Кунджу, ее отец (господин Томас Мэтью, конечно же, знает, кто это такой? Ну, еще бы…) Он освоил столярное дело с помощью ее семьи, и сам дом, где он живет, его дед получил от ее семьи. О обязан ее семье всем.

— Вот ведь какие вы, — заметил инспектор Томас Мэтью, — сперва портите их, носитесь с ними как курица с яйцом, а когда они начинают

буянить, бегом к нам за помощью.

Крошка-кочамма опустила глаза, как ребенок, которого отчитали. Потом стала рассказывать дальше. В последнее время, сказала она инспектору, она замечала в нем кое какие нехорошие признаки — своеволие, грубость. Она упомянула о том, что по дороге в Кочин видела его на демонстрации и что, по слухам, он наксалит или, по крайней мере был им. Она не заметила, что, когда инспектор услышал об этом, на лбу у него возник озабоченная морщинка.

Она предупреждала племянника на его счет, сказала Крошка-кочамма, но даже самом страшном сне ей не могло присниться такое. Прелестная девочка мертва. Двое детей исчезли.

Крошка-кочамма потеряла самообладание.

Инспектор Томас Мэтью дал ей стакан полицейского чая. Когда она немного оправилась, он помог ей изложить все, что она ему рассказала, в письменном заявлении. Он заверил Крошку-кочамму в Полном Содействии коттаямской полиции. Мерзавец будет пойман сегодня же, сказал он. Он знал, что не так уж велик выбор мест, куда может податься параван в бегах от истории, прихвативший с собой пару двуяйцовых близнецов.

Инспектор Томас Мэтью был осмотрительным человеком. Лишняя предосторожность не могла помешать. Он послал джип за товарищем К. Н. М. Пиллеем. Ему важно было знать, имеет этот параван какую-либо политическую поддержку или же он действует на свой страх и риск. Хотя сам Томас Мэтью был сторонником партии Конгресса, он не хотел трений с марксистским правительством. Когда товарищ Пиллей приехал, его провели в кабинет, и он сел на тот самый стул, который совсем недавно освободила Крошка-кочамма. Инспектор Томас Мэтью показал ему ее заявление. После чего у них произошел разговор. Краткий, шифрованный, деловой. Как будто они обменивались не словами, а цифрами. Длинные объяснения были излишни. Товарищ Пиллей и инспектор Томас Мэтью не были друзьями и не доверяли друг другу. Но они понимали друг друга с полуслова. Они оба были мужчинами, отряс-шими с себя детство до мельчайшей частички. Мужчинами, лишенными всякого любопытства. И всяких сомнений. Оба, каждый на свой лад, были до ужаса, до мозга костей взрослыми. Они видели мир и никогда не удивлялись, не задумывались, как в нем все и почему. Они сами были его «как» и «почему». Они были механиками,

обслуживающими разные узлы одной и той же машины.

Товарищ Пиллей сказал инспектору Томасу Мэтью, что знает Велютту, но умолчал о том, что Велютта состоит в компартии, и о том, что накануне поздно вечером он постучался в дверь его дома, вследствие чего товарищ Пиллей оказывался последним, кто видел Велютту до его исчезновения. Товарищ Пиллей не стал также опровергать версию Крошки-кочаммы о попытке изнасилования, хотя знал, что она ложна. Он только заверил инспектора Томаса Мэтью в том, что, насколько ему известно, Велютта не находится под защитой или покровительством коммунистической партии. Что он существует сам по себе.

Когда товарищ Пиллей ушел, инспектор Томас Мэтью прокрутил еще раз в уме их разговор, пытая его, проверяя его логику, выискивая в ней дыры. Потом, удовлетворившись, вызвал людей и дал им указания.

Тем временем Крошка-кочамма вернулась в Айеменем. Подходя к дому, она увидела стоящий на дорожке «плимут». Маргарет-кочамма и Чакко приехали из Кочина.

Софи-моль лежала на шезлонге бездыханная.

Когда Маргарет-кочамма увидела тело дочери, в ней, как призрачная овация в пустом зале, стремительно вздулся шок. Он затопил ее рвотной волной и, схлынув, оставил ее немой и пустоглазой. Она пережила две утраты разом. Смерть Софи-моль и повторную смерть Джо. Но на этот раз не было ни домашней работы, чтобы доделывать, ни яйца, чтобы доедать. Она приехала в Айеменем исцелить свой раненый мир и здесь лишилась его совсем. Она разбилась, как стеклянный стакан.

О последующих днях у нее остались лишь расплывчатые воспоминания. Долгие тусклые периоды подбитой мехом, еле ворочающей языком оглушенности (медицински обеспеченной доктором Вергизом Вергизом), перемежающиеся вспышками острой, стальной истерии, кромсающей и режущей, как новое бритвенное лезвие.

Она смутно сознавала присутствие Чакко — с ней участливого и мягкоголосого, с другими свирепого, как несущийся по дому бешеный смерч. Совсем не похожего на веселого Неопрятного Дикобраза, которого она увидела в кафе тем давним оксфордским утром.

Она слабо припоминала потом панихиду в желтой церкви. Печальное пение. Потревожив-

шую кого-то летучую мышь. Она припоминала треск ломаемой двери, перепуганные женские голоса. Припоминала ночной скрип кустарниковых сверчков, похожий на крадущиеся шаги по деревянной лестнице, усиливавший мрак и уныние, которыми и без того был полон Айеменемский Дом.

Ей навсегда запомнился ее иррациональный гнев на двоих детей, которые посмели уцелеть. Ее больное сознание лепилось, как моллюск, к идее о том, что в смерти Софи-моль каким-то образом виноват Эста. Странно, ведь Маргарет-кочамма не знала, что именно Эста (Волшебник Мешалки с Зачесом, который греб джем и думал Две Думы), что именно Эста, нарушая запреты, возил через реку в маленькой лодке Софи-моль и Рахель в послеобеденные часы; что именно Эста обезвредил пригвожденный серпом запах, замахнувшись на него марксистским флагом. Что именно Эста сделал заднюю веранду Исторического Дома их убежищем в изгнании, их Недомашним Домом, где лежал сенник и куда были вывезены самые лучшие их игрушки — катапульта, надувной гусенок, сувенирный коала с разболтавшимися глазками-пуговками. И что именно Эста решил в ту страшную ночь, что, несмотря на темноту и

дождь, Пришло Время им уйти из дома, потому что Амму их больше не хочет.

Почему же, ничего этого не зная, Маргарет-кочамма винила Эсту в том, что произошло с Софи? Вероятно, все дело в материнском инстинкте.

Три или четыре раза, вынырнув из плотных слоистых глубин лекарственного сна, она находила Эсту и лупила его, пока кто-нибудь из взрослых не уводил ее и не успокаивал. Позже она написала Амму письмо с извинениями. Но когда это письмо пришло, Эста уже был Отправлен, Амму уже пришлось запаковать свои пожитки и уехать. Чтобы принять от имени Эсты извинения Маргарет-кочаммы, в Айеменеме осталась одна Рахель. *Не понимаю, что нашло на меня тогда, говорилось в письме. Могу объяснить это только действием транквилизаторов. Я не имела права так вести себя, и я хочу, чтобы вы знали, что я стыжусь сама себя и ужасно, ужасно сожалею.*

Что странно, Маргарет-кочамма совершенно не думала о Велютте. О нем у нее не было никаких воспоминаний. Даже о том, как он выглядел.

Так было, скорее всего, потому, что она не знала его по-настоящему и не слышала о случившемся с ним.

С Богом Утраты.

С Богом Мелочей.

Который не оставлял ни следов на песке, ни ряби на воде, ни отражений в зеркалах.

Ведь Маргарет-кочамма не переправлялась через вздувшуюся реку с отрядом прикасаемых полицейских. Все семеро — в жестких от крахмала шортах защитного цвета.

В чьем-то грузном кармане — металлическое звяканье наручников.

Нельзя ждать от человека, чтобы он вспоминал то, о чем и не знал никогда.

Беда, однако, была еще в двух неделях пути от того вышитого синим крестиком предвечернего часа, когда Маргарет-кочамма лежала и отсыпалась после перелета. За окном спальни, как тихий заботливый кит, проплыл Чакко, который шел к товарищу К. Н. М. Пиллею и решился было по пути заглянуть внутрь и посмотреть, не проснулись ли его жена (*Бывшая жена*, Чакко!) и дочь и не нужно ли им чего. Но в последний миг решимость изменила ему, и он по-толстячьи валко миновал окно не останавливаясь. Софи-моль (Не спящая, Не мертвая, Не спокойная) видела, как он проходит.

Она села на кровати и стала смотреть на каучуковые деревья. Солнце за время ее сна

переместилось по небу, и дом теперь бросал на плантацию островерхую насыщенную тень, делавшую темную древесную зелень еще более темной. Где тень кончалась, там свет был ласкающий и нерезкий. По крапчатой коре каждого дерева шел косой разрез, из которого, как белая кровь из раны, сочился млечный каучуковый сок, стекая в привязанную к стволу чуть пониже половинку кокосовой скорлупы.

Софи-моль встала и принялась рыться в кошельке спящей матери. Вскоре она нашла то, что искала, — ключи от стоявшего на полу большого запертого чемодана с наклейками авиалиний и багажными бирками. Открыв его, она перепахала его содержимое с деликатностью собаки, копающейся в цветочной клумбе. Она потревожила стопки белья, глаженые рубашки и блузки, шампуни, кремы, шоколадки, клейкую ленту, зонтики, мыло (и другие еще закупоренные лондонские запахи); хинин, аспирин, антибиотики широкого спектра действия. «Бери, бери все подряд, — советовали Маргарет-кочамме встревоженные сослуживицы. — Мало ли что». Желая внушить коллеге, отправляющейся в Сердце Тьмы, что:

а) С Кем Угодно может случиться Что Угодно; и

поэтому нужно

б) Быть Готовой.

Софи-моль наконец нашла, что искала.

Подарки для двоюродного брата и сестры. Треугольные башенки шоколадок «тоблерон» (размякшие и покосившиеся от жары). Носочки с разноцветными пальчиками. И две шариковые ручки, с обратного конца до половины наполненные водой, в которой был виден миниатюрный лондонский пейзажик. С Букингемским дворцом и Биг-Беном. С магазинами и людьми. С красным двухэтажным автобусом, который, движимый пузырьком воздуха, плавно курсировал взад и вперед по безмолвной улице. Что-то зловещее было в полном отсутствии шума на оживленной улице внутри шариковой ручки.

Софи-моль сложила подарки в свою стильную сумочку и вышла с ней в мир. Вышла заключать нелегкую сделку. Договариваться о дружбе.

О дружбе, которая, к несчастью, так и не получила точки опоры. Осталась неполной. Повисла в пустоте. О дружбе, которая так и не обрела сюжета и формы, вследствие чего Софи-моль гораздо быстрей, чем тому следовало быть, стала Воспоминанием, тогда как Утрата Софи-моль все тучнела и наливалась силой. Как плод в пору

спелости. Нескончаемой спелости.

Глава 14
Трудясь – Борись

Чакко взял напрямик через рощицу клонящихся к солнцу каучуковых деревьев, чтобы выйти на главную, улицу не раньше, чем почти у самого дома товарища К. Н. М. Пиллея. Шагая по ковру сухой листвы в тесном своем костюме для аэропорта с перелетевшим через плечо галстуком, он выглядел чуть странновато.

Когда Чакко пришел, товарища Пиллея дома не было. Его жена Кальяни, у которой на лбу была свежая сандаловая паста, усадила Чакко в маленькой общей комнате на стальной складной стул и вышла в отделенное ярко-розовой нейлоновой кисеей соседнее помещение, где в большой латунной масляной лампе мерцал маленький огонек. Сытно-жженый обволакивающий запах тянулся оттуда через дверной проем, над которым висела дощечка с лозунгом: «Трудясь — Борись. Борясь — Трудись».

Чакко был для этой комнаты слишком велик. Голубые стены давили на него. Он озирался по сторонам — ему было немного не по себе.

На решетке маленького зеленого окна сохло полотенце. Обеденный стол был покрыт синтетической скатертью с ярким цветочным узором. Над гроздью мелких бананов, лежавшей на белой с синим ободком эмалированной тарелке, плясали плодовые мушки. В одном из углов комнаты были кучей сложены зеленые неочищенные кокосовые орехи. На полу в солнечном решетчатом параллелограмме косолапо лежали детские резиновые шлепанцы. У стены позади стола стоял застекленный шкаф. Его содержимое скрывали от глаз висящие внутри ситцевые занавесочки.

Мать товарища Пиллея, маленькая старушонка в коричневой блузке и сероватом мунду, сидела на краю поставленной вдоль стены высокой деревянной кровати, свесив с нее ноги, изрядно не достававшие до пола. Она была прикрыта тонкой белой полосой ткани, пересекающей грудь по диагонали и перекинутой через плечо. Над ее головой расширяющимся кверху конусом, похожим на перевернутый дурацкий колпак, вились комары. Она сидела, подперев ладонью одну щеку и собрав в пучок все морщины лица со стороны этой щеки. Вся ее кожа сплошь, даже на запястьях и лодыжках, была в морщинах. Только на горле, которое бугрилось громадным

зобом, кожа была гладкая и натянутая. Зоб был для старушонки неким Молодящим Источником. Она тупо смотрела на противоположную стену, мерно раскачиваясь и тихонько ритмически всхрапывая, как скучающая пассажирка во время долгой автобусной поездки.

На стене за ее головой висели в рамочках школьный аттестат товарища Пиллея и его дипломы бакалавра и магистра.

На другой стене, тоже в рамочке, красовалась фотография товарища Пиллея, увенчивающего гирляндой самого товарища И. М. Ш. Намбудирипада. На переднем плане блестел на подставке микрофон с табличкой, гласившей: Аджанта.[52]

Настольный вентилятор у кровати, поворачиваясь влево-вправо, одаривал сидящих своим механическим ветерком в порядке похвальной демократической очередности: сначала шевелил скудные остатки волос старой миссис Пиллей и лишь потом — шевелюру Чакко. Комариное облако, не зная усталости, то рассеивалось, то сгущалось вновь.

В окно Чакко видел крыши шумно проезжающих автобусов с багажом на багажных полках.

---

[52] notes: 52

Аджанта — комплекс древних буддийских пещерных храмов близ Аурангабада.

Промчался джип с громкоговорителем, голосившим коммунистическую песню, темой которой была Безработица. Рефрен на английском с малаяльский акцентом, все остальное — на малаялам:

Работы нет! Работы нет!
Куда ни сунется бедняк —
Работы нет-как-нет-как-нет!

Кальяни вернулась и поставила перед Чакко кружку из нержавейки с фильтрованным кофе и блюдце из нержавейки с банановыми чипсами (ярко-желтыми, с маленькими темными семечками посередине).

— Он в Олассу уехал. Вот-вот уже должен вернуться, — сказала она. Говоря о муже, она употребляла уважительное местоимение *аддехам,* тогда как «он» обращался к ней «эди», что означает приблизительно: «Эй, ты!»

Она была роскошная красавица с золотисто-коричневой кожей и огромными глазами. Ее длинные курчавые волосы еще не просохли после мытья и свободно падали вдоль спины, заплетенные только у самых концов. От них спинка ее красной облегающей блузки намокла и стала еще более красной и облегающей. Под об-

резами рукавов круглилась нежная плоть ее рук, щедро нависая над ямочками локтей. Ее белое мунду и кавани были свежи и отутюжены. От нее пахло сандаловым деревом и толченым зеленым горошком, который она использовала вместо мыла. В первый раз за все годы Чакко смотрел на нее без плотского вожделения. Дома у него была жена (*Бывшая жена, Чакко!*). Со спинными веснушками и ручными веснушками. В синем платье с гладкими ногами под ним.

В дверном проеме возник маленький Ленин в красных эластичных шортах. Стоя, как аист, на одной тонкой ножке, он принялся скручивать в трубочку розовую кисею, глядя на Чакко такими же точно глазами, как у его матери. Ему было шесть лет, и он давно уже не засовывал себе ничего в нос.

— Мон, поди позови Латту, — сказала ему миссис Пиллей.

Ленин не двинулся с места и, по-прежнему глядя на Чакко, пронзительно крикнул, не прилагая усилий, как умеют кричать только дети:

— Латта! Латта! Тебя!

— Наша племянница из Коттаяма. Его старшего брата дочь, — пояснила миссис Пиллей. — На той неделе взяла первую премию по Декламации на

молодежном фестивале в Тривандраме.

Из-за кисейной занавески вышла боевого вида девочка лет двенадцати-тринадцати. На ней была длинная ситцевая юбка до самых щиколоток и короткая, до талии, белая блузка с вытачками на месте будущих грудей. Ее смазанные маслом волосы были разделены надвое пробором. Тугие блестящие косы были заведены концами вверх и подвязаны лентами, так что они обрамляли ее лицо, словно контуры больших вислых ушей, еще не закрашенных внутри.

— Знаешь, кто это? — спросила Латту миссис Пиллей. Латта покачала головой.

— Чакко-саар. Наш фабричный Модаляли.

Латта поглядела на него спокойным и лишенным всякого любопытства взглядом, необычным для тринадцатилетней девочки.

— Он учился в Лондоне-Оксфорде, — сказала миссис Пиллей. — Прочтешь ему что-нибудь?

Латта без колебаний согласилась. Она расставила ноги чуть в стороны.

— Уважаемый Председатель. — Она поклонилась Чакко. — Почтенное жюри и… — Она обвела взглядом воображаемую публику, теснящуюся в маленькой жаркой комнате — …дорогие друзья. — Она сделала театральную паузу. — Сегодня

мне хочется предложить вашему вниманию стихотворение сэра Вальтера Скотта, озаглавленное «Лохинвар».

Она сцепила руки за спиной. Ее глаза подернулись поволокой. Невидящим взглядом она уставилась в какую-то точку повыше головы Чакко. Декламируя, она слегка раскачивалась. Вначале Чакко показалось, что это перевод «Лохинвара» на малаялам. Слова натыкались одно на другое. Последний слог предыдущего слова отрывался и приклеивался к первому слогу последующего. Чтение шло на впечатляющей скорости:

Дольграни цыскакаЛо хинвармоло дои.

Сехконей был быстреего коньбо евой.

Рыцаре халбезлат, рыцаре халбеслуг,

Былри нем олькомечье вопреда ныйруг.[53]

Декламация сопровождалась мерными всхрапываниями старушонки, на которые никто, кроме Чакко, не обращал внимания.

Рекуон перепыл, бродаон неискал,

---

[53] notes: 53
Здесь и ниже использован перевод В. Бетаки.

Акодаза мокНезер бистал передним,
Услыхалон, тоЭлен венча юсдругим.

Товарищ Пиллей явился посреди выступления — лоб, блестящий от пота, мунду подвернуто выше колен, по териленовым подмышкам расползлись темные пятна. Он был малорослый, хлипкого сложения человек лет под сорок с землистым лицом. Его выпуклое брюшко, напоминавшее зоб его маленькой матери, находилось в разительном противоречии с ножками-палочками, настороженным лицом и худосочным туловищем. Словно какой-то фамильный ген награждал людей внезапно и неостановимо взбухавшими тут и там выпуклостями.

Его тонкие, будто нарисованные усики делили пространство над верхней губой на две равные части в горизонтальном направлении и кончались точно над углами рта. Он не пытался как-либо скрыть намечавшиеся залысины. Волосы его были умащены и зачесаны со лба назад. Он явно не гнался за тем, чтобы выглядеть моложе. Непререкаемый авторитет Главы Семьи был и так ему обеспечен. Он улыбнулся и кивнул, здороваясь с Чакко, но даже не взглянул ни на жену, ни на мать.

Латта стрельнула глазами в его сторону, молчаливо прося позволения продолжать. Оно было дано. Товарищ Пиллей снял рубашку, скомкал ее и вытер ею подмышки. Когда он кончил, Кальяни взяла ее у него и понесла, как дар. Как букет цветов. Оставшись в майке-безрукавке, товарищ Пиллей сел на складной стул и, задрав левую ногу, поставил ее на колено правой. Пока племянница декламировала, он сидел, задумчиво глядя в пол, утопив подбородок в ладонь и отбивая правой ногой стихотворный ритм. Другой рукой он поглаживал свою изящно изогнутую левую ступню.

Когда Латта кончила, Чакко зааплодировал с искренним чувством. Она в ответ даже бровью не повела. Она напоминала восточногерманскую пловчиху на местных соревнованиях. Ее глаза были твердо устремлены на Олимпийское Золото. Любую победу на более низком уровне она воспринимала как должное. Взглядом она попросила у дяди разрешения выйти из комнаты.

Товарищ Пиллей поманил ее к себе и прошептал ей на ухо:

— Поди скажи Потачену и Матукутти, что, если я им нужен, пусть приходят прямо сейчас.

— Нет, товарищ, зачем это… Я больше ничего

не хочу, — запротестовал Чакко, подумав, что товарищ Пиллей посылает Латту за новым угощением. Товарищ Пиллей, до вольный его ошибкой, ухватился за нее.

— Нет-нет-нет. Ха! Что это такое?.. Эди Кальяни, принеси-ка рисовых шариков.

Товарищу Пиллею, как идущему в гору политику, было необходимо, чтобы его последователи видели в нем влиятельного человека. Он захотел воспользоваться приходом Чакко, чтобы произвести впечатление на местных ходатаев и Партийных Активистов. Потачен и Матукутти, за которыми он послал, были односельчане, просившие его пустить в ход свои связи в коттаямской больнице, чтобы их дочерей приняли туда на работу медсестрами. Товарищ Пиллей хотел, чтобы их видели стоящими за дверью его дома и ожидающими приглашения войти. Чем больше людей стоят и ждут встречи с ним, тем более важной персоной он выглядит, тем лучшее впечатление производит. А если ожидающие увидят, что сам фабричный Модаляли пришел к нему, чтобы поговорить с ним на его территории, — это, он знал, будет выгодно ему во всех отношениях.

— Ну что! Товарищ дорогой! — произнес товарищ Пиллей, когда Латта ушла и явились сладкие

рисовые шарики. — Как дела? Как дочка осваивается?

Он намеренно обращался к Чакко по-английски.

— Очень хорошо. Она сейчас крепко спит.

— Охо. Разница во времени, надо полагать, — заметил товарищ Пиллей, не упуская возможности продемонстрировать, что он знает толк в международных перелетах.

— А что в Олассе? Партийное собрание? — спросил Чакко.

— Да нет, другое. Моя сестра Судха получила перелом, — сказал товарищ Пиллей так, словно Перелом был дорогим подарком, который ей вручили. — И я возил ее к Оласским Врачевателям за медикаментами. Аюрведические мази и все такое. Муж ее сейчас в Патне, она одна с его родней.

Ленин покинул свой пост у дверного проема, встал между коленей отца и принялся ковырять в носу.

— А ты, молодой человек, расскажешь нам стихотворение? — обратился к нему Чакко. — Научил тебя уже папа?

Ленин глядел на Чакко без малейших признаков того, что он понял или хотя бы услышал его

слова.

— Он чего-чего только не знает, — сказал товарищ Пиллей. — Он у нас талант. Он при чужих только стесняется.

Товарищ Пиллей поиграл с сыном, водя коленями туда-сюда.

— Ленин-мон, прочти Дяде-Товарищу, чему папа тебя научил. *Друзья, сограж…*

Ленин продолжал свои носовые раскопки.

— Ну что ты, мон, это же наш Дядя-Товарищ…

Товарищ Пиллей жал на стартер, пытаясь запустить Шекспира.

– *Друзья, сограждане, внемлите…*

Ленин не сводил с Чакко немигающих глаз. Товарищ Пиллей попытался снова:

– *Внемлите…*

Ленин схватил горсть банановых чипсов и стрелой метнулся из дома. Он начал бегать взад и вперед по полоске двора между домом и улицей, визжа от непонятного ему самому возбуждения. Когда он выпустил часть пара, его бег перешел в полузадохшийся, высоко задирающий коленки галоп.

– *Внемли ТЕМНЕ,* — закричал Ленин со двора, перекрывая шум проезжающего автобуса.

– Невосваляпгья Цезаря пришел
А хоронить. Везлопере живает
Людей, добро же погребаюс ними.[54]

Он выкрикивал стихи бегло, без единой запинки. Это было впечатляюще — ведь ему было только шесть и он ни слова не понимал из того, что произносил. Сидя в доме и глядя сквозь дверь на носящегося по двору маленького пыльного демона (будущего подрядчика со своим ребенком и мотороллером «баджадж»), товарищ Пиллей гордо улыбался.

— Он первый ученик в классе. В этом году получит двойное поощрение.

В маленькой жаркой комнате теснилось множество амбиций.

Что бы там ни хранил товарищ Пиллей за занавесочками у себя в шкафу, это, безусловно, не были сломанные бальзовые самолетики.

Чакко же, напротив, с того момента, как он вошел в дом, или, скорее, с того момента, как вернулся товарищ Пиллей, странным образом ужался. Как генерал, которого разжаловали и лишили звездочек, он ограничил свою улыбку.

---

[54] notes: 54

Мальчик читает отрывок из «Юлия Цезаря» Шекспира (акт III, сцена 2; перевод Мих. Зенкевича).

Наложил узду на свою экспансивность. Если бы кто-нибудь увидел его там впервые, он счел бы Чакко сдержанным человеком. Почти робким.

Безошибочный инстинкт уличного агитатора подсказывал товарищу Пиллею, что стесненные обстоятельства (маленький жаркий дом, всхрапывающая мать, его очевидная близость к трудящимся массам) дают ему в руки козырь, который в нынешние революционные времена будет посильней, чем любое оксфордское образование.

Он целил своей бедностью, как пистолетом, Чакко в голову.

Чакко вынул мятый клочок бумаги с кое-как нарисованным им самим грубым эскизом новой наклейки, которую он хотел заказать товарищу Пиллею. Она предназначалась для новой продукции, которую «Райские соленья и сладости» собирались выпустить на рынок весной. Для Синтетического Пищевого Уксуса. В рисовании Чакко силен не был, однако общий смысл товарищ Пиллей уловил без труда. Он был хорошо знаком с эмблемой в виде танцора катхакали, с рекламным девизом под нижней кромкой его одежд, гласившим: «Императоры в царстве вкуса» (его идея), и со шрифтом, который использовался для

«Райских солений и сладостей».

— Оформление то же самое. Меняется, надо полагать, только текст, — сказал товарищ Пиллей.

— И цвет рамки, — сказал Чакко. — Теперь не красный, а горчичный. Товарищ Пиллей, желая прочитать текст вслух, поднял очки до самых волос. От масла, которым они были умащены, стекла мигом помутнели.

— «Синтетический пищевой уксус», — произнес он. — Заглавными, надо полагать.

— Берлинской лазурью, — заметил Чакко.

— «Изготовлено из уксусной кислоты».

— Ярко-синим, — сказал Чакко. — Какой мы брали для зеленого перца в рассоле.

— «Вес нетто… Партия № Дата вып…. Срок годн…. Макс. розн. цена… рупий» — тем же ярко-синим, но другим шрифтом?

Чакко кивнул.

— «Настоящим удостоверяем, что уксус в этой бутылке по своим свойствам и качеству соответствует установленным нормам. Ингредиенты: уксусная кислота, вода». Это, надо полагать, будет красным.

Товарищ Пиллей говорил «надо полагать», чтобы превращать вопросы в утверждения. Он не любил задавать вопросов, если только они не

носили личного характера. Вопрос — это жалкая демонстрация незнания.

К тому времени, как Чакко и товарищ Пиллей кончили обсуждать наклейку для уксуса, каждый из них обзавелся своим личным комариным конусом.

Они согласовали срок исполнения заказа.

— Так, значит, вчерашняя демонстрация прошла успешно? — спросил Чакко, наконец переходя к разговору, ради которого он, собственно, и пришел.

— Пока не будут выполнены наши требования, товарищ, мы не можем сказать, успешно она прошла или нет. — В голосе товарища Пиллея зазвучали ораторские нотки. — До тех пор борьба будет продолжаться.

— Но Отклик был очень мощный, — вставил Чакко, пытаясь говорить на том же языке.

— Это само собой. — сказал товарищ Пиллей. — Товарищи представили меморандум Высшему Партийному Руководству. Теперь надо подождать. Поживем — увидим.

— Мы вчера мимо них проезжали, — сказал Чакко. — Мимо колонны.

— По дороге в Кочин, надо полагать, — сказал товарищ Пиллей. — Но, согласно партийным

источникам, Отклик в Тривандраме был еще лучше, и намного.

— В Кочине тоже были тысячи демонстрантов, — сказал Чакко. — Кстати, моя племянница увидела среди них нашего Велютту.

— Охо. Понимаю.

Товарищ Пиллей был застигнут врасплох. Он вообще-то имел намерение поговорить с Чакко о Велютте. Когда-нибудь. В подходящий момент. Но не с кондачка, не с бухты-барахты. Его мозг загудел, как настольный вентилятор. Он раздумывал, воспользоваться ли возможностью или лучше отложить. Он решил не откладывать.

— Да. Он хороший работник, — сказал товарищ Пиллей глубокомысленно. — Очень толковый.

— Чрезвычайно, — согласился Чакко. — Отличный столяр с инженерным мышлением. Если бы не…

— Я не про то, товарищ, — сказал товарищ Пиллей. — *Партийный работник.*

Мать товарища Пиллея по-прежнему раскачивалась и всхрапывала. В ритме ее всхрапываний было что-то убаюкивающее. Как в тиканье часов. Звук, которого почти не замечаешь, но которого тебе будет не хватать, если он прекратится.

— Ясно. Значит, он полноправный член пар-

тии?

— Конечно, — мягко сказал товарищ Пиллей. — Конечно.

Под волосами у Чакко было уже очень потно. Ему казалось, что там пробирается рота муравьев. Он принялся чесать голову и делал это долго, двумя руками. Возя вверх-вниз весь скальп целиком.

– *Ору карьям параяттей?* — произнес товарищ Пиллей на малаялам, и голос его зазвучал доверительно, заговорщически. — Хотите совет? Я говорю с вами как друг, *кето.* Не для протокола.

Прежде чем продолжать, товарищ Пиллей испытующе поглядел на Чакко, стараясь определить его реакцию. Чакко изучал серую пастообразную смесь пота и перхоти у себя под ногтями.

— С этим параваном как бы вам не нажить неприятности, — сказал товарищ Пиллей. — Послушайте меня… подыщите ему работу в другом месте. Отошлите его отсюда.

Чакко был удивлен таким оборотом разговора. Начиная его, он хотел только прощупать почву, разобраться в ситуации. Он ожидал настороженной, даже враждебной реакции, а ему предлагали какой-то хитрый сговор.

— Отослать? Зачем? Разве я возражаю против

его членства? Мне просто любопытно стало, вот и все… Я подумал, может, вы с ним говорили, — сказал Чакко. — Я считаю, он просто экспериментирует, пробует себя, мне он кажется человеком разумным и положительным. Я ему доверяю…

— Не в этом дело, — сказал товарищ Пиллей. — Пусть он будет какой угодно прекрасный-распрекрасный. Все равно другие ваши люди имеют на него зуб. Они уже приходят ко мне с жалобами… Видите ли, товарищ, на низовом уровне кастовые представления пустили очень глубокие корни.

Кальяни поставила перед мужем на стол металлический стаканчик с дымящимся кофе.

— Даже вот ее, к примеру, взять. Мою хозяйку. Ведь она никогда в жизни паравана не пустит на порог. Ни за что на свете. Даже *мне* не удастся ее заставить. Свою собственную жену. В доме ведь кто командир? Она. — Он игриво-ласково ей улыбнулся. — *Аллай эди,* Кальяни? Правду говорю?

Кальяни потупила взор, смущенно признаваясь в своем предрассудке.

— Видите? — торжествующе сказал товарищ Пиллей. — Она очень хорошо понимает по-английски. Только вот не говорит.

Чакко вежливо улыбнулся.

— Вы сказали, мои люди приходят к вам с жалобами…

— Приходят, — подтвердил товарищ Пиллей.

— На что-то конкретное?

— Ничего такого конкретно, — сказал товарищ К. Н. М. Пиллей. — Но видите ли, товарищ, ему идут от вас всякие поблажки, а другим, разумеется, обидно. Они считают — как так? Несправедливо. В конце концов, кем бы он там ни был у вас — столяром, электриком, кем хотите, — для них он все равно параван, рыбак. Это от рождения закрепляется. Я им сам без конца втолковываю, что они не правы. Но, откровенно говоря, товарищ, ввести Новшество — это одно дело. Получить Одобрение — совсем другое. Вам поаккуратней бы. Для него же лучше будет, если вы его куда-нибудь…

— Друг вы мой любезный, — сказал Чакко. — Это невозможно. Заменить его некем. Фабрика на нем одном держится… и мы же не можем всех параванов отослать подальше, проблемы так не решаются. Рано или поздно нам придется разбираться с этой чепухой.

Товарищу Пиллею очень не понравилось, что к нему так обратились: «Друг вы мой любезный».

Для него это было оскорбление в хорошей англоязычной упаковке, иначе говоря, двойное оскорбление — во-первых, слова сами по себе, а во-вторых, уверенность Чакко, что до собеседника не дойдет. Настроение товарища Пиллея вконец испортилось.

— Может, и придется, — сказал он ядовитым тоном. — Но тише едешь, как говорится, дальше будешь. Не забывайте, товарищ, что здесь вам не Оксфордский университет. Что для вас чепуха, то для Трудящихся совсем даже не чепуха.

В дверях появился запыхавшийся Ленин — худой в отца, но с материнскими глазами. Лишь прокричав весь монолог Марка Антония и большую часть «Лохинвара», он обнаружил, что его никто не слушает. Он снова встал между разведенных колен товарища Пиллея.

Хлопнув над отцовской головой в ладоши, он нанес немалый урон комариному конусу. Потом принялся считать налипшие трупики. Иные выпустили из себя свежую человеческую кровь. Он показал руки отцу, который тут же отправил его к матери, чтобы та привела их в порядок.

Наступившим молчанием вновь завладели всхрапывания старой миссис Пиллей. Вернулась Латта, ведя Потачена и Матукутти. Мужчинам

велели ждать снаружи. Дверь была оставлена приоткрытой. Когда товарищ Пиллей заговорил, он опять перешел на малаялам и повысил голос, чтобы двоим за дверью было слышно:

— Разумеется, чтобы высказываться о своих нуждах, работникам необходим профсоюз. А на вашей фабрике, где сам Модаляли — наш Товарищ, им просто стыдно должно быть, что они еще не сорганизовались и не присоединились к Партийной Борьбе.

— Я об этом думал, — сказал Чакко. — Я собираюсь по всей форме объединить их в профсоюз. Они изберут своих представителей.

— Товарищ, вы же не можете организовать за них революцию. Вы можете только привить им сознательность. Обучить их. Борьбу они должны вести по своему собственному почину. Они *сами* должны преодолеть свои страхи.

— Страхи перед кем? — улыбнулся Чакко. — Передо мной, что ли?

— Нет, не перед вами, товарищ вы мой любезный. Перед вековым гнетом.

После чего товарищ Пиллей боевым голосом процитировал председателя Мао. На малаялам. Его лицо в это время странно напоминало лицо племянницы.

— Революция — это не званый обед. Революция — это вооруженное восстание, акт насилия, во время которого один класс свергает власть другого класса.

Таким вот манером, заручившись контрактом на наклейки для синтетического пищевого уксуса, он ловко исключил Чакко из стана Свергающих и приписал его к враждебному и коварному стану Свергаемых.

Они сидели друг подле друга на металлических складных стульях в День Приезда Софи-моль, прихлебывая кофе и жуя банановые чипсы. Снимая кончиками языков пристающую к небу разбухшую желтую мякоть.

Маленький-и-Тонкий подле Большого-и-Толстого. Словно сошедшие со страниц комикса противники в еще не разразившейся войне.

Этой войне, к несчастью для товарища Пиллея, суждено было кончиться, едва начавшись. Победа была вручена ему на серебряном подносе, красиво завернутая и перевязанная ленточкой. Только когда было уже поздно и «Райские соленья» мягко ушли в трясину без малейшего ропота и без намека на сопротивление — только тогда товарищ Пиллей понял, что в действительности ему нужна была не победа, а война как процесс.

Война могла стать жеребцом, на котором он проехал бы добрую часть пути, если не весь путь, в законодательное собрание; победа же, по существу, оставляла его в прежнем положении.

Щепок наломал, а леса не срубил.

Никто так и не узнал, какую именно роль сыграл товарищ Пиллей в дальнейших событиях. Даже Чакко, который понимал, что свиристящезажигательные речи о Правах Неприкасаемых («Каста — это тот же Класс, товарищи!»), звучавшие из уст товарища Пиллея во время осады «Райских солений» членами марксистской партии, были вполне фарисейскими, — даже он кое о чем не догадывался. Впрочем, он и не хотел догадываться. Горестно оцепенев из-за утраты Софи-моль, он смотрел на все вокруг помутившимся взором. Как переживший трагедию ребенок, который разом взрослеет и теряет интерес к прежним забавам, Чакко забросил свои игрушки. Мечтания о будущности Короля Солений, равно как и Народная Война, отправились в застекленный шкаф, к обломкам авиамоделей. После закрытия «Райских солений» часть принадлежавших семье рисовых полей (вместе с закладными) была продана, чтобы выплатить долги банкам. Остальные тоже были постепенно проданы, чтобы семья

могла есть и одеваться. К тому времени как Чакко эмигрировал в Канаду, у нее остались в качестве источников дохода только примыкающая к Айеменемскому Дому каучуковая плантация и небольшая рощица кокосовых пальм. С этого-то и кормились Крошка-кочамма и Кочу Мария, когда все прочие умерли, уехали или были Отправлены.

Не будем возводить напраслину на товарища Пиллея — последовавшие события не были им запланированы. Он всего-навсего вложил руку в подставленную перчатку Истории.

Не только он виновен в том, что в обществе, где он живет, смерть человека сплошь и рядом приносит бóльшую выгоду, чем могла принести вся его жизнь.

О позднем приходе Велютты — уже после столкновения с Маммачи и Крошкой-кочаммой — и о том, что между ними тогда было сказано, товарищ Пиллей никому не говорил. О последнем предательстве, отправившем Велютту вплавь на ту сторону реки через мрак и дождь, против течения, в самый подходящий момент для слепой встречи с Историей.

Велютта приехал последним автобусом из Коттаяма, где ремонтировалась машина для из-

готовления жестянок. На остановке он встретил рабочего с их фабрики, который с усмешкой сказал ему, что Маммачи хочет его видеть. Велютта не имел ни малейшего представления о случившемся и не догадывался о приходе пьяного отца в Айеменемский Дом. Не знал он и о том, что Велья Папан уже не один час сидит у входа в их хижину, по-прежнему пьяный, дожидаясь его возвращения, и мерцающий огонек лампы отражается в его стеклянном глазу и лезвии его топора. Не знал Велютта и о том, что несчастный парализованный Куттаппен, предчувствуя дурное, уже два часа без умолку говорит с отцом, пытается его урезонить и в то же время напрягает слух, боясь пропустить звук шагов или шелест травы, желая криком предупредить ничего не подозревающего брата.

Но Велютта не пошел домой. Он отправился прямо в Айеменемский Дом. Он был застигнут врасплох — и в то же время знал, знал все эти дни, чуял древним чутьем, что, как ни вейся веревочка, История непременно доберется до ее конца. Пока Маммачи неистовствовала, он оставался сдержан и странно спокоен. Это было спокойствие запредельного негодования. Его источником было просветление, лежащее по ту

сторону гнева.

Когда Велютта пришел, Маммачи потеряла ориентировку и извергла слепую свою злобу, изрыгнула смертельные проклятия на одну из створок скользяще-складной двери; подоспевшая Крошка-кочамма аккуратно развернула Маммачи и направила ее гнев куда нужно — на Велютту, очень тихо стоявшего в полутьме. С пустыми глазами, с безобразно перекошенным лицом Маммачи продолжала свою тираду, и ярость толкала ее к Велютте, пока наконец она не стала кричать ему прямо в лицо и он не почувствовал брызги ее слюны и запах давно выпитого чая у нее изо рта. Крошка-кочамма стояла рядом с Маммачи. Она ничего не говорила, но руками модулировала гнев Маммачи, подбрасывала в него хворост. Ободряющее похлопыванье по спине. Дружеская рука вокруг плеч. Маммачи об этих манипуляциях не подозревала.

Где старая дама, носившая безукоризненно чистые и выглаженные сари, игравшая по вечерам на скрипке сюиту из «Щелкунчика», могла набраться таких слов, какие Маммачи произнесла в тот вечер, осталось тайной для всех (Крошки-кочаммы, Кочу Марии и Амму, запертой в своей комнате), кто ее слышал.

— Вон! — крикнула она под конец. — Если я тебя завтра тут увижу, я тебя охолощу, как подзаборного кобеля! Я тебя убью!

— Ну, это мы еще посмотрим, — тихо сказал Велютта.

Вот и все, что он сказал. Вот какие его слова Крошка-кочамма в кабинете инспектора Томаса Мэтью раздула и преобразила в угрозы убийства и похищения.

Маммачи плюнула Велютте в лицо. Густой слюной. Она растеклась по коже. Попала на глаза, на губы.

Он стоял — и все. Ошеломленный. Потом повернулся и ушел.

Идя прочь от их дома, он ощущал, как обострены и напряжены его чувства. Словно все вокруг стало плоским и превратилось в аккуратную иллюстрацию. В технический чертеж с приложенной инструкцией о том, что ему делать. Его рассудок, отчаянно искавший точку опоры, цеплялся за детали. Снабжал ярлыком каждый встречный предмет.

Ворота, подумал Велютта, проходя через них. *Ворота. Дорога. Камни. Небо. Дождь.*

Ворота.

Дорога.

Камни.
Небо.
Дождь.

Дождевая влага на коже была теплая. Латерит под ногами — шершавый. Он знал, где идет и куда. Он примечал все. Каждый лист. Каждое дерево. Каждое облако в беззвездном небе. Он ощущал каждый свой шаг.

* * *

Ку-ку кукум теванди
Куки паадум теванди
Рапакаль одум теванди
Таланну нилькум теванди

Это был его первый школьный урок. Стихотворение про поезд.

Он принялся считать. Что угодно. Не важно, что. *Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять…*

Технический чертеж начал мутиться. Четкие линии — расплываться. Пункты инструкции сделались неясными. Дорога пошла в гору, и тьма вокруг уплотнилась. Стала вязкой. Двигаться вперед стоило усилий. Как будто плывешь под водой.

Вот оно, оповестил его некий голос. *Началось.*

Его рассудок, вдруг невероятно состарившийся, плыл в воздухе высоко над его головой и бормотал оттуда бесполезные предостережения.

Он глядел вниз и видел тело молодого человека, бредущего сквозь тьму и проливной дождь. Больше, чем чего бы то ни было, это тело желало уснуть. Уснуть и пробудиться в другом мире. *Где запах ее кожи во вдыхаемом воздухе. Где ее тело на его теле. Доведется ли еще свидеться? Где она? Как они с ней обошлись? Сделали ей больно?*

Он шел дальше. Он не подставлял лица струям дождя и не опускал его, чтобы защититься от них. Он и не желал их, и не избегал.

Дождь, хотя и смыл с его лица слюну Маммачи, не мог избавить его от ощущения, что кто-то приподнял его голову и наблевал сверху в его тело. Внутри у него ползла и капала комкастая блевотина. Стекала по сердцу. Стекала по легким. Густо, медленно скапливалась в глубине живота.

Липла ко всем органам его тела. Дождь от этого не спасал.

Велютта знал, что ему делать. Инструкция направляла его. Ему следовало идти к товарищу Пиллею. Хотя он уже не понимал зачем. Ноги принесли его к типографии «Удача», которая была заперта, а затем, через крохотный дворик, — к дому товарища Пиллея.

Он постучал в дверь, и движение руки вконец обессилило его.

Товарищ Пиллей услышал стук, когда он уже доел овощное карри и, зажав в кулаке спелый банан, выдавливал сочную мякоть в тарелку с простоквашей. Товарищ Пиллей послал жену открыть дверь. Она вернулась недовольная и, подумалось товарищу Пиллею, вдруг очень соблазнительная. Он захотел, не откладывая, потрогать ее грудь. Но пальцы его были в простокваше, и к тому же кто-то стоял за дверью. Кальяни села на кровать и рассеянно погладила Ленина, который, посасывая большой палец, спал подле своей крохотной бабушки.

— Кто это?

— Сын Папана-паравана. Говорит, ему срочно.

Товарищ Пиллей не спеша съел простоквашу. Потом поиграл над тарелкой пальцами. Калья-

ни принесла воды в ковшике из нержавейки и полила ему. Остатки пищи на тарелке (сухая оболочка красного перца, жесткие волосяные остовы высосанных и выплюнутых стручков мурунгу) дрогнули и всплыли. Она принесла ему полотенце. Он вытер руки, благодарно рыгнул и пошел к двери.

– *Энда?* Что такое? — спросил он. — Почему так поздно?

Отвечая, Велютта слышал, как его голос отскакивает к нему обратно, словно ударяясь о стену. Он пытался объяснить, что произошло, но чувствовал, что лепечет невнятицу. Человек, с которым он говорил, был мал и далек, и его отделяла от Велютты стена из стекла.

— Тут ведь у нас деревня, — сказал товарищ Пиллей. — Люди толкуют между собой. Я слышу, что они говорят. И о том, что происходит, представление имею.

И вновь Велютта услышал свои слова, не имевшие никакого значения для человека, которому были адресованы. Собственный голос завивался вокруг Велютты кольцами, как змея.

— Может быть, — сказал товарищ Пиллей. — Но ты, товарищ, должен понимать, партия не для того существует, чтобы поощрять недисципли-

нированность рабочих в личной жизни.

Велютта увидел, что фигура товарища Пиллея растаяла в глубинах дома. Голос, однако, остался — бестелесный, пронзительный, наставительно-лозунговый. Пустой дверной проем окрасился флагами.

Партия не может брать на себя такие дела.

Личное должно быть подчинено общественному.

Нарушение Партийной Дисциплины подрывает Единство Партии.

Голос не умолкал. Фразы дробились на отдельные словосочетания. На слова.

Дело Революции.

Ликвидация Классового Врага.

Компрадорский капитал.

Весеннее наступление трудящихся.

Вот оно еще раз. Еще одна самоотравившаяся религия. Еще одно здание, возведенное человеческим разумом и разрушаемое человеческой природой.

Товарищ Пиллей закрыл дверь и вернулся к жене и к ужину. Он решил съесть еще один банан.

— Что ему нужно было? — спросила жена, подавая ему плод.

— Они узнали. Кто-то им рассказал. Они его уволили.

— Всего-навсего? Пусть скажет спасибо, что его не повесили на первом же суку.

— Я заметил кое-что странное… — сказал товарищ Пиллей, очищая банан. — У него ногти покрашены красным лаком…

Стоя снаружи под дождем в мокром холодном свете единственного фонаря, Велютта вдруг ощутил сильную сонливость. Он с трудом удержал веки поднятыми.

Завтра, сказал он себе. *Завтра,* когда перестанет дождь.

Ноги сами понесли его к реке. Словно они были поводком, а он — собакой.

Собакой на поводке у Истории.

Глава 15
На тот берег

Полночь уже миновала. Река вздулась, стала быстроводной и черноводной, и с собой она несла, извилисто скользя к морю, облачное ночное небо, целую пальмовую ветку-гребенку, кусок плетня и прочие дары ветра.

Мало-помалу дождь превратился в морось, потом кончился совсем. Когда налетал ветер, он сбивал с листвы влагу, и тогда лило под деревьями, которые раньше, наоборот, давали укрытие.

Бледная водянистая луна, просочась сквозь облака, осветила молодого человека, сидящего на верхней из тринадцати каменных ступеней, что вели в реку. Он был очень неподвижный, очень мокрый. Очень молодой. Посидев, он поднялся, снял свое белое мунду, выжал из него воду и обмотал его вокруг головы как тюрбан. Обнаженный, он стал спускаться по тринадцати ступеням в воду, пока не погрузился по грудь. Потом поплыл, легко и сильно вымахивая туда, где течение было быстрое и отчетливое, где была Самая Глубина. Освещенная луной река спадала с

его гребущих рук серебристыми рукавами. Чтобы переплыть, ему понадобилось всего несколько минут. Достигнув того берега, он встал на ноги и, блестя, вылез — черный, как окружающая его ночь, черный, как оставшаяся позади река.

Он ступил на тропинку, которая вела через болото к Историческому Дому.

Он не оставлял ряби на воде.

Следов на берегу.

Расправив мунду, он поднял его над головой, чтобы сохло. Ветер взметнул ткань парусом. Вдруг он почувствовал себя счастливым. *Сперва будет хуже,* подумал он про себя. *Потом лучше.* Он шел теперь быстро, приближаясь к Сердцу Тьмы. Одинокий, как волк.

Бог Утраты.

Бог Мелочей.

Обнаженный, если не считать лака на ногтях.

Глава 16
Несколько часов спустя

Трое детей на речном берегу. Пара близнецов и еще одна девочка в розовато-лиловом вельветовом передничке, на котором косым развеселым шрифтом написано: *Каникулы!*

Мокрые листья на деревьях блестели, будто кованые. Густо росший желтый бамбук клонился к реке, словно что-то предчувствуя и горюя загодя. А сама река — она была темна, тиха. Казалась скорее отсутствием, чем присутствием, и ничем не показывала, как она вздулась, какой стала сильной.

Эста и Рахель вытащили лодку из кустов, где они всегда ее прятали. Достали из дупла дерева сделанные Велюттой весла. Спустили лодку на воду и придерживали, чтобы не качалась, пока Софи-моль садилась. Им, казалось, темнота была нипочем, и они уверенно, как горные козлики, бегали вверх-вниз по блестящим каменным ступеням.

Софи-моль была куда осторожней. Ее немного страшила темнота и то, что могло в ней таиться.

На плече у нее висела матерчатая сумочка с едой, похищенной из холодильника. Хлеб, пирожные, печенье. Близнецы, придавленные словами матери — *Если бы не вы, я была бы свободна! Мне в приют вас надо было сдать, как только вы родились! Вы жернова у меня на шее!* — не взяли с собой ничего. Впрочем, благодаря тому, что Апельсиново-Лимонный Газировщик так обошелся с Эстой, их Недомашний Дом был уже оборудован. За две недели, прошедшие с той поры, как Эста греб алый джем и думал Две Думы, они перевезли туда много Провианта и Снаряжения: спички, картошку, старую кастрюлю, надувного гусенка, носочки с разноцветными пальчиками, шариковые ручки с лондонскими автобусами и сувенирного коалу с разболтавшимися глазками-пуговками.

— А что, если Амму нас найдет и будет *умолять* нас вернуться?

— Тогда вернемся. Но только если будет умолять.

Добросердечный наш Эста.

Софи-моль убедила близнецов в том, что им *необходимо* взять ее с собой. Потому что взрослые сильней раскаются, если *все* дети исчезнут разом. Тогда они будут убиваться по-настоящему,

как хамельнские горожане, когда их детей увёл Крысолов. Их примутся повсюду искать и решат уже, что всех троих нет в живых, — и тут они с триумфом вернутся домой. Родные, драгоценные и любимые куда больше прежнего. Решающим аргументом было то, что, если они оставят Софимоль дома, у нее пытками могут вырвать тайну их местонахождения.

Эста подождал, пока в лодку влезла Рахель, потом сел сам, оседлав суденышко, как доску качелей. Ногами оттолкнулся от берега. Когда стало чуть поглубже, они начали грести по диагонали — вперед и против течения, как их учил Велютта («Если хотите попасть вон туда, грести надо во-он туда»),

В темноте им не видно было, что они выруливают на встречную полосу глухого шоссе с бесшумно мчащимся транспортом. Что навстречу им на приличной скорости плывут ветки, стволы, обломки деревьев.

Они уже миновали Самую Глубину, совсем чуть-чуть оставалось до Того Берега, когда их лодка натолкнулась на плывущее бревно и перевернулась. Во время прежних путешествий через реку подобное с ними случалось, и тогда они добирались до берега вплавь, держась за лодку и

используя ее как спасательный круг. Но на этот раз из-за темноты они потеряли лодку из виду. Ее унесло течением. Они поплыли к берегу, дивясь тому, как много сил уходит на покрытие такого пустякового расстояния.

Эста сумел ухватиться за склоненную ветку, уходившую концом под воду. Он стал глядеть вниз по течению, надеясь увидеть в темноте лодку.

— Нет ничего там. Пропала наша лодка.

Рахель, вся перепачканная илом, вылезла на берег и подала Эсте руку, помогая ему выбраться из воды. Им понадобилось несколько минут, чтобы перевести дух и зафиксировать потерю лодки. Погоревать о ее гибели.

— И вся наша еда испорчена, — сказала Рахель, обращаясь к Софи-моль, и ответом было молчание. Несущееся, стремительное, рыбноплескучее молчание.

— Софи-моль! — прошептала она несущейся реке. — Мы здесь! Здесь! У иллимба-дерева!

Ничего.

На сердце у Рахели ночная бабочка Паппачи повела сумрачными крылышками.

Расправила.

Сложила.

И лапками.

Вверх.

Вниз.

Они побежали по берегу, крича и зовя ее. Но ее не было. Ее унесло по глухому шоссе. Серо-зеленому. В котором рыбы. В котором деревья и небо. В котором ночами — расколотая желтая луна.

На сей раз не было бурной музыки. Чернильные воды Миначала не закручивались водоворотом. Не было никакой акулы-свидетельницы.

Была тихая, деловитая передача. Лодка избавилась от своего груза. Река приняла его. Одну маленькую жизнь. Мимолетный лучик. С серебряным наперстком, зажатым в кулачке на счастье.

Было четыре утра — еще темно, — когда измученные, удрученные и грязные близнецы прошли тропкой через болото к Историческому Дому. Хензель и Гретель из мрачной сказки, в которой их мечты будут взяты в плен и перекроены. На задней веранде они легли на сенник, где уже лежали надувной гусенок и сувенирный медвежонок коала. Они были парочкой мокрых гномиков, ошалелых от страха, ожидающих конца света.

— Она уже мертвая, да?

Эста не ответил.

— И что теперь будет?

— Нас посадят в тюрьму.

Как Миленьких исправляться. Он-то знал, Малыш-Морячок. *Дверь открыл* бум-бум.

Они не заметили, что там уже кто-то спит в темноте. Одинокий, как волк. С коричневым листом на черной спине. Приносящим муссонные дожди, когда наступает их время.

Глава 17
Приморский вокзал, Кочин

Эста (не старый, не молодой) сидел в темноте на кровати в своей чистой комнате в заросшем грязью Айеменемском Доме. Он сидел очень прямо. Плечи расправлены. Руки на коленях. Как будто он был следующим в очереди на какой-то осмотр. Или ждал ареста.

Глажка была окончена. Готовое белье лежало аккуратной стопкой на гладильной доске. Он выгладил и свое, и Рахели.

Лило не переставая. Ночной дождь — словно одинокий барабанщик, без конца репетирующий свой дробный постук, хотя весь оркестр уже давно разошелся по домам спать.

В боковом дворике со стороны отдельного входа, некогда служившего Мужским Потребностям, старый «плимут» мгновенно блеснул в свете молнии хромированными крылышками. Год за годом после того, как Чакко уехал в Канаду, Крошка-кочамма следила за тем, чтобы машину регулярно мыли. Дважды в неделю муж сестры Кочу Марии, который водил в Коттаяме желтый

муниципальный мусоровоз, приезжал в Айеменем за жалованьем свояченицы (о чем возвещала вонь коттаямских отбросов, долго еще стоявшая после его отъезда) и за небольшую плату делал на «плимуте» круг, чтобы не сел аккумулятор. С появлением телевизора и антенны Крошка-кочамма разом забросила и сад, и автомобиль. Окончательно и бесповоротно.

С каждым муссоном старая машина все глубже оседала, врастая в землю. Она стала похожа на костлявую ревматическую курицу, основательно расположившуюся на яйцах. С твердым намерением сидеть вечно. Сдувшиеся колеса утонули в траве. Фанерный четырехугольник «Райских солений и сладостей» прогнил и завалился внутрь, как рухнувшая корона.

Ползучее растение любовалось своим отражением в крапчатом осколке водительского зеркальца.

На заднем сиденье лежал дохлый воробей. Он залетел внутрь через пробоину в ветровом стекле, думая разжиться поролоном для своего гнезда. И не сумел выбраться. Никто не заметил отчаянных просьб о помощи, посылаемых сквозь окна машины. Он издох на заднем сиденье, задравши вверх лапки. Словно на потеху кому-то.

Кочу Мария спала на полу в гостиной, свернувшись калачиком в мигающем свете невыключенного телевизора. Американские полицейские запихивали в машину какого-то парнишку в наручниках. На мостовой были брызги крови. Выла сирена, крутилась мигалка. Поодаль в полутьме стояла изможденная женщина — может быть, мать — и со страхом смотрела. Парнишка бился. Верхняя часть его лица была нарочно смазана, заменена мозаичным пятном, чтобы он потом не подал на них в суд. Вокруг его рта запеклась кровь, которая, попав на майку, образовала на ней подобие красного нагрудника. Он рычал и скалился, оттопыривая розовые детские губы. Он был похож на волчонка. Сквозь открытое окно машины он закричал телевизионщикам:

— Мне пятнадцать лет, и лучше бы я был пай-мальчиком. Но я не пай-мальчик. Рассказать вам про мою интересную жизнь?

Он плюнул в камеру, и слюна, кляксой влепившись в объектив, потекла по нему вниз.

* * *

Крошка-кочамма, сидя в кровати в своей спальне, заполняла купон, суливший две рупии скидки на новую пол-литровую бутылку листе-

рина и две тысячи рупий выигрыша каждому Счастливому Победителю объявленной фирмой лотереи.

По стенам и потолку спальни метались гигантские тени маленьких насекомых. Для борьбы с ними Крошка-кочамма погасила электрический свет и зажгла большую свечу в миске с водой. Поверхность воды уже сплошь была покрыта обугленными трупиками. Пламя свечи придавало ее нарумяненным щекам и накрашенным губам еще более нелепый вид. Ее косметика была размазана. Ее украшения блестели.

Она наклонила купон, чтобы на него лучше падал свет.

Какое полоскание для рта Вы обычно используете?

Листерин, написала Крошка-кочамма путаным старческим почерком.

Укажите мотивы Вашего выбора.

Она не колебалась. *Пикантный Вкус. Свежее Дыхание.* Она уже усвоила молодцеватый, отрывистый язык телерекламы.

Она вписала свое имя, фамилию и сильно преуменьшенный возраст.

В графе *Род занятий* она написала: *Декоративное Садоводство (дипл.) Роч., США.*

Она вложила купон в конверт, где было напечатано: *ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ, КОТТАЯМ.* Утром она даст его Кочу Марии перед тем, как та отправится в «Бестбейкери» за булочками с кремом.

Крошка-кочамма достала дневник в темно-бордовой обложке, снабженный специальной дневниковой авторучкой. Она нашла девятнадцатое июня и сделала новую запись. Все как обычно. Она написала: *Люблю тебя Люблю тебя.*

Эта запись стояла на каждой странице ее дневника. У нее был целый ящик, набитый дневниками с одинаковыми записями. На некоторых страницах, правда, было не только это. Порой примешивалась злоба дня. Списки дел, фразы из любимых телесериалов. Но даже эти страницы все равно начинались с обычных слов: *Люблю тебя Люблю тебя.*

Отец Маллиган умер четыре года назад от вирусного гепатита в ашраме — святом убежище — к северу от Ришикеша. Многолетнее изучение индуистских преданий повело вначале к теологическому любопытству, а впоследствии и к перемене веры. Пятнадцать лет назад отец Маллиган стал вайшнава — адептом Вишну. Он не прекратил переписку с Крошкой-кочаммой

даже после того, как поселился в ашраме. Он писал ей каждый год на Дивали — праздник огней — и неизменно присылал новогоднюю открытку. Несколько лет назад он прислал ей фотографию, на которой он обращался в религиозном лагере к группе пенджабских вдов среднего достатка. Все женщины были в белом, и головы их были укутаны концами сари. Отец Маллиган был в одеянии шафранного цвета. Желток, говорящий с морем вареных яиц. Борода и волосы у него были седые и длинные, но причесанные и ухоженные. Шафранный Санта Клаус с ритуальным пеплом на лбу. Крошка-кочамма не могла этому поверить. Из присланного им эта фотография была единственным, что она уничтожила. Он оскорбил ее тем, что в конце концов и вправду нарушил свой обет, но нарушил не ради нее. Ради нового обета. Словно ты, раскрыв объятия, ждешь кого-то — а он идет мимо, в другие объятия.

Смерть отца Маллигана ни на йоту не изменила формулировку записей в дневнике Крошки-кочаммы — ведь, насколько это касалось ее, смерть не сделала его менее доступным. Теперь даже, если хотите, она обладала им так, как никогда не обладала при его жизни. По крайней мере, память о нем была *ее.* Всецело — ее. Яростно,

свирепо — ее. Без всякой дележки с Верой и, уж во всяком случае, с соперницами и соперниками в лице монахинь, садху и кого бы то ни было еще. Всяких там свами.[55]

Его прижизненный отказ от нее (пусть мягкий и сочувственный, но все же отказ) был нейтрализован смертью. В ее воспоминаниях он обнимал ее. Ее одну. Обнимал так, как мужчина обнимает женщину. Когда отец Маллиган умер, Крошка-кочамма сняла с него нелепый шафранный балахон и заменила его сутаной цвета кока-колы, который она так любила. (Пока он был раздет, она наглядеться не могла на его худое, изможденное, христоподобное тело.) Она выкинула прочь его чашу для подаяния, потом сделала ему педикюр, чтобы привести в порядок его измозоленные индусские подошвы, и опять обула его в удобные сандалии. Она вновь превратила его в высоко поднимающего ноги верблюда, который некогда приходил к ним обедать по четвергам.

И каждый вечер, вечер за вечером, год за годом, дневник за дневником за дневником, она писала: *Люблю тебя Люблю тебя.*

Она вставила ручку обратно в специальное

---

[55] notes: 55
Садху, свами — духовные лица, святые (в индуизме).

гнездышко и закрыла дневник. Сняла очки; сдвинула с места языком зубные протезы; оборвала нити слюны, которые тянулись от них к деснам провисающими струнами арфы; опустила протезы в стакан с листерином. Идя ко дну, они послали наверх маленькие пузырьки-молитвы. Вот он, ее вечерний стаканчик. Черепно-улыбчивая газировка. Пикантные зубки поутру.

Крошка-кочамма откинулась на подушку и стала ждать, когда же наконец Рахель выйдет из комнаты Эсты. Они оба стали причинять ей беспокойство. Несколько дней назад, открыв утром окно (чтобы Глотнуть Свежего Воздуха), она засекла их Возвращающимися. Они явно всю ночь провели вне дома. Вместе. Где они могли быть? Что они могли помнить и насколько подробно? Когда они уедут? Что они там так долго делают, сидя вдвоем в темноте? Она так и уснула, прислонясь к подушке, с мыслью, что, скорее всего, из-за шума дождя и звуков телевизора она не услышала, как дверь Эсты открылась. Что Рахель, скорее всего, давно уже спит.

Рахель не спала.

Она лежала на кровати Эсты. Лежа она выглядела худее. Моложе. Ниже ростом. Ее лицо было обращено к окну, у которого стояла кровать. Ка-

пли косого дождя ударялись о прутья оконной решетки и дробились в мелкую водяную пыль, попадавшую на ее лицо и гладкую обнаженную руку. В темноте ее мягкая футболка без рукавов светилась желтым. Ее бедра и ноги в синих джинсах были окутаны тенью.

Чуточку холодно было. Чуточку влажно. Чуточку тихо. В Воздухе.

Что сказать еще?

Эста, сидевший в ногах кровати, видел ее, не поворачивая головы. Слабый очерк фигуры. Четкая линия подбородка. Ключицы, крыльями идущие от горловой впадины чуть не к самым краям плеч. Птица, которую не пускает лететь кожа.

Она повернула голову и посмотрела на него. Он сидел очень прямо. В ожидании осмотра. Он окончил глажку.

Она была мила ему. Ее волосы. Ее щеки. Ее маленькие, умные на вид ладони.

Сестра его.

В его голове болезненно застучало. Встречные поезда. Свет-тень-свет-тень на тебя, если сидишь у окна.

Он сел еще прямей. И все равно мог ее видеть. Вросшую в облик их матери. Жидкое поблескивание ее глаз в темноте. Маленький прямой нос. Ее

рот, полные губы. Что-то в них раненое. Словно она сжала их, отшатываясь от чего-то. Словно много лет назад кто-то — мужчина с кольцами на руке — ударил ее по ним наотмашь. Прекрасные, обиженные губы.

Прекрасные материнские губы, подумал Эста. Губы Амму.

Которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда. Вагон первого класса, Мадрасский Почтовый в Мадрас.

До свидания, Эста. Храни тебя Бог, сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы.

В последний раз тогда он ее видел.

Она стояла на платформе Приморского вокзала в Кочине, подняв лицо к окну поезда. Кожа серая, тусклая, лишенная внутреннего света неоновыми огнями вокзала. Дневной свет был заслонен поездами по обе стороны платформы. Длинными пробками, закупорившими мрак. Мадрасский Почтовый. Летучая Рани.

Рахель держала Амму за руку. Комарик на поводке. Мушка Дрозофила в сандалиях «бата». Фея Аэропорта на железнодорожном вокзале. Притопывающая ногами на платформе, поднимающая облака улегшейся было вокзальной пыли. Пока Амму не дернула ее за руку и не велела ей Пре-

кратить Это. Тогда она Прекратила Это. Вокруг толкалась и шаркала толпа.

Одним туда другим сюда багаж катить носильщикам платить детям писать-какать расстающимся плакать плевать бежать милостыню просить билеты доставать.

Эхом станционные звуки.

Разносчики продают кофе. Чай.

Тощие дети, белесые от недоедания, торгуют похабными журнальчиками и едой, которую не могут позволить себе есть сами.

Размякшие шоколадки. Конфетки для бросающих курить.

Апельсиновая газировка.

Лимонная газировка.

КокаколаФантаМороженоеРозовоемолоко.

Розовокожие куклы. Погремушки. «Токийская любовь».

Полые пластмассовые попугаи с отвинчивающимися головками, набитые конфетами.

Красные солнечные очочки в желтых оправах.

Игрушечные часики с нарисованными стрелками.

Целая тележка бракованных зубных щеток.

Приморский вокзал, Кочин.

Серый в неоновых огнях. Полые люди. Бездом-

ные. Голодные. Все еще не оправившиеся после прошлогоднего голода. Их революция отложена До Поры До Времени товарищем И. М. Ш. Намбудирипадом (*Советским Прихвостнем, Трусливым Псом*). Бывшим любимцем Пекина.

Воздух кишел мухами.

Слепой с голубыми, как выцветшие джинсы, глазами без век, с изрытой оспинами кожей беседовал с прокаженным без пальцев, время от времени ловко выхватывая для затяжки очередной окурок из лежавшей перед ним кучки.

— А ты-то сам-то? Давно сюда переехал?

Как будто у них были варианты. Как будто они выбрали себе это жилье из большого числа фешенебельных вилл, сфотографированных в глянцевом рекламном буклете.

Человек, сидевший на красных станционных весах, отстегнул свой ножной протез вполноги с нарисованными на нем черным ботинком и аккуратным белым носком. Полая икра с коленом-набалдашником была розового цвета, какими полагается быть порядочным икрам. (Воссоздавая образ человеческий, зачем повторять Господни ошибки?) Внутри он хранил билет. Полотенце. Стаканчик из нержавейки. Запахи. Секреты. Любовь. Безумие. Надежду. Бесконеч-

ную радость. Вторая его конечность — настоящая — обходилась без ботинка.

Он купил чаю для своего стаканчика.

Какую-то старуху вывернуло наизнанку. Бугристая лужа. И пошла дальше по своим делам.

Вокзальный Мир. Цирк человеческий. Куда в суматохе купли-продажи приходит домой отчаяние и где, медленно черствея, превращается в безразличие.

Но на сей раз Амму и ее близнецы наблюдали это не в окна «плимута». Не было у них страховочной сети, которая в случае чего подхватила бы их в цирковом воздухе.

Пакуй пожитки и уезжай, сказал Чакко. Переступая через сломанную дверь. В руке — дверная ручка. Амму, хотя пальцы у нее дрожали, не подняла глаз от бессмысленною шитья. На коленях у нее лежала открытая коробка с ленточками.

Рахель — другое дело. Она подняла глаза. И увидела, что Чакко исчез и на его месте возникло чудовище.

Толстогубый мужчина с кольцами на руке, одетый в белое и спокойный, купил на платформе у разносчика сигареты «Сизерс». Три пачки с изображением ножниц. Курить в коридоре поезда.

Выкрои себе поблажку –
Ароматную затяжку.

Ему предстояло сопровождать Эсту. Он был Друг Семьи, которому как раз нужно было ехать в Мадрас. Мистер Курьен Маатен.

Раз уж так вышло, что за Эстой есть кому присмотреть, Маммачи решила не тратиться на второй билет. Баба обеспечивал переезд Мадрас — Калькутта. Амму выигрывала Время. Ей надо было паковать и свои пожитки. Чтобы начать где-то новую жизнь, в которой она смогла бы содержать детей. Было решено, что до тех пор один из близнецов может оставаться в Айеменеме. Но не оба. Вместе их держать нельзя. *Кил ынатас.* Их следовало разъединить.

Может быть, они правы, шептала Амму, пакуя вещи Эсты в сундучок и рюкзачок. *Может быть, мальчику нужен Баба.*

У толстогубого было место в соседнем купе. Он сказал, что, когда поезд тронется, он постарается поменяться с кем-нибудь местами.

Он отошел, предоставив маленькую семью самой себе.

Он знал, что над ними парит черный ангел. Они движутся — он движется. Они стоят — он

стоит. Капая воском с изогнутой свечи.

И все знали.

Это было в газетах. Сообщения о смерти Софимоль, о «столкновении» полицейских с паравaном, подозреваемым в похищении и убийстве. О последовавшей за тем осаде коммунистами «Райских солений и сладостей», возглавляемой местным айеменемским Борцом за Справедливость и Защитником Обездоленных. Товарищ К. Н. М. Пиллей заявил, что Администрация сфабриковала дело против паравана, потому что он был активным членом коммунистической партии. Что она решила разделаться с ним за участие в Легальной Профсоюзной Деятельности.

Все это было в газетах. Официальная Версия.

О существовании другой версии толстогубый мужчина с кольцами, конечно, не догадывался.

Версии, в которой отряд Прикасаемых Полицейских переправился через реку Миначал, медлительную и вздувшуюся от недавнего дождя, и двинулся сквозь мокрые заросли, пробираясь к Сердцу Тьмы.

Глава 18
Исторический Дом

Отряд Прикасаемых Полицейских переправился через реку Миначал, медлительную и вздувшуюся от недавнего дождя, и двинулся сквозь мокрые заросли со звяканьем наручников в чьем-то грузном кармане.

Их широкие шорты защитного цвета, жесткие от крахмала, трепыхались поверх длинной травы, как немнущиеся юбки, двигаясь совершенно независимо от конечностей под ними.

Они шли всемером — Слуги Государства.

Прямота
Опыт
Лояльность
Интеллект
Целеустремленность
Истина
Ясность

* * *

Коттаямская полиция. Мультяшный отряд. Новоявленные принцы в смешных остроконечных

шлемах. Картон на хлопчатобумажной подкладке. С пятнами масла для волос. Неказистые короны защитного цвета.

Тьма Сердец.

Жестоко нацеленных.

Пробираясь в длинной траве, они высоко поднимали тонкие ноги. Ползучие растения цепляли их за ножную поросль, намокшую от росы. Лепестки и колючки мало-помалу разукрасили их унылые носки. Коричневые многоножки пристроились спать в подошвах их прикасаемых башмаков со стальными носами. Грубая трава ранила им ноги, оставляя на них перекрестья порезов. Когда они вышли на болото, под ногами у них зачавкала хлябь.

На них смотрели змеешейки, сидящие на вершинах деревьев и расправившие, как белье для сушки, свои мокрые крылья. Смотрели цапли. Бакланы. Зобатые аисты. Красноголовые журавли, ищущие себе площадку для танца. Рыжие цапли с безжалостными глазами. С оглушительным своим *уаак уаак уаак.* Матери, оберегающие гнезда с яйцами.

Пройдя болото, пахнущее застойной водой, они двинулись мимо старых деревьев, увитых лианами — гигантскими вьюнками «мани», диким

перцем, пурпурным остролистым плющом.

Мимо темно-синего жука, балансирующего на упругом лезвии травы.

Мимо гигантских паутин, выдержавших дождь, перекинутых от дерева к дереву, как нашептанные сплетни.

Мимо цветка банана в бордовом прицветнике, висящего на невзрачном деревце с драными листьями. Похожего на драгоценный камень в руке у расхристанного мальчишки. На самоцвет в зеленом бархате джунглей.

В воздухе спаривались малиновые стрекозы. Двухпалубно. Проворно. Один из полицейских восхищенно приостановился и на миг задумался о механике стрекозиного секса — что там у них куда. Потом его мысли щелчком переключились на Полицейские Дела.

Дальше.

Мимо высоких муравейников, присмиревших после дождя. Тяжело осевших, как опоенные зельем стражи у врат рая.

Мимо бабочек, пляшущих в воздухе, как радостные вести.

Мимо огромных папоротников.

Мимо хамелеона.

Мимо приводящей в оторопь китайской розы.

Мимо серых джунглевых курочек, заполошно кинувшихся врассыпную.

Мимо мускатного дерева, которого не нашел Велья Папан.

Раздваивающийся канал. Непроточный. Задушенный ряской. Похожий на дохлую зеленую змею. С берега на берег-поваленное дерево. Прикасаемые полицейские перешли по нему гуськом, семеня. Поигрывая полированными бамбуковыми дубинками.

Волосатые волшебники со смертоносными палочками.

Потом солнечный свет сделался чересполосным из-за тонких наклонных стволов. Тьма Сердец крадучись вступила в Сердце Тьмы. Стрекот сверчков то взбухал, то опадал.

Серые белки шмыгали по крапчатым стволам каучуковых деревьев, клонившихся к солнцу. На древесной коре виднелись старые шрамы. Зарубцевавшиеся. Невыпитые.

Акры плантации, затем травянистая поляна. На ней дом.

Исторический Дом.

Двери которого заперты, а окна открыты.

Внутри которого — холодные каменные полы и плывущие, качающиеся тени-корабли.

Восковые предки с жесткими безжизненными ногтями на ногах и запахом пожелтевших географических карт изо рта; их шелестящие шепотки.

Полупрозрачные ящерицы, живущие позади старых картин.

Дом, где мечты берутся в плен и перекраиваются.

Где пара двуяйцевых близнецов — Передвижная Республика с Зачесом, — воткнув подле себя в землю марксистский флаг, не убоялась призрака старого англичанина, пригвожденного к стволу дерева. Прокрадываясь мимо, полицейские не услышали его тихую мольбу. Добреньким таким миссионерским голоском. *Прошу прощения, не найдется ли у вас… эммм… случайно, может быть… одной сигарки? Нет?.. Ничего страшного, это я так просто.*

Исторический Дом.

Где в последующие годы Ужас (который вот-вот грянет во всю мощь) будет зарыт в неглубокой могиле. Спрятан под жизнерадостным гомоном гостиничных поваров. Под угодничеством старых коммунистов. Под растянутой смертью танцоров. Под историческими игрушками, которыми будут забавляться тут богатые туристы.

Это красивый был дом.

Белостенный в прошлом. Красночерепичный. Но теперь окрашенный в погодные цвета. Красками, взятыми с палитры естества. Мшистой зеленью. Глинистой ржавью. Грибковой чернью. Вследствие чего дом выглядел старше своих лет. Как утонувшее сокровище, поднятое с океанского дна. Обросшее ракушками, поцелованное китом. Спеленатое молчанием. Выдыхающее пузыри в разбитые окна.

По всему периметру стен шла широкая веранда. Сами комнаты были спрятаны в глубине, погружены в тень. Черепичная крыша накрывала дом, как днище огромной перевернутой лодки. Гниющие стропила, поддерживаемые с концов столбами некогда белого цвета, надломились посередине, из-за чего в крыше образовалась зияющая дыра. Историческая Дыра. Дыра в мироздании в форме Истории; дыра, сквозь которую в сумерки валили клубами, как фабричный дым, и уплывали в ночь густые безмолвные стаи летучих мышей.

На рассвете они возвращались со свежими новостями. Серое облачко в розовеющей дали вдруг черно сгущалось над крышей дома и стремительно всасывалось Исторической Дырой, как дым в фильме, который крутят назад.

Весь день потом они отсыпались, летучие мыши. Облепив изнутри крышу как меховая подкладка. Покрывая полы слоем помета.

Полицейские остановились и рассыпались веером. Особой нужды в этом не было, но отчего ж не поиграть — они любили эти прикасаемые игры.

Они рассредоточились по всем правилам. Притаились за низкой полуразрушенной каменной оградой.

Теперь отлить по-быстрому,

Горячая пена на теплом камне. Полицейская моча.

Муравьи тонут в желтой шипучке.

Глубокие вздохи.

Потом по команде, отталкиваясь локтями и коленями, ползком к дому. Прямо как киношная полиция. Скрытно-скрытно в траве. В руках — дубинки. В воображении — ручные пулеметы. На худощавых, но мужественных плечах — ответственность за весь прикасаемый мир.

Они обнаружили свою добычу на задней веранде. Испорченный Зачес. Фонтанчик, стянутый «токийской любовью». А в другом углу (одинокий, как волк) — столяр с кроваво-красными ногтями.

Он спал. Превращая тем самым в бессмыслицу все прикасаемые уловки полицейских.

Внезапная Атака.

В головах — готовые Заголовки.

ВЗБЕСИВШИЙСЯ
МАНЬЯК В ТЕНЕТАХ ПОЛИЦИИ.

За наглость эту, за порчу удовольствия добыча поплатилась, и еще как.

Они разбудили Велютту башмаками.

Эстаппен и Рахель были разбужены изумленным воплем человека, которому среди сна стали крушить коленные чашечки.

Крики умерли в них и всплыли брюхом вверх, как дохлые рыбы. Притаившись на полу, пульсируя между ужасом и отказом верить, они увидели, что избиваемый — не кто иной, как Велютта. Откуда он взялся? Что натворил? Почему полицейские привели его сюда?

Они услышали удары дерева о плоть. Башмака о кость. Башмака о зубы. Глухой хрюкающий звук после тычка в желудок. Клокотание крови в груди человека, легкое которого порвано зазубренным концом сломанного ребра.

С посиневшими губами и круглыми, как блюдца, глазами они смотрели, завороженные тем, что они ощущали не понимая. Отсутствием всякой прихоти в действиях полицейских. Пропастью там, где ожидаешь увидеть злобу. Трезвой, ров-

ной, бережливой жестокостью.

Словно откупоривали бутылку.

Или перекрывали кран.

Рубя лес, откалывали щепки.

Близнецы не понимали по малолетству, что эти люди — всего-навсего подручные истории. Посланные ею свести счеты и взыскать долг с нарушителя ее законов. Движимые первичным и в то же время, парадоксальным образом, совершенно безличным чувством. Движимые омерзением, проистекающим из смутного, неосознанного страха — страха цивилизации перед природой, мужчины перед женщиной, сильного перед бессильным.

Движимые подспудным мужским желанием уничтожить то, что нельзя подчинить и нельзя обожествить.

Мужской Потребностью.

Сами не понимая того, Эстаппен и Рахель стали в то утро очевидцами клинической демонстрации в контролируемых условиях (все-таки это была не война и не геноцид) человеческого стремления к господству. К структуризации. К порядку. К полной монополии. То была человеческая История, являющая себя несовершеннолетней публике под личиной Божьего Промысла.

В то утро на веранде не произошло ничего произвольного. Ничего *случайного.* Это не было изолированное избиение, это не была личная разборка. Это была поступь эпохи, впечатывающей себя в тех, кому довелось в ней родиться.

История живьем.

Если они изуродовали Велютту сильней, чем намеревались, то потому лишь, что всякое родство, всякая связь между ним и ими, всякое представление о том, что, биологически по крайней мере, он им не чужой, — все это было обрублено давным-давно. Они не арестовывали человека, а искореняли страх. У них не было инструмента, чтобы отмерить допустимую дозу наказания. Не было способа узнать, насколько сильно и насколько непоправимо они изувечили его.

В отличие от буйствующих религиозных фанатиков или армий, брошенных на подавление бунта, отряд Прикасаемых Полицейских действовал в то утро в Сердце Тьмы экономно, без горячки. Эффективно, без свалки. Четко, без истерики. Они не выдирали у него волос, не жгли его заживо. Не отрубали ему гениталий и не засовывали их ему в рот. Не насиловали его. Не обезглавливали.

В конце концов, они же не с эпидемией боро-

лись. Они всего-навсего гасили мелкий очажок инфекции.

На задней веранде Исторического Дома, видя, как ломают и уродуют человека, которого они любили, госпожа Ипен и госпожа Раджагопалан — Двуяйцевые Представители Бог Знает Чего — усвоили два новых урока.

Урок Первый:

Кровь плохо видна на Черном Теле. (Бум-бум)

А также

Урок Второй:

Пахнуть она пахнет.

Тошнотворная сладость.

Словно от старых роз принесло ветром. (Бум-бум)

— *Мадийо?* — спросил один из Проводников Истории.

— *Мади айриккум,* — ответил другой.

Хватит?

Хватит.

Они отступили чуть назад. Мастера, оценивающие свое изделие. Выискивающие наиболее выигрышный ракурс.

Их Изделие, которое предали Бог, История, Маркс, Мужчина и Женщина, которое очень ско-

ро предадут еще и Дети, лежало скрючившись на полу. Велютта не шевелился, хотя наполовину был в сознании.

Его лицевые кости были сломаны в трех местах. Перебиты были нос и обе скулы, отчего лицо стало мякотным, нечетким. Ударом в рот ему раскроили верхнюю губу и выбили шесть зубов, три из которых теперь торчали из нижней губы в отвратительной, опрокинутой пародии на его прекрасную улыбку. Четыре ребра были сломаны, одно вонзилось в его левое легкое, из-за чего у него пошла горлом кровь. Ярко-красная при каждом выдохе. Свежая. Пенистая. В нижней части брюшной полости начала скапливаться кровь из-за прободения кишки и внутреннего кровотечения. Позвоночник был поврежден в двух местах, что вызвало паралич правой руки и потерю контроля за функциями мочевого пузыря и прямой кишки. Обе коленные чашечки были разбиты.

Все же они достали наручники.

Холодные.

С кислометаллический запахом. Как от железных автобусных поручней и ладоней кондуктора. Тут-то они и увидели его раскрашенные ногти. Один взял его за запястье и кокетливо помахал в

воздухе пальцами. Все расхохотались.

— Ну и ну, — сказал кто-то фальцетом. — Из этих, из бисексов, что ли?

Другой пошевелил дубинкой его половой член.

— Сейчас он нам секрет свой фирменный покажет. До какой длины он у него надувается.

Он поднял башмак с забившимися в бороздки подошвы многоножками и опустил его с глухим стуком.

Они завели руки Велютты ему за спину.

Щелк.

И щелк.

Под Листом Удачи. Под осенним листом в ночи. Приносящим муссонные дожди, когда наступает их время.

У него была гусиная кожа в тех местах, где руки защемили наручниками.

— Это не он, — прошептала Рахель Эсте. — Я знаю. Это его брат-близнец. Урумбан. Который в Кочине живет.

Не желая искать убежища в фантазии, Эста ничего не ответил.

Кто-то с ними заговорил. Добренький прикасаемый полицейский. Добренький к своим.

— Мон, моль, как вы? Что он вам сделал?

Не вместе, но почти вместе близнецы ответили

шепотом:

— Хорошо. Ничего.

— Не бойтесь. Мы вас в обиду не дадим.

Полицейские стали осматриваться и увидели сенник. Кастрюли и сковородки.

Надувного гусенка.

Сувенирного коалу с разболтавшимися глазками-пуговками.

Шариковые ручки с лондонскими улицами.

Носочки с разноцветными пальчиками.

Красные пластмассовые солнечные очочки в желтой оправе.

Часики с нарисованными стрелками.

— А это чье? Откуда? Кто это сюда натащил? — Нота беспокойства в голосе.

Эста и Рахель, полные дохлых рыб, смотрели на него молча.

Полицейские переглянулись. Они смекнули, что надо сделать.

Сувенирного коалу взяли для своих детишек.

Ручки и носочки — тоже. У полицейских детишек будут на ногах разноцветные пальчики.

Гусенка прожгли сигаретой. *Хлоп.* Резиновые ошметки зарыли.

Никчемушный гусь. Слишком узнаваемый.

Очочки один из них надел. Другие засмеялись,

поэтому он какое-то время их не снимал. Про часики все дружно забыли. Они остались в Историческом Доме. На задней веранде. Ошибочно фиксируя время события. Без десяти два.

Они отправились к реке.

Семеро принцев с карманами, набитыми игрушками.

Пара двуяйцевых близнецов.

И Бог Утраты.

Идти он не мог. Так что пришлось тащить.

Никто их не видел.

Летучие мыши, они слепые ведь.

Глава 19
Как спасали Амму

В полицейском участке инспектор Томас Мэтью послал за двумя стаканчиками кока-колы. С соломинками. Нижний чин услужливо принес их на пластмассовом подносе и дал двоим перепачканным детям, которые сидели у стола напротив инспектора, лишь ненамного возвышаясь головами над настольной мешаниной бумаг и папок.

Итак, второй раз за две недели Эста хлебнул Страха. Холодного. Шипучего. Нет, хуже идут дела с кока-колой.

Ему шибануло в нос. Он рыгнул. Рахель хихикнула. Она стала дуть в соломинку, пока газировка не потекла ей на платье. И на пол. Эста принялся читать вслух плакат на стене.

— атомяр**П**, — сказал он. — тып**О**, ьтсоньляо**Л**.

— ткеллетн**И**, ьтсоннелмертсуеле**Ц**, — подхватила Рахель.

— анитс**И**.

— ьтсонс**Я**.

Инспектор Томас Мэтью — надо отдать ему должное — и бровью не повел. Он уже успел

почувствовать нарастающую в детях неадекватность. Обратил, к примеру, внимание на расширенные зрачки. Все это было ему знакомо… Аварийные клапаны человеческой психики. Ее уловки в борьбе с травмой. Делая на это скидку, он задавал вопросы по-умному. Как бы невзначай. Вворачивая их между «Когда у тебя день рождения, мон?» и «Какой твой любимый цвет, моль?»

Мало-помалу — кусочками, вне последовательности — картина начала проясняться. Подчиненные сообщили ему про кастрюли и сковородки. Про сенник. Про дорогие сердцу игрушки. Все это обрело наконец смысл. Инспектор Томас Мэтью не видел в том, что он узнал, ровно ничего забавного. Он послал джип за Крошкой-кочаммой. Позаботился о том, чтобы в момент ее появления детей в комнате не было. Когда она вошла, он не удостоил ее приветствия.

— Сядьте-ка, — сказал он. Крошка-кочамма сразу почувствовала худое.

— Нашлись они, да? Все хорошо?

— Ничего хорошего, — осадил ее инспектор.

По его глазам и по голосу Крошка-кочамма поняла, что теперь имеет дело с другим человеком. Уже отнюдь не с тем предупредительным полицейским чином. Она опустилась на стул.

Инспектор Томас Мэтью не стал рассусоливать.

Коттаямская полиция действовала, основываясь на *ее* заявлении. Параван пойман. К сожалению, при задержании он был серьезно ранен и, по всей вероятности, дальше ночи не протянет. Однако дети заявляют, что ушли из дома по собственной воле. Их лодка перевернулась, и девочка-англичанка утонула вследствие несчастного случая. Таким образом, полиция получает в подарок Смерть Задержанного, который с формальной точки зрения невиновен. Да, он параван. Да, он вел себя плохо. Но времена теперь смутные, и формально, если держаться закона, он невиновен. На чем прикажете дело строить?

— Покушение на изнасилование? — робко предложила Крошка-кочамма.

— Где тогда заявление потерпевшей? Не вижу что-то. Написала она его? Оно у вас с собой? — Тон инспектора был враждебным. Почти угрожающим.

Крошка-кочамма словно разом усохла. Щеки и подглазья дрябло обвисли. Слюна во рту сделалась кислой от страха, дрожжами забродившего во всем теле. Инспектор подвинул к ней стакан воды.

— Дело обстоит проще некуда. Либо потерпев-

шая пишет жалобу. Либо дети в при сутствии свидетеля от полиции подтверждают, что параван увел их силой. Либо… — Он выждал, пока Крошка-кочамма посмотрит ему в глаза. — Либо мне придется привлечь вас за подачу заведомо ложного заявления. Подсудное дело.

От пота голубая блузка Крошки-кочаммы пошла темно-синими пятнами. Инспектор Томас Мэтью не торопил ее. Он знал, что при нынешней политической обстановке у него могут быть серьезные неприятности. Он понимал, что товарищ К. Н. М. Пиллей такой возможности не упустит. Он корил себя за импульсивность действий. Взявши полотенце, он засунул руку с ним под рубашку и вытер грудь и подмышки. В кабинете было тихо. Звуки полицейского участка — топот башмаков, изредка чей-то крик боли во время допроса — казались нездешними, словно доносились издали.

— Дети сделают как им будет велено, — заверила его Крошка-кочамма. — Можно мне поговорить с ними наедине?

— Как вам будет угодно. — Инспектор встал, чтобы выйти из кабинета.

— Дайте мне, пожалуйста, пять минут, прежде чем их впустят.

Инспектор Томас Мэтью кивнул в знак согла-

сия и вышел.

Крошка-кочамма утерла блестящее от пота лицо. Потом запрокинула голову, чтобы промокнуть концом сари складки между валиками шейного жира. Поцеловала свое распятие.

Радуйся, Мария, Благодатная…

Слова молитвы убегали от нее.

Дверь отворилась. Впустили Эсту и Рахель. Покрытых запекшейся грязью. Облитых кока-колой.

Вид Крошки-кочаммы разом их отрезвил. Ночная бабочка с необычно густыми спинными волосками повела крылышками над сердцами обоих. *Почему она? А где Амму? Все еще заперта?*

Крошка-кочамма окинула их суровым взором. Потом долго держала паузу. Когда она наконец заговорила, ее голос был хриплым и чужим.

— Чья это лодка была? Где вы ее взяли?

— Наша. Мы ее нашли. Велютта ее нам починил, — пролепетала Рахель.

— Давно вы нашли ее?

— В тот день, когда приехала Софи-моль.

— И вы крали вещи из дома и возили в ней через реку?

— Мы играли так…

– *Играли?* Вот как вы это называете.

Крошка-кочамма долго смотрела на них, прежде чем вновь заговорить.

— Тельце вашей бедной двоюродной сестрички лежит у нас в гостиной. Рыбы выели ей глаза. Ее мать плачет-убивается. И вы это называете — *играли?*

Внезапный ветерок взметнул на окне занавеску с цветочками. За окном Рахель увидела стоящие джипы. Идущих людей. Один пытался завести мотоцикл. Всякий раз, когда он вспрыгивал на ножной стартер, его шлем съезжал набок.

А в кабинете инспектора Бабочка Паппачи трудилась без устали.

— Ужасно лишить кого-то жизни, — сказала Крошка-кочамма. — Это самое страшное, что может сделать человек. Даже *Господь* этого не прощает. Это вам известно?

Две головы кивнули два раза.

— Тем не менее вы, — она уставила на них скорбный взгляд, — это сделали. — Она посмотрела в глаза одному и другой. — Вы убийцы. — Она подождала, пока это в них ляжет.

— Это не был несчастный случай, и вы знаете, что я это знаю. Ведь вы ей завидовали. И если будет суд, если судья спросит меня, я должна буду

ему все рассказать. Я же не могу ему лгать. — Она похлопала рукой по соседнему стулу. — Идите-ка, сядьте.

Четыре послушные ягодицы примостились на стуле.

— Я должна буду ему сказать, что вам Строго-Настрого запрещалось одним ходить к реке. Что вы заставили ее пойти с вами, хотя знали, что она не умеет плавать. Что посреди реки вы ее вытолкнули из лодки. Это ведь не был несчастный случай, не был.

Четыре блюдца смотрели на нее. Завороженные ее рассказом. *И что же было дальше?*

— Теперь вас за это отправят в тюрьму, — сказала Крошка-кочамма добрым голосом. — А маму вашу по вашей милости отправят в другую тюрьму. Довольны?

Испуганные глаза и фонтанчик смотрели на нее.

— Троих рассадят по трем разным тюрьмам. Знаете, какие тюрьмы у нас в Индии?

Две головы крутанулись два раза.

И Крошка-кочамма прочла им лекцию. Из своего воображения она извлекла красочные картины тюремной жизни. Хрусткая от тараканов еда. *Чичи,* громоздящееся в уборных мягкими ко-

ричневыми Гималаями. Клопы. Побои. Она особо подчеркнула длительность срока, который по их милости получит Амму. Выйдет она из тюрьмы старой, больной женщиной с волосами, полными вшей, — если, конечно, выйдет вообще, если не сгинет в заключении. Последовательно, голосом, полным доброты и участия, она обрисовала им их собственное мрачное будущее. Растоптав всякую надежду до последнего лучика, разрушив их жизни до основания, она, как волшебница-крестная, преподнесла им избавление. Господь никогда не простит их за то, что они натворили, но здесь, на земле, есть способ исправить хотя бы часть вреда. Спасти их маму от грозящих ей страданий и унижения. Если, конечно, они в состоянии вести себя как разумные дети.

— К счастью, — сказала Крошка-кочамма, — к счастью для вас, полиция допустила ошибку. *Счастливую* ошибку. — Она помолчала. — Вы понимаете, о чем я говорю, правда ведь?

В стеклянном пресс-папье на столе у полицейского были замурованы люди. Эста их видел. Вальсирующий мужчина и вальсирующая женщина. На ней было белое платье с гладкими ногами под ним.

— Понимаете или нет?

В пресс-папье звучал стеклянный вальс. Маммачи играла этот вальс на скрипке.

Та-та-та-та-там.

Татам-татам.

— Что сделано, — втолковывал им голос Крошки-кочаммы, — того не воротишь. Инспектор говорит, что он все равно умрет. Поэтому ему уже не важно, что подумает полиция. А нам важно вот что: хотите вы отправиться в тюрьму и отправить туда Амму? Или не хотите? Решайте.

Внутри пресс-папье виднелись пузырьки, создававшие впечатление, будто мужчина и женщина вальсируют под водой. Они выглядели счастливыми. Может быть, они собирались пожениться. Она была в белом платье. Он — в черном костюме и галстуке-бабочке. Они нежно смотрели друг другу в глаза.

— Если вы хотите спасти ее, вам всего-навсего надо будет пойти, куда скажет дядя с большими *мисас*.[56] Он задаст вам вопрос. Один вопрос. Вам всего-навсего надо будет ответить: «Да». И мы поедем домой. Вот как все просто. Я думаю, это недорогая плата.

Крошка-кочамма следила за взглядом Эсты. Ей

---

[56] notes: 56
Усами (малаялам).

хотелось схватить пресс-папье и вышвырнуть в окно, но этого она сделать не могла. Сердце у нее колотилось.

— Ну? — сказала она, улыбаясь широко и нетвердо, голосом, в котором уже ясно сквозило напряжение. — Что мне ответить дяде инспектору? Как мы решим? Спасем Амму или отправим ее в тюрьму?

Словно она предлагала им выбор между двумя развлечениями. Рыбачить или свиней окатывать? Свиней окатывать или рыбачить?

Близнецы подняли на нее глаза. Не вместе (но почти) два испуганных голоска прошептали:

— Спасем Амму.

Год за годом они будут прокручивать в уме эту сцену. В отрочестве. В юности. И позже. Вовлекли ли их в то, что они сделали, обманом? Принудили ли хитростью назвать невиновного виновным?

Отчасти — да. И все же дело обстояло не так просто. Оба они понимали, что им предоставлен выбор. И с какой же быстротой они его сделали! Секунду, не больше, медлили они, прежде чем подняли глаза и сказали (не вместе, но почти): «Спасем Амму». Спасем себя. Спасем свою мать.

Крошка-кочамма просияла. Облегчение подействовало на нее как слабительное. Ей понадо-

билось в уборную. Срочно. Она открыла дверь и попросила позвать инспектора.

— Они славные детки, — сказала она ему, когда он пришел. — Они пойдут и скажут.

— Обоим не нужно. Хватит одного, — сказал инспектор Томас Мэтью. — Выбирайте. Мон. Моль. Кто?

— Эста, — решила Крошка-кочамма. Из них двоих он был более практичным. Более сговорчивым. Более благоразумным. Более ответственным. — Иди ты. Хороший мальчик.

Малыш-Морячок. Дверь открыл бум-бум.

Эста отправился.

Представитель Э. Пелвис. С круглыми, как блюдца, глазами и испорченным зачесом. Малорослый Представитель в сопровождении высокорослых полицейских отправился со страшной миссией в недра коттаямского полицейского участка. Их шаги по каменным плитам пола отдавались в коридоре эхом.

Рахель осталась в кабинете инспектора слушать грубые звуки, которые издавало за стенкой облегчение Крошки-кочаммы, извергаясь в унитаз инспекторской уборной.

— Надо же, слив не работает, — сказала она, выходя. — Прямо беда. — Смущенная тем, что ин-

спектор увидит цвет и консистенцию ее стула.

В камере была кромешная тьма. Эста ничего не видел, только слышал дыхание, хриплое и трудное. Запах кала вызвал у него рвотный позыв. Кто-то включил свет. Яркий. Слепящий. На склизком нечистом полу возник Велютта. Искалеченный джинн, вызванный к жизни современной лампой. Он был голый, грязное мунду размоталось. Из черепа сочилась темная потаенная кровь. Лицо опухло, и голова казалась тыквой, слишком большой и тяжелой для стройного стебелька, из которого она выросла. Тыквой с чудовищной перевернутой улыбкой. Полицейские башмаки старались не наступить в лужу мочи, где отражалась яркая голая электрическая лампочка.

Дохлые рыбы всплыли в Эсте брюхами вверх. Один из полицейских попытался растолкать Велютту носком башмака. Безуспешно. Инспектор Томас Мэтью сел на корточки и с силой черкнул ключом от «джипа» по подошве босой ноги. Опухшие глаза открылись. Вначале бессмысленно блуждали. Потом остановились, глядя на любимое дитя сквозь кровавую поволоку. Эсте почудилось, будто что-то в лежащем улыбнулось. Не губы, а какая-то другая, неповрежденная часть

тела. Локоть, может быть. Или плечо.

Инспектор задал свой вопрос. Губы Эсты ответили *Да.*

Детство на цыпочках вышло вон.

Безмолвие вошло в паз, как стержень засова.

Кто-то выключил свет, и Велютта исчез.

На обратном пути Крошка-кочамма попросила остановить полицейский «джип» у «Действенных медикаментов» и купила успокоительное. Она дала по две таблетки одному и другой. Когда подъехали к мосту Чунгам, у них уже слипались глаза. Эста прошептал Рахели на ухо:

— Ты правду сказала. Это не он. Это Урумбан.

— Слава бхогу, — прошептала в ответ Рахель.

— А где он сам, как думаешь?

— Убежал в Африку.

Они были переданы матери крепко спящими, плывущими на волне этой иллюзии.

До следующего утра, когда Амму растрясла их и вернула к действительности. Но тогда было уже поздно.

Инспектор Томас Мэтью, дока в этих делах, оказался прав. Велютта не протянул дальше ночи.

В половине первого его постигла Смерть.

А маленькую семейку, спящую одним клубочком на вышитом синим крестиком покрывале?

Что ее постигло?

Не смерть. Просто конец житья.

* * *

Когда Амму после похорон Софи-моль привезла их обратно в полицейский участок и инспектор выбрал свои манго (*раз, два*), тело уже ликвидировали. Кинули в *теммади кужи* — яму для нищих, куда полицейские обычно кидали своих мертвецов.

Узнав о приходе Амму в полицию, Крошка-кочамма ужаснулась. Все, что она, Крошка-кочамма, совершила, основывалось на одном допущении. Она сделала ставку на то, что Амму, как бы она ни вела себя, в каком бы ни была гневе, никогда не признается публично в своей связи с Велюттой. Поскольку, как считала Крошка-кочамма, это значило бы погубить и себя, и детей. Окончательно. Но Крошка-кочамма не учла, что Амму могла стать Опасной Бритвой. Что в ней смешалось то, что не смешивается, — бесконечная нежность материнства и безоглядная ярость самоубийцы-бомбометательницы.

Реакция Амму ошеломила ее. Земля стала уходить у нее из-под ног. Да, у нее был союзник в лице

инспектора Томаса Мэтью. Но надолго ли? Что, если его переведут в другое место и примутся пересматривать дело? Это было вполне возможно, ведь вон какую кричащую, скандирующую толпу партийных активистов сумел собрать товарищ К. Н. М. Пиллей и привести к воротам фабрики. Они вынудили персонал прекратить работу, и манго, бананы, ананасы, чеснок и имбирь огромными кучами лежали и медленно гнили на территории «Райских солений».

Крошка-кочамма понимала, что надо как можно скорее изгнать Амму из Айеменема.

Ради этого она пустила в ход то, в чем была сильна. Кто-кто, а она умела орошать свои поля и питать свои урожаи страстями других людей.

Словно крыса в кладовку, проникла она в горехранилище Чакко. Там она воздвигла простую, доступную мишень для его безумной ярости. Ей нетрудно было изобразить Амму подлинной виновницей смерти Софи-моль. Амму вкупе с ее двуяйцевыми.

Ломающий дверь Чакко был всего-навсего горестным быком, беснующимся на привязи у Крошки-кочаммы. Это *ее* идея была, чтобы Амму собрала пожитки и уехала. Чтобы Эста был Отправлен.

Глава 20
Мадрасский Почтовый

И вот на Приморском вокзале Кочина за решеткой вагонного окна — Эста Один. Представитель Э. Пелвис. Жерновок с зачесом. И вздымающееся, кренящееся, тинисто-зеленое, набухающе-водное, морское, плывущее, бездонно-тяжелодонное ощущение. Его именной сундучок был задвинут под сиденье. Его коробка, набитая сандвичами с помидорами, и его Орлиная фляжка стояли на откидном столике.

Жующая рядом дама в пурпурно-зеленом канчиварамском сари, с брильянтами, облепившими крылья носа, как блестящие пчелки, протянула ему коробку с желтыми ладду — сладкими шариками из теста. Эста покачал головой. Она все улыбалась и не отставала, ее добренькие глаза превратились в щелочки за стеклами очков. Она причмокивала губами.

— Ну хоть одну штучку. Сладкие-пресладкие, — сказала она по-тамильски. *Ромбо мадурам.*

— Сладкие, — подтвердила по-английски ее старшая дочка, которой было примерно столько

же лет, сколько Эсте.

Эста покачал головой еще раз. Дама взъерошила ему волосы и испортила зачес. Ее семья (муж и трое детей) уже вовсю жевала. Крупные желтые округлые крошки ладду на сиденье. Железнодорожные вздроги под ногами. Голубой ночной свет пока не включен.

Маленький сынишка жующей дамы потянулся и включил его. Дама потянулась и выключила. Она объяснила ему, что это свет для спанья, а не для бодрствования.

В вагоне первого класса все было зеленое. Сиденья — зеленые. Спальные полки — зеленые. Пол — зеленый. Цепочки — зеленые. Одно темно-, другое светло-.

ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ДЕРНИТЕ ЦЕПОЧКУ, было написано зелеными буквами.

ЯЛД ЙОННЕРТСКЭ ИКВОНАТСО ЕТИНРЕД УКЧОПЕЦ, подумал Эста зелеными мыслями.

Сквозь решетку окна Амму дотянулась до его руки.

— Храни билет, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы. — Придут и проверят.

Эста кивнул, глядя в лицо Амму, поднятое к окну. Глядя на Рахель, маленькую и чумазую от вокзальной пыли. Всех троих связывало четкое,

раздельное знание, что их любовь загубила человека.

Об этом в газетах ничего не было.

Годы прошли, прежде чем близнецы поняли роль Амму в случившемся. На отпевании Софимоль и все время до Отправки Эсты они видели ее опухшие глаза и с детским эгоцентризмом считали себя единственной причиной ее сокрушения.

— Сандвичи съешь, пока они свежие, — сказала Амму. — И не забывай писать письма.

Она осмотрела ногти на маленькой ручке, которую держала, и вычистила черный серпик грязи из-под ногтя большого пальца.

— Присматривай сам за моим родненьким. Пока я не приехала и не забрала его.

— Когда, Амму? Когда ты заберешь меня?

— Скоро.

— Когда? Если точно?

— Скоренько, родной. Как только смогу.

— Через месяц и еще месяц? Да, Амму? — Нарочно делая срок очень долгим, что бы Амму сказала: *Раньше, Эста. Ты думай головой. Ведь тебе в школу.*

— Как только я найду работу. Как только уеду отсюда и устроюсь, — сказала Амму.

— Но ведь это ждать не дождаться! — Волна паники. Бездонно-тяжелодонное ощущение.

Жующая дама доброжелательно прислушивалась.

— Слышите, как он по-английски хорошо? — сказала она своим детям по-тамильски.

— Ждать не дождаться, — задиристо повторила за ним старшая дочка. — Ждать-не-до-ждать-ся.

Произнося эти слова, Эста хотел только сказать, что ждать надо будет долго. Что это не случится *вот-вот*, что это не случится скоро.

Говоря: «Ждать не дождаться», он не хотел сказать: «Этого никогда не будет».

Так уж вылетело.

Но ведь это ждать не дождаться!

Они взяли и поймали его на слове.

Кто — они?

Государство.

Которое забирает людей Как Миленьких исправляться.

И вот как все обернулось.

Ждать. Не дождаться.

Это *его* вина была, что человек в груди Амму перестал кричать. *Его* вина, что она умерла одна в гостинице, где некому было лечь сзади и поговорить с ней.

Потому что именно он произнес слова. *Амму, ведь это ждать не дождаться!*

— Не глупи, Эста. Скоро, — сказали губы Амму. — Я стану учительницей. Открою школу. И вы с Рахелью будете в ней учиться.

— И нам это будет по карману, потому что она будет наша! — сказал Эста с его неистребимым прагматизмом. Не упускать из виду свой шанс. Бесплатные автобусные поездки. Бесплатные похороны. Бесплатная учеба. Малыш-Морячок. Дверь открыл бум-бум.

— У нас будет свой дом, — сказала Амму.

— Маленький домик, — уточнила Рахель.

— А в школе у нас будут классы и доски, — сказал Эста.

— И мел.

— И Настоящие Учителя по всем предметам.

— И наказания кому за что, — сказала Рахель.

Вот из какого материала были скроены их мечты. В день, когда Эста был Отправлен. Мел. Доски. Наказания кому за что.

Они не просили отпустить их безнаказанными. Они только просили о наказании, соответствующем тяжести проступка. Не о таком, которое похоже на шкаф со встроенной спальней. Не о таком, в котором можно провести всю жизнь,

бродя по лабиринту темных полок.

Без всякого предупреждения поезд пошел. Медленно-медленно.

Зрачки Эсты расширились. Его ногти впились в руку Амму, двинувшейся вместе с поездом. Сперва шагом, потом бегом, потому что Мадрасский Почтовый набирал скорость.

Храни тебя Бог, родной мой. Сыночка. Я за тобой скоро!

— Амму! — сказал Эста, когда она стала отпускать его руку. Один маленький пальчик за другим. — Амму! Мне рвотно! — Голос Эсты взлетел до жалобного вопля.

Малыш Элвис-Пелвис с испорченным выходным зачесом. В бежевых остроносых туфлях. Сам уехал, а голос остался.

На платформе Рахель сложилась пополам и зашлась криком. Поезда не стало. Возник дневной свет.

Двадцать три года спустя Рахель, темная женщина в желтой футболке, поворачивается к Эсте в темноте.

— Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон, — говорит она.

Шепчет ему.

Ее губы двигаются.

Прекрасные материнские губы.

Эста, сидящий в ожидании ареста очень прямо, подносит к ним пальцы. Хочет коснуться рождаемых ими слов. Удержать шепот. Его пальцы идут вдоль них. Чувствуют твердость зубов. Его руку не отпускают, целуют.

Прижимают к холоду щеки, влажной от дождевой пыли.

Она села и обняла его. Потянула вниз, чтобы он лег рядом.

И долго они лежали. В темноте, без сна. Немота и Опустелость.

Не старые. Не молодые.

В жизнесмертном возрасте.

Они были чужаки, встретившиеся случайно.

Они знали друг друга еще до начала Жизни.

О том, что случилось дальше, очень мало внятного можно сказать. И ровно ничего, что (согласно понятиям Маммачи) отделило бы Секс от Любви. Потребности от Чувств.

Только то, пожалуй, что никакой Зритель не глядел сквозь глаза Рахели. Ни в окно на морские волны. Ни на плывущую по реке лодку. Ни на идущего сквозь туман прохожего в шляпе.

Только то, пожалуй, что чуточку холодно было.

Чуточку влажно. Но очень тихо. В Воздухе.

Что сказать еще?

Что были слезы. Что Немота и Опустелость вложились одна в другую, как две ложки в одной коробочке. Что были шумные вздохи у впадины милого горла. Что на твердом, медового цвета плече остался полукруг от зубов. Что долго после того, как все было кончено, они не отпускали друг друга. Что не радость они делили в ту ночь, а жесточайшее горе.

Что вновь были нарушены Законы Любви. Законы, определяющие, кого следует любить. И как. И насколько сильно.

По крыше заброшенной фабрики одинокий барабанщик стучал не переставая. Хлопала сетчатая дверь. Мышь перебежала от стены к стене по фабричному полу. Старые чаны для солений и маринадов были затканы паутиной. Все пустые, кроме одного — где окаменевшей кучкой лежал белый прах. Костный прах Сипухи. Давно умершей. Промаринованной.

Давая ответ на вопрос Софи-моль: *Чакко, где умирают старые птицы? Почему умершие не хлопаются камнями с неба нам на головы?*

Заданный вечером в день ее приезда. Она стояла на бортике декоративного пруда Крош-

ки-кочаммы и смотрела на кружащих в небе хищных птиц.

Софи-моль. В шляпке и брючках клеш, Любимая с самого Начала.

Маргарет-кочамма (знавшая, что, если ты находишься в Сердце Тьмы, то а) *с Кем Угодно может случиться Что Угодно*) позвала ее принять очередную порцию таблеток. От глистов. От малярии. От дизентерии. К несчастью, не было у нее профилактического средства от Водяной Смерти.

Подоспел обед.

— Кому обед, кому ужин, — сказала Софи-моль посланному за ней Эсте.

Во время *кому обеда, кому ужина* у детей был отдельный столик. Софи-моль, сидевшая ко взрослым спиной, изображала гримасами отвращение к пище. Все, что она брала в рот, она демонстрировала восхищенным двоюродным братцу и сестрице полупрожеванным, кашеобразным, лежащим на языке как свежая рвота.

Когда Рахель сделала то же самое, Амму увидела, вывела ее и уложила спать.

Амму укрыла непослушную дочку, подоткнула одеяло и выключила свет. Ее поцелуй не оставил слюны на щеке у Рахели, и Рахель поняла, что она не сердится по-настоящему.

— А ты не сердишься, Амму. — Счастливым шепотом. *Чуть больше мама любит меня теперь.*

— Не сержусь. — Амму поцеловала ее еще раз. — Спокойной ночи, родненькая. Сердечко мое.

— Спокойной ночи, Амму. Пришли поскорей Эсту.

Уже уходя, Амму услышала дочкин шепот:

— Амму!

— Что?

– *Мы одной крови — ты и я.*

Амму прислонилась в темноте к двери спальни, не желая возвращаться за стол, где разговор, как ночная бабочка, вился и вился вокруг белой девочки и ее матери, словно они были единственными источниками света. Амму чувствовала, что она умрет — увянет и умрет, — если услышит еще хоть слово. Если еще хоть минуту ей придется терпеть горделивую теннисно-чемпионскую улыбку Чакко. И подспудную сексуальную ревность, источаемую Маммачи. И сентенции Крошки-кочаммы, имеющие целью изолировать Амму и ее детей, указать им их место в общей иерархии.

Стоя у двери в темноте, она вдруг почувствовала, как дневной сегодняшний сон движется в ней ребрышком воды, вспухшим на океанской глади, растущим и становящимся волной. Однорукий

приветливый человек с солоноватой кожей и внезапно, как утес, кончающимся плечом возник среди теней на морском берегу и пошел к ней по осколкам бутылочного стекла.

Кто он был?

Кем он мог быть?

Богом Утраты.

Богом Мелочей.

Богом Гусиной Кожи и Внезапных Улыбок.

Он мог делать только что-то одно.

Трогал ее — говорить не мог, любил ее — отступиться не мог, говорил — слушать не мог, боролся — победить не мог.

Амму тосковала по нему. Всей телесностью своей к нему рвалась.

Она вернулась за стол.

Глава 21
Цена бытия

Когда старый дом закрыл отяжелевшие глаза и погрузился в сон, Амму в длинной белой юбке и одной из старых рубашек Чакко вышла на переднюю веранду. Сначала она расхаживала взад-вперед. Беспокойная. Дикая. Потом села в плетеное кресло под заплесневелой бизоньей головой с глазами-пуговками, справа и слева от которой висели портреты Благословенного Малыша и Алеюти Аммачи. Ее близнецы спали с полуоткрытыми глазами, как всегда после изнурительного дня. Два маленьких чудища. Это у них в отца.

Амму включила свой транзистор-мандарин. Потрескивая, в нем зазвучал мужской голос. Эту английскую песню она никогда раньше не слышала.

Она сидела на темной веранде. Одинокая, вспыхивающая светом женщина глядела на декоративный сад своей горько озлобленной тетки и слушала транзисторный голос. Который шел из дальней дали. Летел на крыльях сквозь

ночь. Плыл над реками и озерами. Над густыми кронами деревьев. Мимо желтой церкви. Мимо школы. По грунтовой дороге, подскакивая. По ступенькам на веранду. К ней.

Слушая и не слушая, она смотрела на беснование насекомых, носящихся вокруг лампы в самоуничтожительной пляске.

Слова песни распускались у нее в голове.

Не теряй минут
Вот ее слова
Грезы упорхнут
Поманив едва
Гибнут так легко
Исчезают разом
Коль упустишь сон
Свой упустишь разум.

Амму подтянула к груди колени и обхватила их руками. Она не могла поверить. Какое простое, дешевое совпадение. Она яростно вперяла глаза в гущу сада. Сипуха Уза пролетела, как безмолвный ночной патрульный. Мясистые початки антуриума поблескивали, словно ружейный металл.

Какое-то время Амму продолжала сидеть. Хотя песня давно уже кончилась. Потом она внезапно

поднялась с кресла и покинула свой мир, как ведьма. Ради лучших, более счастливых миров.

Она быстро двинулась сквозь темноту, как насекомое летит по химическому следу. Она не хуже, чем ее дети, знала тропку к реке и могла бы дойти даже с завязанными глазами. Ей было неведомо, что за сила понуждает ее спешить сквозь заросли. Превращает ее ходьбу в бег. Доставляет ее на берег Миначала запыхавшейся. Глотающей воздух. Словно она куда-то опаздывала. Словно вся ее жизнь зависела оттого, успеет она или нет. Словно она знала, что он будет там. Ради нее. Словно он знал, что она придет.

И это было так.

Он знал.

Знание вошло в него днем. Мягко и коротко, как лезвие ножа. Когда история, пока он держал в руках маленькую дочку Амму, дала промашку. Когда глаза женщины сказали ему, что не всегда он должен быть дарителем, а она получателем подарков. Что у нее тоже кое-что для него припасено, что в обмен на его лодочки, шкатулки, ветряные мельнички она готова подарить ему свои упругие ямочки на улыбающихся щеках. Свою гладкую коричневую кожу. Свои светящиеся плечи. Свои глаза, что всегда смотрят в

какую-то даль.

Его не было там.

Амму села на ступень каменной лестницы, спускавшейся к воде. Она зарылась лицом в ладони, коря себя за то, что была так глупа. Так *уверена.*

* * *

Ниже по течению Велютта плыл посередине реки на спине, глядя на звезды. Его парализованный брат и одноглазый отец спали, съев ужин, который он им приготовил. И теперь он был свободен — мог лежать на воде и медленно перемещаться вместе с потоком. Походя на бревно. На тихого крокодила. Кокосовые пальмы, склонившиеся к реке, смотрели, как он плывет. Желтые бамбуки горевали. Маленькие рыбки кокетливо заигрывали с ним. Поклевывали его.

Он перевернулся на живот и поплыл в другую сторону. Против течения. Потом остановился и в последний раз посмотрел на берег, держась в воде стоймя, коря себя за то, что был так глуп. Так *уверен.*

Когда он увидел ее, это был взрыв, который чуть не утопил его. Остаться на плаву стоило ему всех его сил. Он держался в воде стоймя посередине

темной реки.

Она не видела покачивающегося над темной рекой бугорка его головы. Она могла бы принять его за что угодно. За плывущий кокосовый орех. Но она даже не глядела на воду. Ее лицо было зарыто в ладони.

Он смотрел на нее. Медлил.

Если бы он знал, что вот-вот войдет в туннель, из которого не будет иного пути, кроме его гибели, — уплыл бы он прочь?

Может быть.

А может быть, нет.

Кому это ведомо?

* * *

Он поплыл к ней. Тихо. Рассекая воду без лишнего плеска. Он почти уже достиг берега, когда она подняла голову и увидела его. Его ноги нащупали илистое дно. Когда он выходил из темной реки и поднимался по каменным ступеням, она почувствовала, что окружающий их мир — его. Что он принадлежит этому миру. Что этот мир принадлежит ему. Вся вода. Весь ил. Все деревья. Все рыбы. Все звезды. Он так вольно перемещался в этом мире. Глядя на него, она поняла природу его красоты. Трудясь, он выточил сам себя.

Дерево, которое он ладил, сладило его. Каждая выстроганная доска, каждый забитый гвоздь, каждая сработанная вещь — все это формировало его. Ставило на нем печать. Придавало ему гибкости, силы, изящества.

Тонкая белая ткань охватывала его бедра и полоской проходила меж темных ног. Он поднял руку к волосам, чтобы стряхнуть с них воду. В темноте она видела его улыбку. Белозубую внезапную улыбку, которую он взял с собой из детства в зрелость. Весь его багаж.

Они посмотрели друг на друга. Они не думали больше. Время думать уже прошло. Впереди ждали разбитые улыбки. Но это потом.

Потт Томм.

Он стоял перед ней, с него капала река. Она смотрела на него, не вставая с каменной ступени. Ее лицо было бледным в свете луны. Внезапно на него напал страх. Сердце застучало. Все это — ужасная ошибка. Он превратно ее понял. Воображение играет с ним злую шутку. Здесь ловушка. В кустах затаились люди. Наблюдают. Она — усладительная наживка. Как иначе? Его же видели во время демонстрации. Он попытался придать голосу естественность. Непринужденность. Но прозвучало хрипло, судорожно.

— Аммукутти… что это?

Она сошла вниз и прильнула к нему во всю длину тела. Он стоял, как стоял. Он не трогал ее руками. Он весь дрожал. Частью от холода. Частью от ужаса. Частью от мучительного желания. Вопреки страху его тело готово было взять наживку. Оно жаждало. Не признавало никаких доводов. Его влага увлажнила ее. Она обняла его.

Он пытался рассуждать здраво: *Что может случиться, самое худшее?*

Я могу потерять все. Работу. Семью. Средства к жизни. Все.

Ей слышно было, как жестоко бьется его сердце.

Она не разжимала объятий, пока его сердце не унялось. Мало-мальски.

Она расстегнула на себе рубашку. Они стояли вплотную. Соприкасаясь кожей. Ее коричневый цвет приник к его черному. Ее мягкость — к его твердости. Ее орехового цвета груди (под которыми не держались зубные щетки) — к его гладкому эбеновому торсу. От него пахло рекой. Вот он, этот особый параванский запах, внушавший такое отвращение Крошке-кочамме. Амму высунула язык и попробовала реку на вкус. Из его горловой впадины. С мочки его уха. Она притянула к себе

его голову и поцеловала его в губы. Мглистым поцелуем. Поцелуем, требовавшим ответного. Он дал его ей. Сначала робко. Потом страстно. Медленно поднял руки, заводя их ей за спину. Стал гладить ее сзади. Очень нежно. Она чувствовала, какие у него ладони. Мозолистые. Наждачные. Он вел руки очень бережно, боясь грубо коснуться ее кожи. Она чувствовала, как мягка она ему на ощупь. Она чувствовала себя сквозь него. Свою кожу. Тело ее существовало только там, где он ее касался. Все прочее в ней было дымом. Она ощущала его дрожь. Положив руки ей на ягодицы (под которыми могли бы удержаться целые пучки зубных щеток), он прижал ее бедра к своим, чтобы дать ей почувствовать, как он ее хочет.

Телесность затеяла этот танец. Ужас замедлил его темп. Задал ритм, в котором их тела отвечали друг другу. Словно они знали уже, что за каждую судорогу наслаждения заплатят судорогой боли. Словно знали уже, что чем дальше они зайдут сейчас, тем дальше их уволокут потом. Поэтому они не отпускали узду. Томили друг друга. Откладывали миг отдачи. И этим делали себе только хуже. Только повышали ставку. Только утяжеляли расплату. Ибо этим они разглаживали морщины неловкости и спешки на ткани непри-

вычной любви и нагнетали себя до взрывной отметки.

Позади них, мерцая диким шелком, пульсировала во тьме река. Желтые бамбуки горевали.

Ночь смотрела на них, облокотясь на воду.

Теперь они лежали под мангустаном, где совсем недавно старое серое лодочное растение с лодочными цветами и лодочными плодами было с корнем выворочено Передвижной Республикой. Оса. Флаг. Удивленный зачес. Фонтанчик, стянутый «токийской любовью».

Подлодочного мирка уже как не бывало.

Белых термитов по пути на работу.

Белых божьих коровок по пути домой.

Белых жуков, зарывающихся в землю от света.

Белых кузнечиков со скрипочками белого дерева.

Белой печальной музыки.

Как не бывало.

Только пятно голой сухой земли в форме лодки, очищенное и готовое для любви. Как будто Эста и Рахель нарочно все подготовили. Как будто они этого желали. Близнецы-акушеры материнского сновидения.

Амму, нагая теперь, склонилась над Велюттой, прижав губы к его губам. Он надвинул ее волосы

шатром на них обоих. Как делали ее дети, когда хотели отгородиться от внешнего мира. Она скользнула вниз, желая свести знакомство со всем его телом. С его шеей. С его сосками. С его шоколадным животом. Она выпила остаток реки из его пупка. Прижала к своим сомкнутым векам жар его возбуждения. Ощутила ртом его солоноватость. Он сел и притянул ее к себе обратно. Она почувствовала, что его живот стал под ней твердым, как доска. Почувствовала скольжение своей влаги по его коже. Он взял губами ее сосок и сделал из мозолистой ладони чашу для другой ее груди. Атлас, лелеемый наждаком.

В тот миг, когда она ввела его в себя, в его глазах пробежала неопытность, *юношество,* мелькнуло удивление из-за явленной ему тайны, и она улыбнулась ему сверху вниз, словно он был ее ребенком.

Когда он вошел в нее, телесность взяла верх, оттеснив страх на обочину. Цена бытия взлетела до невозможной высоты; хотя потом Крошка-кочамма сказала, что это Недорогая Плата.

Недорогая?

Две жизни. Два близнецовых детства.

И урок истории в назидание потенциальным нарушителям.

Мглистые глаза обволокли взглядом другие мглистые глаза, и светящаяся женщина отворила себя светящемуся мужчине. Она была широка и глубока, словно река в половодье. Он поплыл по ее волнам. Она чувствовала, что он уходит в нее глубже, глубже. Бешеный. Неукротимый. Требующий пустить его дальше. Дальше. Готовый уступить лишь телесным очертаниям. Ее и своим. И, достигнув предела, коснувшись ее глубочайших глубей, испустив рыдающий, содрогающийся вздох, — он утонул.

Она лежала сверху. Их тела были скользкие от пота. Она почувствовала, как его плоть в ней уменьшилась. Его дыхание стало ровнее. Его глаза прояснились. Он погладил ее по волосам, чувствуя, что узел, в нем блаженно ослабший, в ней еще вибрировал, еще был тугим. Он бережно перевернул ее на спину. Влажной своей тканью обтер с нее пот и песок. Накрыл ее собой, стараясь не придавить. Мелкие камешки кололи ему руки ниже локтей. Он поцеловал ее в глаза. В уши. В грудь. В живот. Во все семь серебристых растяжек, оставшихся после беременности. В тонкую линию волосков, которая, указывая ему направление, шла от пупочной лунки к треугольнику лобка. В бедра изнутри, где кожа всего мягче.

Потом руки столяра приподняли ее таз и неприкасаемый язык дотронулся до ее недр. Долго, самозабвенно пил из ее чаши.

Она танцевала для него. На этом лодочном клочке земли. Она жила.

Он прижимал ее к себе, прислонясь спиной к мангустану, а она плакала и смеялась разом. Потом на пять минут, которые показались вечностью, она уснула, привалившись спиной к его груди. Семь глухих лет отлетели, снявшись с нее, во тьму на тяжелых, колышущихся крыльях. Как тускло-серая пава. И на лежащей перед Амму дороге (к Старению и Смерти) возникла солнечная лужайка. Изумрудная трава, усеянная голубыми бабочками. Дальше — пропасть.

Сочась по капле, в него вернулся ужас. Перед тем, что он сделал. Перед тем, что, он знал, будет сделано опять. И опять.

Она проснулась от стука его сердца, колотящегося о грудную клетку. Словно оно искало выхода. Искало это подвижное ребро. Потайную створку скользяще-складной двери. Его руки по-прежнему облегали ее, он теребил пальцами сухую пальмовую ветку, и она чувствовала движение его мышц. Амму улыбнулась сама себе в темноте, подумав о том, как она любит его руки — их очер-

тания, их силу, покой, который она ощущает в их объятиях, хотя трудно было бы придумать для нее место опасней.

Из страха своего он сплел великолепную розу. И подал ее Амму на раскрытой ладони. Она взяла ее и воткнула себе в волосы.

Она придвинулась к нему теснее, желая быть внутри его, касаться его как можно больше. Он окружил ее раковиной своего тела. От реки подул ветерок, охлаждая их горячую кожу.

Чуточку холодно было. Чуточку влажно. Чуточку тихо. В Воздухе.

Что сказать еще?

Через час Амму нежно высвободилась.

— Мне надо идти.

Он ничего не сказал, не пошевелился. Смотрел, как она одевается.

Только одно теперь было важно. Они знали, что лишь об этом одном могут просить друг друга. Ободном-единственном. Они оба это знали.

* * *

Они и дальше, во все тринадцать ночей после этой ночи, безотчетно льнули к Мелочам. Крупное таилось внутри молчком. Они знали, что

податься им некуда. Что у них ничего нет. Никакого будущего. Поэтому они льнули к мелочам.

Они смеялись, глядя на муравьиные укусы друг у друга на ягодицах. И на неловкую гусеницу, упавшую с края листа. И на жука, свалившегося на спину и беспомощно дрыгающего ножками. И на пару маленьких рыбок, всегда находивших Велютту в реке и покусывавших его. И на чрезвычайно набожного богомола. И на паучка, жившего в расщелине стены на задней веранде Исторического Дома и использовавшего в качестве камуфляжа всякий мусор. Обрывок осиного крылышка. Клочок паутины. Труху. Листовую гниль. Высохшую грудку мертвой пчелы. *Чанну Тамбуран* — так называл его Велютта. Господин Мусор. Как-то раз они пополнили его гардероб чесночной кожицей и были оскорблены до глубины души, когда он отверг подарок и заодно с ним всю свою былую броню, из которой он выполз недовольный, голый, сопливого цвета. Выражая презрение к их вкусам в одежаде. Несколько дней он пребывал в самоубийственном состоянии гордой наготы. Покинутая мусорная оболочка осталась стоять, как устарелый взгляд на мир. Как изжившая себя философия. Потом она рухнула. Мало-помалу *Чанну Тамбуран* обзавелся новым

гарнитуром.

Не признаваясь в этом друг другу и даже себе, они связали свое будущее, свою судьбу (Любовь. Безумие. Надежду. Бесконечную Радость) с его. Каждую ночь торопились посмотреть (чем дальше, тем с большей тревогой), пережил ли он день. Их беспокоила его слабость. Его малость. Ненадежность его камуфляжа. Его, на их взгляд, саморазрушительная гордость. Постепенно они полюбили его эклектический вкус. Его неуклюжее достоинство.

Они избрали его, зная, что могут уповать только на слабость. Что должны держаться Мелочей. Всякий раз при расставании они брали друг с друга лишь одно маленькое обещание.

— Завтра?

— Завтра.

Они знали, что все может перемениться в один день. И не ошибались в этом.

А вот относительно *Чанну Тамбурана* они ошиблись. Он пережил Велютту. Он оставил после себя потомство.

Он умер от естественных причин.

В ту первую ночь после приезда Софи-моль Велютта смотрел, как любимая одевается. Кончив,

она присела перед ним на корточки. Легонько потрогала пальцами его кожу и почувствовала, как по ней бегут мурашки. Провела по его телу линии гусиной кожи. Как мелом плашмя по школьной доске. Как порывом ветра по рисовому полю. Как реактивным самолетиком по голубому церковному небу. Он взял ее лицо в руки и притянул к своему лицу. Закрыв глаза, вдохнул запах ее кожи. Амму засмеялась.

Да, Маргарет, подумала она. — *Между нами такое тоже бывает.*

Она поцеловала его в закрытые глаза и встала. Велютта сидел, прислонившись спиной к мангустану, и смотрел, как она уходит.

В волосах у нее была сухая роза.

Она обернулась, чтобы еще раз сказать: *Наалей.*

Завтра.